ВЕРА ФЕДОРОВНА

ПАНОВА

Времена года



РУССКАЯ КЛАССИКА

Времена года
Вера Федоровна Панова

Аннотация
Вера Панова. Времена года
Часть первая
  Глава первая. Блудный сын
  Глава вторая. Темная девка
  Глава третья. Начало жизни
  Глава четвертая. Материнство
  Глава пятая. День забот. Дела строительные
  Глава шестая. Облигация государственного займа
Часть вторая
  Глава седьмая. Юлькин май
  Глава восьмая. День забот. Дела моральные
  Глава девятая. Из дневника Сережи Борташевича
  Глава десятая. Знакомства
  Глава одиннадцатая. Пожар
  Глава двенадцатая. Я люблю, ты любишь, он любит
  Глава тринадцатая. Жизнь коротка
Часть третья
  Г лава четырнадцатая, посвященная главным

образом вопросам брака
Глава пятнадцатая, посвященная неприятностям разного рода
Глава шестнадцатая. Дальнейшие происшествия
Глава семнадцатая. Как будем жить дальше?

Аннотация

У жителей тихого провинциального города Энска свои радости и беды. Они любят, трудятся, воспитывают детей, переживают семейные драмы…

Это история трех семей, чьи судьбы неожиданно и сложно переплетутся, и о том как непросто потом им будет оправиться от пережитого. А сейчас все готовятся к встрече Нового года и ждут перемен. Но что готовит им этот високосный год?..

Вера Панова
Времена года

Серийное оформление А. Кудрявцева.
Дизайн обложки Е. Фрей.

© В. Панова, наследники, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2026

* * *

Часть первая

С Новым годом!

Пройдет сорок минут, и на Спасской башне заснеженного Кремля, в Москве, часы отобьют полночь. В миллионах радиоприемников и репродукторов повторится бой кремлевских часов, его услышат во всем мире.

Упадет двенадцатый удар, люди сдвинут свои чарки и скажут: «С новым счастьем!»

Милый сердцу обычай — встреча Нового года. Население города Энска готовилось к этой встрече целый месяц. Громадный был спрос на елочные украшения: блестящие шарики, целлофановые хлопушки, картонажи, куколки, золотой «дождь», золотые орехи, разноцветные свечи, «елочный блеск», похожий видом на нафталин и продающийся в запечатанных пакетиках, как глауберова соль. Одних только дедов-морозов разных размеров в декабре продано четырнадцать тысяч штук. В том числе совершенно выдающийся дед, дед-экстра, дед-люкс в рост человека, художественно сработанный в двух экземплярах промартелью «Игркомбинат».

Купили этого деда, как и следовало ожидать, детские ясли станкостроительного завода: разве директор завода товарищ Акиндинов упустит случай приобрести диковину, какой ни у кого в городе нет?.. Второй экземпляр деда-экстра остался собственностью центрального универмага и стоит в сияющей витрине, в раме из еловых ветвей: могучий, красноносый, в роскошной шубе из ваты, в настоящих валенках, с раззолоченной палицей в руке; и у ног его по зеркальцам-прудам катаются на крошечных салазках мальчики и девочки с красными флажками… Днем у витрины теснятся ребятишки, любуясь этим художеством. Сейчас ребятишки разошлись, у витрины пусто, взрослые пробегают через яркую полосу света, не обращая на деда внимания: осталось сорок минут!

Алмазной лентой разворачивается над крышами электрический призыв: «Храните деньги в сберегательной кассе!» Нынче призыв не доходит до сознания граждан. С утра сберкассы знай выдавали вкладчикам деньги на мотовство. Двери магазинов открыты настежь: два встречных людских потока не дают им закрыться. «Товарищ! Нельзя ли отпускать побыстрей? Вы же знаете — люди торопятся». Многие в последний час

вспомнили, что забыли купить такие-то закуски и такие-то подарки, и кинулись исправлять свой промах.

Повальный азарт приобретения: несут мандарины и яблоки в сетчатых сумках, свертки и бутылки, коробки с тортами и куклами, мячи, кульки конфет. И у кого-то в спешке прорвался кулек, и конфеты рассыпались по тротуару, и неудачник подбирает их, прижимая к груди остальные пакеты.

И кто-то, вспотевший и задыхающийся, бегает из магазина в магазин, ища фаршированный перец, как будто от этого перца зависит его жизнь.

И какой-то чудак в франтовской велюровой шляпе тащит на плече длинную облезлую елку. Эк, когда спохватился: не успеете, гражданин, украсить ваше дерево к двенадцати! Прохожие взглядывают на чудака с иронией, он слышит их шуточки, но деловито шагает дальше со своей колючей ношей, и на его молодом лице, по-девичьи порозовевшем от мороза, выражение гордой независимости.

Да, он поздновато сообразил, что хорошо бы украсить комнату елкой; сообразив, почувствовал, что это необходимо сделать, что без елки его жизнь неполноценна. И, рискуя опоздать

к встрече Нового года, пустился на поиски. Он видел множество елок, но только в витринах и окнах домов. Рынки давно закрылись, а на площади, где шла оживленная елочная торговля, не осталось никого и ничего, кроме густой хвои на утоптанном снегу. Гражданин уже отчаивался, как вдруг видит — на углу против «Гастронома» стоит мальчишка-подросток и держит перед собой елку. Елка уродливая, громадный голый ствол и самая малость зелени, поломанные веточки жалобно обвисают, словом — заваль, но гражданин хватается за нее и держит крепко.

— Сколько? — спрашивает он.

— Двадцать рублей, — отвечает мальчишка.

— Ого! — говорит гражданин. — За что же столько? За красоту?

— А что? — хладнокровно говорит мальчишка. — Хорошая елка. Большая — во.

— Все-таки двадцать — это чересчур.

— Ищите дешевле. Ваше счастье, что такую нашли.

— Счастье, положим, обоюдное, — говорит гражданин, подавая две серенькие бумажки. — Ладно, пользуйся.

Мальчишка берет бумажки с оскорбительным пренебрежением. Он презирает чудака, выбро-

сившего такие деньги черт знает за что… И вот чудак поднимается по лестнице с елкой на плече. Елка пахнет дорогими воспоминаниями детства, а лестница — сырой штукатуркой. Оба запаха одинаково отрадны: дом построен недавно, ордер на комнату чудак получил только на днях. А до этого он жил у приятеля на кушетке и мечтал о собственной комнате…

Чуркин и Ряженцев садятся в машину. Кончилось совещание в горкоме, и заседавшие исчезли все разом, будто по петушиному крику. Чуркин и Ряженцев уезжают последними.

— В Дом техники, — говорит Ряженцев водителю.

В Доме техники будет встреча с передовиками производства. На встречу прилетели гости из Москвы, Ленинграда, Свердловска — представители министерства, знатные рабочие, — энский станкостроительный завод занял первое место во всесоюзном соревновании. По городу расставлены щиты с портретами победителей, в кино показывают хроникальный фильм о заводе.

— Еще годик, — говорит Чуркин.

— Еще ступень, — говорит Ряженцев.

В окнах свет, на занавесках тени елочных лап с подвешенными к ним шарами и звездами, шары

качаются на нитках — тени поворачиваются…

— Тьфу ты, морока! — с негодованием говорит водитель.

Машина останавливается. Перед нею медленно опускается шлагбаум. Слышен слабый, несмелый вскрик паровоза.

— Черт! — говорит Чуркин. — И в праздник они тут!

— У них прорыв, — говорит Ряженцев.

Старый маленький паровоз «овечка» проходит за шлагбаумом. Он тащит один вагон — всего и дела. «Овечка» с вагоном скрывается за черным массивом городского парка. Женская фигура в тулупе и платке выходит из будки и истово крутит ворот. Шлагбаум поднимается.

— Анекдот! — ворчит Чуркин. — В центре города!

— Вы — власть, — говорит Ряженцев. — На кого жалуетесь? Ставьте вопрос в Совете Министров, поддержим.

От стародавних времен остался в Энске маленький вагоноремонтный заводик. Энск разрастается и украшается, вокруг Энска вон какие воздвигнуты предприятия, а заводик со своей пустяковой программой и устаревшим оборудованием все стоит на месте. Железнодорожники не согла-

шаются ни ликвидировать его, ни перенести на другую территорию. По этому поводу длится бесконечная переписка с управлением дороги и с министерством. А на сессиях критикуют Чуркина за то, что недостаточно радеет о благоустройстве. Это он-то радеет недостаточно…

По новенькому шелковому асфальту машина огибает парк и выезжает на площадь, в свет и суету. Красные электрические, голубые неоновые вывески бросаются в глаза. Трамвай, звеня, осторожно пересекает площадь. Трубный голос диктора из невидимого репродуктора сообщает последние известия. Пешеходы уже не идут шагом — бегут, обгоняя друг друга.

— Хорошо, когда у людей праздник! — говорит Чуркин.

— Хорошо! — с удовольствием соглашается Ряженцев.

Свет в домах, тени еловых лап на занавесках. Мелькнул на белом кружеве силуэт детской головки — бантик набок. «Как у нашей Нинки», — думает Чуркин.

Но не все празднуют. Город — живой организм, он функционирует непрерывно.

По-обычному заступила смена на ГЭС.

Как всегда, одиноко стоит на углу девушка-ми-

лиционер, управляющая светофором, и только знакомый шофер такси, притормозив на секунду, крикнет ей в окошечко: «С Новым годом!»

В Ленинском районе, где строится Дворец культуры, где над зубчатыми стенами, лесами, штабелями кирпича редкими звездами горят тысячеваттные лампы и чернеет, почти сливаясь с небом, неподвижный башенный кран, — бодрствует сторож в тулупе с поднятым воротником.

«Скорая помощь» доставляет женщину в родильное отделение больницы.

Кто-то приходит в мир на пороге нового года, и кто-то уходит с последними минутами старого. И кто-то плачет над уходящим.

А в кинематографе кассирша с подбритыми бровками и модной прической, лирически грустя, продает билеты на ночной сеанс.

В типографии плавно стучит машина, печатая новую брошюру, и седой наборщик не спеша набирает на линотипе телеграммы для новогоднего номера газеты.

И там же, в типографии, в верстальном, на двух столах, женщины из фабзавкома стелют скатерти и расставляют тарелки с бутербродами и стаканы для пива, чтобы в полночь наборщики, метранпажи и печатники, оторвавшись от работы, тоже

чокнулись и поздравили друг друга.

Близится праздничная минута. Пустеют магазины, трамваи и автобусы. Уже идет по городу совсем пустой трамвай: кроме вагоновожатого и кондукторши, в вагоне всего один человек. Он спит в уголку, уютно прислонясь к стенке. Никакая сила не разбудит его, пока он не выспится. Ясное дело — переоценил товарищ свои возможности: не дождался положенного времени, выпил досрочно, и расплата за этот непродуманный поступок настигла его по дороге на пир. Из кармана у спящего торчит бутылка; лицо счастливое — может быть, ему снится, что он встречает Новый год в приятной компании. И с другого конца вагона печально и осуждающе смотрит на него пожилая кондукторша…

Километрах в ста от Энска, направляясь к городу, идет по шоссе машина: сильный, блестящий, новенький «ЗИС». В нем молодой человек — один-одинешенек.

Шоссе пустынно, инспекторов не видать; можно включить на полный и мчаться ветром… Но молодой человек не торопится. Выпятив губы, он равнодушно насвистывает песенку. Белое шоссе перед ним, на белом шоссе две широкие отчетливые колеи — там, где колеса машин протерли

снег до самого асфальта. По этим гладким колеям легко идет машина. В свете фар открывается один участок пути за другим, один участок, как другой, белое пространство с двумя отчетливыми колеями. А кругом темнота, не видать ни зги.

Перед молодым человеком автомобильные часы; он на них не смотрит. Не смотрит даже тогда, когда на розово-золотистом циферблате большая стрелка соприкасается с маленькой.

Это тот самый миг, когда из бутылок летят пробки и кремлевские куранты начинают вызванивать четверти.

…Бьют часы на Спасской башне.

С Новым годом, товарищи!

Глава первая. Блудный сын

В этот вечер, часов в одиннадцать, к Дорофее заходил Саша Любимов.

Заходил он, собственно, не к ней лично, их встреча была случайной. Кто-нибудь другой мог отворить ему. Ее вообще могло не быть дома, до самого вечера она колебалась — остаться с девочками или ехать в Дом техники… Хорошо, что не Лариса отворила Саше. Ни к чему Ларисе эти напоминания.

В Доме техники будут все товарищи. Но и девочек не хотелось бросать в эту праздничную ночь. А тут еще пришла Юлька, прикрыла за собой дверь и сказала очень серьезно:

— Я хочу сказать тебе одну вещь, только ты обещай, что отнесешься правильно.

— Ну? — спросила Дорофея.

— Она мне ничего не говорила, это мои личные выводы, но мне кажется, у нее кто-то есть.

— Это так и должно быть, — сказала Дорофея.

— Я рада, мамочка, что ты понимаешь, — сказала Юлька. — И надо ей показать, что ты понимаешь. Она с тобой очень считается. Знаешь, она сделала маникюр и все время потихоньку поет…

Только, пожалуйста, не надо никаких советов и никаких намеков, а просто показать, что ты относишься хорошо.

За дверью раздался голос Ларисы. Юлька замолчала и ушла. Дорофея вздохнула… Не поеду никуда, побуду с ними.

И, решив так, она по-хозяйски пошла по дому. К девочкам должны были прийти гости, молодежь; поужинают, а потом поедут на бал в Дом культуры. Ужин устраивали в складчину. Дорофея осмотрела припасы, ей показалось — мало; она дала денег и велела девочкам купить еще закусок и фруктов. Ей показалось, что в доме недостаточно чисто, и она сама перемыла листья фикусов и натерла стулья и шкафы маслом с уксусом.

К десяти начали сходиться девушки, подруги Ларисы и Юльки. Они накрыли большой стол нарядно, как на картинке, потом принялись украшать самих себя. Каждая принесла с собой парадные туфли, завернутые в газету, одной понадобился утюг — что-то пригладить, другой игла — что-то пришить. Дом наполнился девичьими голосами и беготней, от которой дрожали половицы.

В этом шуме чисто и звонко прозвенел звонок. «Кто разутый — прячься, кавалеры пришли!» —

крикнула Дорофея и пошла открывать. В их домике устроено так: из передней попадаешь на застекленную веранду, идущую вдоль бокового фасада. На концах веранды по двери: одна во двор, другая, со звонком, на улицу, и эту вторую дверь отворила Дорофея.

Высокий молодой человек, а вернее сказать — мальчик лет семнадцати стоял на крыльце. Он не сделал движения войти, не поздоровался, даже не пошевелился, когда ему открыли. «Не гость», — подумала Дорофея. Его фигура, одежда, лицо, которое она различала в свете, падавшем с веранды, — все было ей незнакомо. Она спросила:

— Вам кого?

— Куприяновы здесь живут?

— Здесь. А вы к кому?

— Геннадий не приехал?

Ее кольнуло, она нахмурилась и ответила не сразу:

— Мне это неизвестно.

Они стояли, глядя друг на друга. Она поняла, кто это такой. Поняла и то, что пришел он сюда не по своей охоте — мать прислала. Все ей стало ясно, когда он спросил про Геннадия.

У него было безусое, правильное продолговатое

лицо с крупными губами; глаза небольшие, серьезные; в их спокойном взгляде и в очертаниях губ была доброта. «Положительный мальчик, — подумалось Дорофее, — и с характером». Уши его меховой шапки по-ребячьи торчали в стороны. И куртка была ребячья, он вырос из нее.

А вдруг он не тот, за кого она его принимает? Не Саша Любимов? Вдруг это ее воображение? Говорят же домашние, что у нее вечно фантазии. Мало ли что: кто-нибудь из старых дружков вспомнил Геннадия и послал братишку его разыскать. Она сказала, проверяя:

— Геннадий тут не живет.

Паренек кивнул:

— Я знаю. Я думал, он, может быть, приехал.

Он медленно сошел с крыльца:

— Извините.

И зашагал прочь, засунув руки в карманы куртки. «Совсем молоденький, а дело мужское делает…» Как, должно быть, не хотел идти сюда, спрашивать…

Одет бедненько. Заработок, наверно, матери отдает.

Широкая окраинная улица была пуста и бела. Деревянные заборы, домики в два, в три окошка. Лампочки на воротах озаряют белые дощечки

с номерами. Черная водокачка на углу. Тихо. Окликнуть: «Саша!» — он бы услышал… Привести его в дом, усадить, расспросить попросту, по-бабьи: как тебе, Саша, живется, не обижает ли тебя Геня… Чувство стыда перед ним помешало Дорофее это сделать. Она закрыла дверь, вернулась в комнаты и только тогда почувствовала, как пробрало ее морозом, пока она стояла там…

И вдруг немила стала ей суматоха в доме, этот стол с бутылками, шумные девицы. «Кто, кто пришел?» — закричали девицы. «Никто!» — ответила она и прошла в спальню. Сидела на сундуке (стулья все унесли в столовую), подперев подбородок маленьким крепким кулаком. Стояло в глазах серьезное детское лицо с добрыми губами… Вот, Геня, какое доверие к тебе: подозревают, что ты от них скрываешься. Успел, значит, и там себя зарекомендовать. Геня, всем от тебя мука, что же это такое…

Дорофее сорок восемь лет. Она среднего роста, худенькая. Смугла. Легко смеется, легко туманится. Походка девичья. Волосы темно-русые, подстриженные, на концах завиваются в кольца. Пробор сбоку, и одна прядь, с колечком на конце, заложена за маленькое ухо.

Ни сединки у Дорофеи и мало морщин, и зубы

чисты и блестящи, как в молодости. Увядание чуть-чуть только тронуло кожу у глаз, шею, руки. Муж и дочь не замечают этих печальных знаков. Они говорят: «Мама у нас вечнозеленая».

В газете раза два печатали ее портрет. На портретах она нехороша: скуластая, с напряженным лицом. Когда ее не станет, ни одна фотография не воскресит для близких ее облика, прелесть которого — в блеске глаз, в смене переживаний, в непрерывном движении жизни.

Она взяла себя в руки и села за стол с приветливым, довольным лицом. За каждым тостом отпивала немного вина, шутила с молодежью, и никто ничего не заметил. Одна Юлька, инструмент особо чувствительный, спросила потихоньку:

— Ты что, мама?

— А что такое?

— Расстроена.

— Вот уж ничего подобного. Выдумала. Налей мне того красного.

Ларисин избранник оказался так себе, ни рыба ни мясо — сразу не отгадать, что за человек. Другие наперебой разговаривали, хохотали, со смыслом и без смысла, как хохочет здоровая молодость, хлебнув вина; этот молчал, старательно

протягивал рюмку, когда чокались, ел тоже старательно, но как бы не различая вкуса. Он был старше всех мужчин за столом, ему, во всяком случае, перевалило за тридцать. «Староват для Ларисы, — думала Дорофея, — может, и женат, или платит алименты...» Росту он был маленького — Дорофея, сама небольшая, любила высоких; лицом некрасив, нос шишкой, лихорадка на припухшей губе. Только лоб, очень большой и бугристый, был хорош.

Лариса очень заботилась об этом гражданине и накладывала ему на тарелку громадные порции. Но Дорофея не заметила, чтобы они переглянулись как-нибудь по-особенному или тайком взялись за руки, как брались другие. «Ничего у них не будет, — подумала Дорофея. — Лариса нежная, ей нужна поэзия; без поэзии для нее нет чувства». Заметила она в нем такую повадку: когда кто-нибудь шутил, он поднимал брови, причем лоб покрывался длинными морщинами от виска до виска, и оглядывался на шутника без улыбки, с недоумением, будто не понимая, что тот сказал. «Он и смеяться не умеет, что ли?»

И вдруг он засмеялся, громко и резко, должно быть что-то найдя смешным, — Дорофея не слыхала, что именно. И сейчас же восторженно и

счастливо рассмеялась Лариса и при этом порозовела вся. Значит, чувство есть все-таки?.. Он скоро перестал смеяться, а у Ларисы еще долго светилось лицо.

До чего разные характеры — Лариса и Юлька. Посмотрите, как Юлька, которой только восемнадцать исполнилось, держится с молодыми людьми. Один ей закуску подает, другой выбирает для нее яблоко получше, третий по ее приказу бежит в кухню выбросить окурки из пепельницы. Андрея она совсем загоняла. «Ешь, Андрюша!» — твердила Дорофея, но ему не до еды — Юлька приставила его к елке смотреть, чтобы от свечек не загорелось что-нибудь. Каждую минуту она его теребит: «Андрюша, ты не смотришь, поправь вон ту слева!» Она позволяет ему пошучивать над его подчиненным положением, но при этом делает такое лицо, словно говорит: «Глупые шутки, но так и быть, простим ему, ведь он еще очень молод!»

Лариса ничего этого не умеет и не сумеет никогда. Лариса не завоевательница: что само плывет ей в руки, то она и берет. Приплыл вот теперь этот Павел Петрович…

Тетка Евфалия сидела против Павла Петровича и рассматривала его без церемонии. Должно

быть, он ей понравился: своей узловатой, темной рабочей рукой она протянула к нему рюмку и сказала:

— За ваше здоровье.

— Благодарю вас, — ответил он, взглянув на нее из-под собранного в складки лба; вежливо привстав, он чокнулся с теткой. Тут в первый раз мелькнуло в нем Дорофее что-то привлекательное: нет, он ничего.

А тем временем в комнате нарастал страшный шум. Начинали со степенного, хотя и веселого разговора, с чинных тостов и взаимных угощений. Дорофея не уловила, каким же образом получилось так, что нужно кричать во всю мочь, если хочешь, чтобы тебя услышали. И Дорофея кричала, спрашивая, кто еще хочет гуся, и тетка Евфалия кричала, и все кричали, кроме Павла Петровича. Как-то сразу стол покрылся поверх всего мандариновыми корками и конфетными бумажками, а в тарелке у Дорофеи оказалось вино и окурок, хотя она не курила. Плотным роем, как мошкара, что-то поднялось в ярком кругу абажура и осело на плечи, головы и мандариновые корки: конфетти. Вдруг — дымный, пляшущий свет сбоку, шипенье, сильный запах еловой смолы и тоненький, отчаянный Юлькин

крик: «Андрюша!» — загорелась елка. Андрей бросился как лев и залил пожар нарзаном. Все смеялись, но притихли. Юлька влезла на стул и задула свечи.

— Достаточно! — сказала она. — Вообще, нам пора уже идти. Посидим немножко тихо и попоем. Бандьера росса. Андрюша!

Андрей послушно запел. Они любили эту песню и выучили ее по-итальянски, и пели красиво и дружно, даже Павел Петрович подпевал: «Бандьера росса», — больше, видно, не знал слов. Потом спели «Болотных солдат», а потом перешли на свои родные: «Товарищ, товарищ, в труде и в бою» и «Мы никому не позволим». Тут и Дорофея запела, эти песни были частью ее биографии, частью воздуха, которым она дышала, она не могла слышать их и не присоединиться.

У нее был небольшой голос, но хороший слух и точное чувство хорового ритма, — сколько за жизнь перепето песен в таких же случайно сложившихся хорах! — и пела она с блестящими глазами, ощущая смысл каждого слова и разгорячаясь от этого смысла. Юлька подошла к ней, обеими руками обняла за шею и поцеловала.

— Я тебя люблю! — сказала она.

Дорофее еще хотелось петь, но кто-то сказал:

«А там танцуют!» — и все стали подниматься, громко двигая стульями.

Юлька сказала: «Ребята, это свинство — все бросать на маму и тетю. Надо убрать со стола». И они быстро и весело, толкаясь в маленькой столовой и мешая друг другу, унесли посуду в кухню, подмели пол и расставили стулья по местам. В суматохе одевания Дорофея случайно подсмотрела коротенькую сцену: Лариса и Павел Петрович, оба уже в пальто, стояли друг против друга, и Лариса спрашивала упавшим голосом:

— Может быть, пойдете все-таки?

— Что я буду там делать? — спрашивал он.

— Танцевать, — сказала она нерешительно.

— Не умею.

— Я вас научу.

— Зачем?

Его глаза из-под наморщенного лба смотрели на Ларису с недоумением, почти с испугом.

Она отвернулась, натягивая перчатку, лицо у нее было жалкое. Их заслонили, Дорофея не знала, чем кончился разговор. В это время принесли телеграмму от Леонида Никитича: «Пью твое здоровье». Дана со станции Шабуничи — маленькая станция, скорые не останавливаются. Дорофее представилось, как Леня с паровоза подает че-

ловеку с фонарем бумажку и просит: «Отправь, друг, пожалуйста…»

Юлька и Андрей задержались, чтобы вымыть посуду. (Очередная Юлькина «тимуровская» выдумка.) Они мыли очень тихо; Дорофея, прибирая в комнатах, дважды заглянула в кухню — чтоб не затеяли что-нибудь предосудительное, как-никак выпили ребятишки. Но ничего предосудительного не было: Юлька, строгая, в старом синем школьном халатике поверх шелкового платьица, мыла мочалкой блюдо; Андрей, без пиджака, повязанный передником тетки Евфалии, принял блюдо из Юлькиных рук, стал вытирать полотенцем. «Не разбей, пожалуйста!» — сухо бросила Юлька. В другой раз Андрей стоял уже в пиджаке, с приглаженной прической, и Юлька счищала пятно с его рукава… Потом и они ушли. Тетка Евфалия, расстегивая кофту, вышла из своей комнатушки и сквозь зевоту сказала:

— Воротник хороший.

— Какой воротник, у кого? — спросила Дорофея рассеянно.

— У Ларисиного, — невнятно ответила тетка. — Мерлушковый. — И, раззевавшись до немоты, ушла к себе. И Дорофея осталась одна.

Спать не хотелось. Напевая, прошлась она по

светлым, вдруг опустевшим комнаткам. Еще дрожало в ней что-то, поднятое песнями, вином, молодыми голосами. Сейчас бы веселиться: ведь только начали… Чудак этот Павел Петрович, ну что за человек такой, спрашивает: зачем танцевать…

Леня ведет товарный маршрут. Выпили с Квитченко по маленькой, закусили и едут… Грохоча, мелькают во мраке платформы, платформы, цистерны. В леса и перелески уходит бесконечная дорога, могучая машина ревет, эхо откликается в лесах…

Лариса и Юлька танцуют. Юлька — курносенькая, строгая и победоносная, от кавалеров нет отбоя. Лариса вся опущенная, смотрит, танцуя, в одну точку. Павел Петрович ушел домой… Если бы не Юлька, отозвать бы тогда в передней Ларису и шепнуть: очень тебе надо на танцы, пойди с ним погулять, или здесь посидите вдвоем… Юлька запретила давать советы. Не получится у них ничего. Бог с ним, только Ларису жалко… В зале тысяча человек, оркестр, серпантин, маски…

Все на глазах, кроме одного.

И песня замолчала в ней, когда она вернулась к своему горю.

А почему, собственно, сейчас не поехать в Дом

техники? Еще не поздно, концерт продлится часов до четырех…

Поеду!

Откуда-то пятнышко на блузке, надо переодеться.

Надену не костюм, в костюме я каждый день, надену синее платье.

Она уже шла переодеваться, но зазвонил телефон на столике в столовой. Голос Чуркина:

— Дорофея Николаевна? С Новым годом! Дорофея Николаевна, я тебе желаю всякого счастья!.. Что говоришь? Не слышу: шумно… У меня Акиндинов рвет трубку.

Голос Акиндинова:

— Ты что это засела дома? Стареешь, Дуся!

— А я сейчас приеду.

— Ну, молодец. Давай. Машину пошлем. Тут у нас дым коромыслом.

— Слышу, что дым коромыслом.

— То-то. Ну, мы ждем. Машина сейчас будет. Выходи.

Вот как хорошо, все приглашают, никто не забыл.

«Синее платье, значит, и кружевной воротничок…»

На улице перед домом зафырчал автомобиль. В

черных окошках вспыхнул и погас свет фар. Уже за нею? Так скоро? Не может быть.

Опять блеснул свет и опять погас. Фырчанье смолкло. Хлопнула автомобильная дверца.

Как будто не все дверцы хлопают одинаково. Ну, остановилась перед домом чья-то машина — не из Дома техники, для той рано, — что тут необыкновенного? По каким же приметам Дорофее вообразилось вдруг, что эту дверцу захлопнула любимая рука?

Она бросилась и припала к черному окошку.

Не разглядеть бы ничего из светлой комнаты, если бы не снег. На белом снегу видно: стоит машина. Под окном мелькнула фигура, проскрипели шаги, и с той стороны, за стеклом, приникло лицо… Как птица, пролетела она через переднюю и веранду и распахнула дверь прежде, чем он успел подняться на крылечко.

— Пойдем, пойдем! — говорила она бессвязно и горячо, обнимая его. — В столовой, — сказала она так же бессвязно, когда он хотел снять пальто в передней, — в столовую, там теплей…

Вошли в столовую. Он медленно разматывал шарф, а она стояла близко, закинув голову, и смотрела на него.

— Ты похудел. Почему ты похудел?

— Кто дома?

— Никого. Тетя Фаля, она спит… Разбудить?

— Ну, вот еще. А отец?

— Никого нет, только я.

— Удача, — усмехнулся он. — Пировала? — он увидел розовый кружочек конфетти у нее в волосах.

— Да, были гости, ушли…

— Что ж мало пировали?

— В клуб пошли, на танцы. Молодежь была.

— А!

Он не спросил, чьи же это были гости; не спросил ничего про Ларису и Юльку. Он считал их виновницами своих семейных неприятностей — бывшую жену и девочку-сестру, которая подняла бунт против него.

Он пошел по комнатам, Дорофея за ним. Он открывал двери и заглядывал в каждую комнату, заглянул даже к спящей тетке Евфалии. Чего он искал? Оживлял ли в себе воспоминания, грустил ли о том времени, когда он тут жил, заласканный и забалованный?

— Генечка, ты, наверное, хочешь есть.

— Есть? Нет… Тебе все кажется, что если я не дома, то вечно голодный хожу, да?

Он спросил это тоном ласкового снисхождения.

Каждую получку она посылала ему часть своей зарплаты, и если получка задерживалась на день-два, она волновалась — как там Генечка, не сидит ли без денег. Ей постоянно казалось, что он недоедает, что у него, должно быть, прохудилась обувь и не на что купить новую…

Она ревниво оглядела его. Костюм еще совсем хороший, и новая рубашка, сиреневая, с дымчатой полоской.

— Тебе идет эта рубашка, — сказала она и пощупала шелк — искусственный или настоящий.

— Честное слово, — сказал он, — я только для того и заехал, чтобы посмотреть на тебя, на одну тебя, можешь быть уверена.

Да, к несчастью, он ни к кому не привязан, кроме нее.

— А выпить?.. Там, кажется, осталась вишневая наливка.

— Я пил шампанское и еще что-то.

— Где?

— У знакомого тут одного. Заехал, у него встреча…

— Весело было?

— Ну, что за весело. Так — посидели, покрутили патефон.

Ему никогда не было весело.

— Ты надолго?

— До понедельника. Хотел у этого типа — где я сейчас был — выяснить насчет одной работы.

— Опять?

— Что значит «опять»?

— Опять на новую работу?

— Ты посиди-ка в той дыре, где я сижу, — сказал он, повысив голос, — да отбарабань там четыре месяца!..

— Четыре месяца! Геня! Какие же это сроки…

— Да, конечно. Всю жизнь там просидеть.

Она сказала:

— Для того и сидят люди в таком месте, чтобы оно перестало быть дырой.

— Чего ж ты не сидела в дыре? Сбежала из дыры?

— Когда это было — тридцать лет назад.

— Какая разница!

— Громадная разница. Ты великолепно понимаешь. Если бы я жила там сейчас…

— Пожалуйста, живи, если хочешь. А я не хочу.

Она опустила голову. Все слова были сказаны в свое время, и всё как об стену горох.

Он сказал с прежней снисходительностью:

— Что мне с тобой делать? Только встретимся, ты сразу со своей агитацией.

Она испугалась, что он уйдет.

— Ну-ну. Расскажи, как живешь. Из твоих писем ничего не видно.

— А какая там жизнь. Лес да снег.

— Общежитие у вас, говорят, приличное.

— Муравейник… Я не в общежитии, на частной квартире. У главбуха, — сказал он с усмешечкой, — он бы не сдал, да есть дочка, как не сдать… У них и столуюсь. Ничего кормит дочка…

— Ну, прекрасно, — сказала она с тоской, — значит, в смысле быта все нормально. Товарищи есть?

— Товарищи… Каждый думает — как бы выдвинуться. С одним вроде подружился, излияния его слушал… Изливался, изливался, потом как разнес меня на собрании!

Ни одного слова понятного. Сидят мать и сын, и оба говорят по-русски, а она его не понимает, как будто он свалился с Марса и разговаривает на марсианском языке.

— Может, он разносил за дело?.. И знаешь — я, откровенно говоря, ничего не имею против того, чтобы ты тоже выдвинулся. Что значит в наше время выдвинуться? Заработать уважение общества…

— Опять двадцать пять. Приехал, называется,

повидаться с матерью…

Громко позвала автомобильная сирена.

— Это за мной! Я и забыла… Выйди, скажи, что я не поеду… Нет, постой, я сама, ты простудишься без пальто!

Она вышла к водителю, поздравила его с Новым годом и сказала: «Извините, не могу поехать…»

На улице потеплело. Шел снег. Крыша Гениной машины уже побелела. При виде этой машины, стоявшей чуточку накренясь на мостовой, у Дорофеи возникла новая тревога.

— Геня, знаешь что — надо поставить машину во двор.

— Зачем? Ключ у меня.

— Вдруг уведут, тогда что?

— Не уведут. Ворота открывать — целое дело.

— Я открою.

— Да не стоит, мать. Ничего не случится. Я скоро поеду.

— Чья это машина?

— Директорская.

— Он разрешил взять?

— Без разрешения из гаража не выпустят.

— И он знает, что ты уехал за двести километров?

— А какое его дело?

— Если ему завтра понадобится машина?..

— Черт с ним, обойдется «эмкой». Такое хамло, ты бы видела…

Он лежал на ее постели, на покрывале и кружевных накидках, свесив ноги и закинув руки за голову.

— Вот когда шампанское начинает действовать…

— Постлать тебе постель? Разденься и спи. Ты устал.

— Нет, я так… — пробормотал он. — Я немножко…

Что-то еще надо сказать, о чем же она забыла ему сказать…

— Да! Геня!

— А?

— Тебя сегодня спрашивал Саша Любимов.

— Сашка? Что ему?

— Не знаю, просто спрашивал… Генечка, у тебя и там все кончено?

Он зевнул.

— Да нет, зачем же. Она — ничего… Беспокоится?

— Должно быть.

— Я сейчас к ней. По крайней мере без… нравоучений…

Он спал.

Она сидела возле него, сцепив пальцы на колене.

В спаленку падал свет из столовой. Полусумрак скрывал то, что было некрасиво в лице Геннадия, — невыразительность, равнодушие, распустившиеся во сне губы, капли пота над верхней губой… Дорофея видела только то, что красиво: прямой профиль и прямую линию бровей под высоким лбом, темно-русые волнистые пряди на подушке и большие веки, за которыми, казалось, скрываются умные и гордые глаза. И, горюя о нем, о его неустроенной жизни, она не могла не любоваться им.

В окраинной ночной тиши еле уловимо — скорее угадываешь ее, чем слышишь, — звучала музыка. У соседей включено радио. Люди празднуют. Праздник по всей родимой земле, музыка в домах и в эфире.

Глава вторая. Темная девка

В анкетах, в графе «социальное происхождение», Дорофея писала: «Крестьянка, середнячка».

«Место рождения: село Сараны».

Это в двенадцати километрах от железной дороги. Теперь там шоссе и ходит автобус, и есть телефон, и лекторий, и трансляция из Москвы и из области, а когда Дорофея была маленькая, даже школы не было. Иной раз вечером — уже темно в избе и велено спать — заиграет на улице гармонь, Дорофея спрыгивала с полатей, босиком перебегала впотьмах через избу, льнула к окошку. Из-за перегородки раздавался окрик матери:

— А ну, на место!

Дорофея нехотя взбиралась на полати. Лежала и слушала, как удаляется гармонь: тише, тише… И нет ничего. Тишина огромная, неподвижная. Все умертвила, приказала: не надейся, ничего не будет… Господи, господи, хоть бы случилось что-нибудь. Хоть бы волки повыли, что ли. Иногда они подходят к околице, воют; тогда мычит и мечется корова и овцы поднимают возню за стеной, во дворе… Да есть ли что на свете, кроме села Сараны? Или мы одни между землей и

небом? Голос человечий, запой, закричи или хоть выругайся! Чтоб не так пустынно, не так скучно было Дорофее!

Но вот далеко, далеко, далеко — слышится или мерещится: тук-тук-тук… тук-тук-тук… Может, это сердчишко твое стучит? Нет! Вон опять: тук-тук-тук… — уже отчетливей и ближе. Это поезд проходит за лесом, он еще бог знает где, но идет к нашей станции, я услышу, как он загудит, подходя. В поезде едут люди, всякие люди едут во всякие места, мы не одни на свете! Окна у поезда светлые; свет бежит по снежным лапам елей, протянутым к дороге; бежит, бежит — не поймаешь, не остановишь… Вон — загудело: ту-тууу! — легко и неспокойно… Хорошо! Вырасту большая и поеду на поезде…

Кое-что интересное иногда случалось все же. Вот, например, какую однажды историю нечаянно услышала Дорофея, и не про кого-нибудь, а про отца и мать. Бабы, разговаривавшие между собой, не знали, что Дорофея тут, поблизости; а она слушала, притаясь и обмирая. Вы подумайте: мать крысиный яд пила. Из-за отца. Полюбила его, а он жениться ни за что; она и выпей яд. А он был гуляка и изменщик, однако испугался и женился. Дорофея родилась после свадьбы через четыре

месяца. «Здорова будет, — заключили бабы, — хорошая порода, ничто их не берет». Дорофея несколько ночей заснуть не могла — воображала, шептала, переживала эту старую историю.

Один раз отец пошел на охоту с Фролом, соседом. Много ли они выпили и из-за чего поссорились, неизвестно, только отец вернулся избитый, в синяках и крови. Мать поливала водой его всклокоченную голову, положила ему примочку к носу и одно сказала:

— Шли на охоту — попали на гульбу, эх, охотники!

Он не отвечал, стонал и сплевывал. От него густо пахло сивухой. Дорофея смотрела во все глаза. Она не ужасалась и не осуждала: отец гулял, стало быть — веселился; а кровь, стало быть, плата за веселье. Что-нибудь должно случаться, без этого как жить?

Подружка прибежала впопыхах и сказала Дорофее:

— Твой папка дяде Фролу глаз вышиб, айда смотреть?

— Айда! — сказала Дорофея.

И они побежали смотреть на Фрола.

Ночью отец крепко спал, а мать сидела на лавке, положив рядом топор: она думала, что Фрол

придет убивать ее мужа. Дорофея, свесив голову с полатей, прислушивалась: не слыхать ли шагов. То-то было бы интересно, если бы Фрол пришел, а мать зарубила его топором… Но не пришел никто. Отец, проспавшись, стал починять сбрую. Фрол долго ходил с повязкой на глазу, потом стал ходить без повязки.

Беглые с каторги проходили через эти места. Был обычай: под большие праздники в клети на окошко клали ломоть хлеба или пирог. Как-то на рождество, чуть рассвело, Дорофея вышла — а хлеба на окошке нет. Дорофея бросилась к матери:

— Мама, вы клали хлеб для божьих людей?

Мать накинула тулуп и пошла в огород, за ней — Дорофея. Вышли и увидели: к окошку клети вели через сугроб глубокие следы. Мать перекрестилась, глаза ее подобрели. Они стояли вдвоем и смотрели на следы, уходившие по огороду, — божий человек, явно, перелез через изгородь и ушел задами. В молочной рассветной дымке терялся его путь; смутно белели сквозь дымку, все в инее, низенькие рябины за огородом… Куда ушел, что его дожидает, кто он такой? «Может, злодей, зарезал кого», — подумала девчонка Дорофея, и опять в ее сердце не было ужаса, а только любопытство.

Вырасту большая и тоже уйду куда-нибудь…

Мать была старой веры. Ее меньшая сестра Евфалия жила в скиту верст за сто от села. Совсем еще молодая, с пухлыми щеками и румяным ртом, всегда открытым, как будто Евфалия всему удивлялась. «Грех искупает», — сказала однажды мать при Дорофее. Дорофея быстро спросила:

— Какой грех?

Мать так же быстро ударила ее ложкой по лбу:

— Я тебе позволила спрашивать?

Дорофея спросила старших девочек, и те нашептали ей, что у Евфалии был полюбовник на станции и за это Дорофеина мать определила Евфалию в скит.

Изредка Евфалия приезжала в гости. Толстенькая, платок ниже бровей, — смиренно копошилась у печи, помогая старшей сестре. Говорила мало, и все неинтересное. А Дорофея рассматривала ее и мечтала: у тетки Евфалии тоже была любовь! Как это — любовь?.. И у меня будет. Что делают, когда любят, какие слова говорят?.. От любви в скит идут; ядом травятся… Я не хочу. У меня будет не так. А как?..

А бабы говорили, что Ольга прогнала Евфалию в скит, приревновав к ней мужа.

Отцу тоже было скучно дома; он тоже, как Доро-

фея, норовил уйти и поискать веселья на стороне. Украдкой они с Дорофеей переглядывались и отводили глаза. Так ни разу и не поговорили по душам. Девочке полагалось расти под присмотром матери… Любил ли он Дорофею? Любила ли она его? А кто знает. Жалела — вот это верно будет: жалела как маленького. Ей хотелось, чтобы на охоте ему была удача и он пришел веселый, чтобы мать сшила ему красивую рубаху и отпустила погулять.

Его забрали на войну и убили.

Мать надела черный платок и не снимала его до самой смерти. Все ей стало ни к чему, когда убили отца. Прежде, бывало, корова отелится — войдет мать в избу довольная и скажет: «С праздником вас, дому прибыль». Теперь — всё пропади, она бы не моргнула. Даже била Дорофею молча, без наставлений, равнодушно исполняя материнский долг. Большие события начинались в России, далеко от села Сараны, — мать и внимания не обращала. Целый день она работала и Дорофею заставляла работать — хозяйство было все же порядочное, без мужика трудно, — но мало проку от работы, в которую не вложена душа. Дом не держался бездушными стараньями, хирел. Пала лошадь, осели ворота…

Дорофея полола, жала, кормила скотину, убирала навоз, мыла избу и не понимала, зачем это нужно, кому от этого польза и радость. Чтоб околели те овцы, убиваться около них… Жизни хочу!

Жизни не было. Одна отрада — пошлет иногда мать на станцию продать молоко.

Дорофея на станции. Стоит поезд, проходят солдаты. Один говорит громко:

— Ну, Ленин их приберет к рукам!

Так в первый раз Дорофея услышала это имя.

Тогда она не знала, чем станет для нее Ленин. Ничего она тогда не знала. Она была темная девка, алчущая жизни, вот и все.

В Саранах еще не разобрались толком что к чему, а по железной дороге уже катила Революция. В Саранах молотили новый хлеб, а на станции стреляли: ясно и нестрашно доносилась сквозь лес трескотня пулемета. У Дорофеи глаза разгорались: «Ух, девки, что делается, что еще будет…»

Из города приезжали люди, говорили речи. Советская власть — сулили — даст новую жизнь; а старая жизнь рушится. Так ее, круши о щепу, Дорофея согласна! «К гражданам России», — громко читали листок на сходе. «Извиняюсь, гражданочка», — сказал ей кто-то, протискиваясь в толпе.

Она оглянулась и вдруг сообразила, что в листке написано и для нее, что она тоже не просто так себе Дорофейка, а гражданка России. Ей стало чудно, она даже засмеялась…

Село Сараны, нынче колхоз имени Калинина, находится в области, которая побывала под Колчаком. Несколько раз жители испытали переход от одной власти к другой.

По станционной платформе шли, отстукивая каблуками, два офицера: форма не наша, хорошие ботинки с шнуровкой до колен, в руке у каждого короткий хлыст. Они шли как начальники, переговариваясь на чужом свистящем языке. И недоуменно стояла Дорофея, рассматривая их: здесь живут граждане России; по какому такому праву эти свистуны в женских ботинках ходят тут как начальники?..

Но, по правде сказать, очень мало она тогда думала; только глазела и чего-то ждала.

Красные наступали и отступали, мать не велела ходить на станцию — под пулю подвернешься; но Дорофею так и тянуло к этому обстрелянному, загаженному, опасному месту. Кого там не увидишь: то матроса с ленточкой на бескозырке и с гранатами у пояса; то девицу-отроковицу в шинельке и папахе, коса из-под папахи, кобура с

пистолетом — фартит же кому-то, — то оборванных страшных мальчишек, поющих: «Цыпленок тоже хочет жить...»; то зареванную дамочку, которая визжит и выкликает, как кликуша: «Обобрали, помогите!..» Солдат было больше всего, но и штатских с винтовками сколько хочешь; в их числе какие-то дремучие люди, бородачи вроде Фрола Одноглазого, и так же, как Фрол, злые на большевиков. И тут же перли, не страшась смерти, спекулянты, кричали, вылезая из вагонов: «Налетай!», выменивали женскую одежу на сало и крупу и с одежей разносили по селам сыпнотифозную вошь.

Мать слегла. В беспамятстве она пела песни, те, что отец, бывало, пел загулявши. Потом смолкла, стала глядеть разумно и сказала:

— Недолго он побыл без меня... — Стихла и вытянулась. Дорофея видела, как отхлынул живой цвет от ее лица и словно белый воск разлился под кожей. Старуха соседка, бывшая в избе, пальцами осторожно надавила матери на веки — закрыла ей глаза. И Дорофея закрыла глаза и положила голову на подушку рядом с головой матери: пришел ее черед болеть, дольше она не могла держаться на ногах...

Очнулась на той же кровати, под материнским

одеялом. Что-то тяжелое и мокрое лежало на голове, давило. Дорофея хотела потрогать — что это там лежит; рука не поднялась… Посреди избы стояла тетка Евфалия, румяная с холоду, и разматывала платок.

— Не спишь? — спросила она.

— Не… — ответила Дорофея слабеньким голоском. Евфалия, не торопясь, складывала снятый платок; глаза ее со вниманием обошли избу.

— Ольгу-то без меня похоронили! — сказала она жалостно, а сама все шарила глазами по избе. Не нашарив ничего, сказала: — Что ж, они тебя ничем не кормят, никак?

— Что у меня на голове? — спросила Дорофея.

— А мешок со льдом, жар вытягивать… Оставить аль скинуть?

— Ски-и-инь! — приказала Дорофея. И поняла, что с теткой ей будет вольготно.

Вспомнила, что она теперь круглая сирота, заплакала, но слезы текли недолго. Солнышко играло на полу. Явственно притекала сила. Дорофея приподняла руку, пошевелила исхудавшими пальцами, обрадовалась, что они шевелятся… Захотелось есть.

Евфалия сняла мешок с ее головы и полезла по полкам, потом в печь. Нашла на полке что-то

съестное и сжевала, чмокая. Из печи достала теплого молока, дала попить Дорофее и напилась сама.

Дорофея поправилась, и стали они с теткой жить вдвоем.

Хозяйствовали помаленьку, только чтобы не голодать. Щи варили редко: нельзя, что ль, без щей обойтись? Обменяли последнюю овечку на мед и кушали хлебушко с медом.

Эта зима была тихая, все ворота на запоре, в жарких избах под сугробами мерли от сыпняка люди. Красных было не слыхать, беляки заглядывали в Сараны редко — боялись заразы.

Первое время Евфалия говорила:

— Вот выйдешь замуж — я домой ворочусь.

Домом она называла скит.

А потом сказала соседке:

— Видно, так мне с Дорофейкой и жить. Скит-то красные все одно закроют.

— Когда они еще воцарятся, красные-то, — сказала соседка, — да и воцарятся ли, нет ли, еще чья возьмет.

— Ихняя возьмет, — сказала Евфалия, — недолго уж, везде белякам приходит край.

Соседка покосилась:

— Это кто же тебе сказал?

— А Фрол Одноглазый. Индейка, говорит, моя судьба, только, говорит, и останется — в банду податься, и ты, говорит, Фалька, со мной иди, потому что скит большевики обязательно закроют.

Евфалия всегда говорила ровным голосом, степенно и рассудительно, а глупость из нее так и сочилась, как жир из баранины.

Дорофея спросила ее про полюбовника.

— Был! — с готовностью отвечала Евфалия. — Был, как же.

— И ты его любила?

— А конечно, любила.

— Сильно, сильно любила? — спросила Дорофея и от чувств схватилась за щеки обеими руками.

— Ужасть как.

— И он тебя любил?

— А как же: и он любил.

— И бросил тебя!

— Вот уж неправда: не бросил. Меня Ольга в скит отдала. А он, видишь ты, женатый был, детный.

— А тебе не хотелось и скит?

— Неужли ж хотелось?

— Зачем же пошла?

— Как же не пойти, когда она велела?

Дорофея помолчала, рассматривая тетку.

— А за что ты его любила? — уже без восторга спросила она.

— Дык — мужчина, — сказала Евфалия. — Как не любить?

Дорофея перестала спрашивать. Теткина любовь была неинтересная…

Весной, когда стаял снег и подсохло, она пошла с заступом на погост и привела в порядок материнскую могилу. Могильный холм покривился, осел, выглядел сиротливо и жалко; она набросала на него земли, сровняла, заступом срезала прошлогоднюю бурую траву кругом. Утро было серое, без ветра, сторожкое; на мокрых ветках ивы серебрились проглянувшие барашки; от мокрых веток, от сырой земли шел острый тревожный запах. В каждой жилке своей, в ладных своих движениях, в дыхании Дорофея чувствовала крепость и радость; и томила ее кладбищенская тишина. Ей вдруг захотелось сию минуту куда-то бежать, объявить всем людям, что она живая-здоровая, что ей чего-то нужно — чего, она не знает; может, люди скажут… Она загрустила и задумалась, опершись на заступ. Могила лежала у ее ног. Деревянные кресты, прошлогодняя бурая трава. Ничего-то они не видели, те, что лежат под крестами. Прощайте, мама, бедная вы моя…

За тихими серыми днями пришла настоящая весна, щедрая на солнце и дожди. Девки ходили остриженные после тифа, прятали стыдливо головы под платками, пели про любовь. Дорофея переболела раньше других, у нее волосы уже подросли, кудрявились, нежно щекотали ей уши, от щекотки по телу пробегала теплая волна…

Трава на лугах поднялась выше пояса. Евфалия сказала:

— Шляешься, Дорофейка, на станцию дуриком, безо всякой пользы. Взяла бы косу да накосила где при дороге.

— Нешто дают там косить? — спросила Дорофея.

— Подальше от станции, при дороге, всем дают нынче, все одно красные завладеют, Фрол Одноглазый сказал.

Дорофея взяла косу и пошла на станцию.

Там было пусто, не видать никого. Выглянул телеграфист из окошечка и спрятался… Дорофея пошла вдоль полотна и вышла на широкий луг.

«Накошу, а убрать не дадут, врет, поди, Одноглазый», — подумала она, но все же стала косить.

Трава была сочная, ложилась легко. Медовый запах стоял над лугом; сквозь облако благовонное шла Дорофея. Покачивались кругом красные го-

ловки клевера, голубые метелки колокольчиков. Желтая бабочка пролетела перед лицом Дорофеи, часто взмахивая крылышками. Шмель висел над раскрытым цветком, густо гудел, будто возвещал — вот, дескать, как мне хорошо. А наверху было небо, большое, чистое, торжественное, синь и золото лились из него празднично и изобильно. Косить было весело. Не дадут убрать — заплачу, что ли. Холера их возьми, чтоб я из-за них плакала. Выросла трава, косить время, я и кошу. Вот хочу — и кошу.

Косила, разгорелась, не замечала ничего. Подняла глаза — глядь, поезд приближается: совсем уж близко подошел, а она не слышала… Тихо шел поезд: какой-то молодой человек смотрел на Дорофею с паровозной лесенки. Лицо красивое; от бровей вниз загорелое, а лоб белый. Непокрытые русые волосы волной, молодецкие плечи…

(А он увидел — и потом любил это рассказывать: на пустынном лугу — ни души кругом — стояла, вся и цветах до пояса, небольшая девушка, — такая, что рисуй картину, и только. «А что, Дуся? Преувеличиваю разве? Очень была хороша. Не красавица, понимаешь? А как объяснить…» Объяснить он не умел; но с умилением вспоминал те жарко раскрытые глаза, радостное ожидание к

каждой черте. «И волосики эти из-под платочка — колечками, и колечко играет на ветерке… Не веришь, а я сразу тогда подумал: такую иметь при себе — не соскучишься… Я даже во сне потом тебя видел…»)

Он смотрел на Дорофею, и она на него. Он поднял руку, махнул — и все: проехал. Поворачивая голову, она глядела вслед прикованным взглядом, пока его не скрыл поворот дороги. Тогда уж заметила, что мимо нее плывут тихим ходом товарные вагоны, а в раскрытых их дверях — люди с винтовками. И на многих — буденовки со звездой…

Она села в траву.

Показался и проехал. Куда поехал-то, белым в пасть. Может, и жив не будет.

А и будет жив — больше не встретимся.

А вдруг да встретимся?

Я таких красивых не видела.

Волосы, наверно, мягкие, как шелк.

Лоб белый, а брови в одну полоску.

Потянуло прилечь, она прилегла. Лень вдруг, истома — ни косить, ни идти домой.

Так душисто тут, славно, лежала бы и лежала… Почему так плохо устроено на свете, что я тут, а он показался — и нет его?

Ведь тихо поезд шел. Эх ты, не сообразил, было б тебе соскочить!

Протянула руку, сорвала травинку, прикусила: горько…

Ты моя симпатия.

Попробуй, какая горькая травинка, а цветок сладкий.

Так она шептала и воображала, лежа в траве, от солнца перед глазами плыли черные круги. И воображением разожгла в себе ужасную любовь.

Вернулась домой не скоро, уж солнце спускалось. Тронула ворота — заперты. Окошки тоже — наглухо. Заперто, однако, изнутри: значит, Евфалия дома. Дорофея постучалась: ни ответа ни привета. Застучала сильнее, потом, разгневавшись, хватила так, что ворота задрожали. Вышла соседка из ближней избы, сказала, посмеиваясь:

— Напрасно, Дорофея, ворота ломаешь. Не отворит она.

— Как это не отворит? — сказала Дорофея.

— А так. Ты обожди на огороде, а то у меня посиди.

Дорофея молча подняла косу с косовищем, забарабанила в окошко. Сквозь мутное стекло видно было, как по избе метнулся кто-то. Спустя минуты две — Дорофея все барабанила — послышался

стук засова, Евфалия отворила ворота и сказала рассудительно:

— Что это, как ты тарахтишь, так и окошко недолго выбить.

Дорофея, сильно дыша от гнева, вошла в избу и увидела на гвозде фуражку.

— Это чья же фуражка? — спросила она.

— Ах ты господи, — сказала Евфалия, — Фрол Одноглазый забыл.

Дорофея громко засмеялась и следом заплакала. Она не знала с чего, но слезы полились ручьями. Мечта в ней была оскорблена… Евфалия стояла, открывши рот.

— В око… в окошко выпустила? — сквозь смех и плач спрашивала Дорофея. И вдруг закричала как бешеная: — Ты мне бандитов сюда водить не смей, не позволяю, моя изба!

На другой день пришел в Сараны красный отряд, и окончательно утвердилась советская власть.

Зимой Дорофея стояла на станции в ряду других девок и баб. Воздух был жгуч, как самогон, из ноздрей рвался пар, снег сверкал, скрежетал, взвизгивал. Дорофея была одета тепло: в кожушке, хороших валенках, поверх пухового платка — толстая шаль. К тому же на груди под кожухом

у нее была спрятана буханка хлеба — может, случится на что-нибудь обменять, — теплая, недавно из печи, согревала… Корзину с молоком, разлитым в бутылки, Дорофея держала на руке: поставить нельзя — моргнуть не успеешь, схватят; управы на вора искать негде. Бутылки были укутаны тряпьем, чтобы молоко не замерзло.

Из-за сосен, за поворотом, показалось густо-розовое в морозном солнце облако: подходил поезд. Показалась голова паровоза — черная, огнедышащая; бабы и девки глядели навстречу. Ничего неизвестно — может, пройдет мимо, а может, остановится — на пять минут, либо на два часа, либо на двое суток: едет Россия в теплушках без расписания… Поезд остановился, теплушки открылись, из них дохнуло теплом и вонью. Выскочили люди, начался торг.

Всего один пассажирский вагон был в поезде, ближний к паровозу. Из пассажирского вагона вышла молодая городская женщина с голубым чайником; из-под старенького пальто у нее выглядывал белый халат. Дорофея налила ей молока в чайник. За нею подошел какой-то чумазый — лицо в копоти, руки черные. Обтертая кожанка, половина пуговиц оборвана; буденовка надвинута на черный нос. Дорофея подняла

бровки, взглядом спросила — чем будешь расплачиваться? Чумазый сунул руку в карман кожанки, показал грязный бумажный ком: дензнаки. Дорофея дала ему бутылку молока. Белыми зубами чумазый вытащил пробку из горлышка и стал пить, закидывая голову. Рука у него была маленькая, шея статная, девичья. И рот, обмытый молоком, был свежий, как у девицы.

«А хлеба нет у него», — подумала она. Но жалко было отдавать теплую, пахучую буханку за дензнаки, а кроме дензнаков с него что возьмешь…

В другом конце ряда послышались знакомые выкрики: «Кому, кому, налетай, налетай!» Вдоль ряда шел оборванец с щетинистой мордой; держал перед собой, встряхивая, красную юбку. Не юбка — диво, шелк на солнце переливался и пылал — глазам больно; по подолу оборки с зубчиками — не иначе, вытряхнули эту красоту из сундука у старорежимной барыни. Сразу женские руки протянулись, ухватили юбку. «Если никто не купит, — подумала Дорофея, — я возьму за буханку». Чумазый вдруг оторвался от бутылки и сказал обрадованно:

— Да не может быть! Та самая!

Она повернулась к нему и узнала. Сердце рванулось, заколотило в буханку… «Да нет, быть не

может. Обозналась… Да неужто!»

— Ей-богу, она! — протяжно повторил он. Черной рукой сдвинул платок с лица Дорофеи, освобождая подбородок, — рука коснулась ее щеки, по спине Дорофеи, под теплынью кожуха, рассыпался мороз… — Закуталась, что и не узнать, и думал — тетка какая-то… Мы же знакомые, помнишь?

Он, точно он. Ошибки нету: это он, которого она полюбила. Почему он черный такой, ровно из трубы вылез… И все равно ей почудилось, что в морозном воздухе пронесся тот медовый запах луга…

— Это, знаешь, неспроста, — сказал он, не сводя с нее глаз. — Это обязательно что-нибудь означает…

— Не пойму, что говоришь, — ответила она в смятении.

(Что-то отвечать надо же.)

— …что мы опять встретились. Судьба, значит! Ты как думаешь?

— Мало ли с кем встречаешься, — сказала она, — ничего тут такого нет.

(Так полагалось себя держать, когда вяжется чужой парень. На всякий разговор — свои законы.)

— Да ты меня не узнаешь, верно! — сказал он. —

Помнишь — летом — поезд шел, а ты косила. Ну-ка, вспомни! — И сорвал с головы буденовку. Русая волна заискрилась на солнце золотыми искорками — близко, хоть руку протяни и тронь. Красуясь, парень тряхнул головой. «Привычный заманивать», — подумала Дорофея, и лютая ревность затемнила ей весь белый свет.

Подошел красноармеец, велел налить ему молока в фляжку. Чумазый не отходил, стоял рядом и все говорил про судьбу. Дорофея сказала законные слова:

— Нам это ухажерство известно. Ты мне торговать мешаешь, понял? Допивай и отдавай бутылку.

Он послушно допил, вытер рот рукой, размазав копоть по щеке, и сказал задумчиво:

— Так поедем, красивая, со мной?

— Конечно, вот сейчас! — отозвалась она. Взглянула на паровоз, попыхивающий розовым дымом, и подумала: «А если поехать?»

— Ну, что тебе тут! — сказал он. — Коров доить, молоком торговать… Муж есть?

Он спросил серьезно, как о деле.

И, вдруг забыв все законы, она ответила беспомощно:

— Нету…

— Тогда в чем дело? А?

Да, вот мне так страшно, что вся окоченела сразу, будто я голая на морозе, а он ведь шутки шутит: пустопорожний разговор — пошутим и разойдемся. Он уедет, а мне вспоминать…

— Ты, должно быть, пьяный напился, — сказала она.

— Эх, — сказал он, — живем один раз, сегодня я есть, завтра меня нет… Устрою по-буржуйски, в служебном вагоне.

Впереди, в голове поезда, крикнули: «Ленька!» Из тендера высунулся другой чумазый, заорал: «Куприянов!» «Его зовут», — почувствовала Дорофея.

«Уж больше не встречу», — подумала она.

Ей представилось, как она в чужих санях едет домой по длинной белой дороге, где каждая сосенка знакома наизусть, рядом едут соседки и говорят о красной юбке, а позади пустая станция, поезд ушел…

— Ну, так как же? Последний раз спрашиваю.

— Интересно: зачем это я поеду с тобой?

— Как зачем? Счастья искать.

— Ты мне, что ли, пособишь найти счастье?

— А что, пособлю. Не надеешься на меня? Напрасно.

— Куприянов!! — кричат опять.

— Видишь, — сказал парень, — без меня и поезд не пойдет, а ты не надеешься. — Он твердо взял ее за руку. — Поехали!

Паровоз сильно зашипел.

— Ну! — сказал парень и повел Дорофею.

И она пошла, прижимая к себе корзину, смеясь и не веря, что поедет с ним. Опомнилась в вагоне. Поезд шел, стучали колеса, за морозным окном мелькали и мелькали, одна как другая, сосны, ни одного человека рядом не было.

Ничего она не сделала особенного: доедет до ближней станции, сойдет и вернется домой.

И конец рисковой шутке.

Что она — вправду сбежала бог знает с кем?

Вот еще.

Сойдет и пересядет во встречный поезд, а то и пешком дойдет. Харчи есть: молоко, хлеб. Денег есть сколько-то…

Не скисло бы молоко: жарко в вагоне.

Куприянов закинул корзинку на верхнюю полку; Дорофея переставила вниз, под лавку: внизу прохладнее.

Она сняла рукавицы и спустила с плеч душную шаль. Кожух снимать не стоило: как будет остановка, она сойдет.

Она сидела на лавке, крепко сложив под грудью руки, глаза из-под низко повязанного пухового платка горели тревожно и озорно. Веселый холод бился в груди.

Потому что она знала, что это выдумки — насчет ближней станции; притворство, больше ничего. На черта ей ближняя станция. Поехала Дорофейка с Ленькой Куприяновым счастья искать. Ту-тууу! — легко и неспокойно кричит впереди паровоз. Надежда в его крике и устремление…

Соображай, Дорофея: это тебе не то что мечтать, на травке лежа. Там, на лугу, — видение было, как во сне: привиделось видение, махнуло рукой… А Ленька Куприянов — совсем другое, живой и страшный парень; пахнет железом и сманивает девок. Настороженная, вся, как еж, собравшись в комок, сидела Дорофея на лавке, ехала неизвестно куда… Ну, Ленька! Как же у нас будет дальше? Велел надеяться… Вот — понадеялась. Да не на тебя: на себя понадеялась. Чего там: глупей других, что ль, Дорофея? В случае чего — «будь здоров», и пошла за счастьем своей дорогой… Только держись, Дорофейка, чтоб не погибнуть нам с тобой по-глупому, как дуры гибнут.

Однако что ж так сидеть.

Дорофея вышла из тесной загородки, куда поса-

дил ее Ленька, и огляделась.

С правой стороны узкого прохода была дверь, через которую она вошла в вагон, и с левой стороны — только сейчас она увидела — торчали наверху два страшенных заскорузлых сапога, перегораживая проход.

На крюках висела одежа — все рвань. Висел фонарь, и в нем желтая свечка.

И грязища, мои матушки.

Дорофея пошла направо и вышла в тамбур. Открыла дверь на площадку — грохот колес бросился ей навстречу вместе с ледяным ветром. На ледяном ветру стоял, докуривая закрутку, дядька в шинели, с пулеметной лентой через плечо. Не повертывая головы, невнимательно взглянул на Дорофею прижмуренным от махры и ветра, плачущим глазом… Она с усилием закрыла тяжелую дверь, которую ветер толкал на нее, и вернулась в вагон.

Ей навстречу двигался по проходу другой дядька, в старой железнодорожной тужурке и фуражке, с длинным желтым лицом, поросшим серой щетиной. Высоко на лбу, под козырьком фуражки, были у него надеты очки, из-под очков плачевно свисали к вискам желтые брови.

— А, вот она, сестренка! — сказал он. — А я ду-

маю — где ж она девалась… Покажись. Ничего Ленька сестренку подшиб, разбирается хлопец… — Дорофея застыла перед ним, пламенно краснея. — Ты вот что, сестренка, взяла бы да пол помыла, я тебе ведерко дам, только тряпку пошукай, тряпки нет у меня… Садись-ка! — Дорофея села. — Сиди, нигде не девайся, я схожу за ведерком.

Он ушел, и долго его не было, потом вернулся, бормоча:

— Что ты скажешь, было и нет, не иначе — хлопцы утащили на паровоз… У фершалицы спроси, — он мотнул головой в сторону сапог, торчавших с полки; за сапогами была запертая дверь. — Фершалица там едет, у нее ведро, брат, белой эмали! Скажешь — на подержанье, вымоем и отдадим, мол.

— Лучше вы сами, — сказала Дорофея.

— Я у нее и так с утра до вечера все прошу, — сказал дядька. — Другого у нас с ней и разговора не бывает. Свечку вон дала, а то бы и посветить нечем. Скажешь вежливо — извиняюсь, мол, пожалуйста. Она, брат, с перцем, фершалица.

Дорофея прошла под сапогами и вошла в соседнее отделение. Там было чисто, пахло лекарством; на окне висела белая занавесочка. У занавешен-

ного окна лежал человек с толсто забинтованной головой. Под ним был тюфяк и простыня, а сверху пушистое одеяло. Напротив сидела и свертывала бинт та самая молодая женщина в белом халате, которая давеча покупала у Дорофеи молоко. И тот самый голубой чайник стоял на столике.

— Вы ко мне? — спросила женщина.

Она была первым человеком, который сказал Дорофее «вы».

Дорофея постыдилась так сразу взять и сказать: «Дайте ведро». Она кивнула на мужчину и спросила:

— Раненый?

— Говорите тише, — приказала женщина. — Тяжело раненный.

— Поправится, бог даст, — сказала Дорофея, глядя на серый нос и серые каменные веки раненого.

— Ему операция нужна, — сказала женщина. — Дорога для него мучительна, а мы тащимся…

Она говорила еле слышно и строго, но было видно, что она рада новому человеку и разговору.

— Еще хорошо, что едем без происшествий, ведь тут бандиты кругом.

— Чужой или сродник вам? — спросила Дорофея.

— Командир нашего полка, — ответила женщина.

Раненый приподнял веки при этих словах и шевельнул губами.

— Товарищ фельдшер! — позвал он хрипло. — Вы тут?

Женщина стремительно склонилась к нему.

— Пить!

Она налила из чайника в кружку, приподняла раненого, ловко подсунув ему руку под плечи, и поднесла кружку к свинцовым, отчетливо вырезанным губам. Он толкнул кружку, молоко потекло по одеялу.

— Арестовать велю за эти штуки! — сказал он. — Ты зверь!

— Можешь хоть расстрелять, — сказала она молящим, задыхающимся голосом. — Я не буду твоим убийцей.

— Она не понимает! — пожаловался он Дорофее. — Я на этой бабьей диете ослаб хуже маленького… Тебе был приказ купить на станции!

— Жизнь моя! — сказала женщина, падая на колени. — Не говори об этом, тебе же нельзя волноваться!

— Ну, прошу тебя! — сказал раненый. — Ну, умоляю! Маруся! Ну, немножко! Глоточек! У меня,

вот увидишь, совсем другой будет аппетит!

— Да ненаглядный же ты мой! — по-голубиному стонала женщина, гладя и сжимая его руки. — Да как же я смею, когда доктор запретил! Да лучше я в лоб себе пулю пущу, мой единственный, мой герой, мое счастье! Да не терзай же себя, да посмотри же на меня... — И зашептала, положив голову ему на руки. Голова была белокурая, чисто-чисто вымытая, с тонким пробором от лба до худенького затылка; косы уложены в два венца... Молоденький румяный боец с винтовкой приоткрыл дверь, яркими голубыми глазами серьезно посмотрел на раненого, на фельдшерицу, на Дорофею — закрыл дверь без стука. Дорофея, пятясь, выскользнула в другую дверь.

— Не дала? — встретил ее дядька с желтыми бровями. — Буржуазная сущность, вот что я тебе скажу! Бинты на спиртовке варит, чистый денатурат жгет... Жизнь!

— Дайте скребок, если есть, — сказала Дорофея. — Я скребком приберу, а то ступить гадко.

«Ох, вот это любовь! — думала она, скребя грязный пол. — Какие слова!.. Ох, хотя бы он поправился, а то как же она без него?..»

Солнце ушло за лес. Стало быстро темнеть в вагоне. Дорофея, прибрав по возможности, по-

стояла у окна, поглядела сквозь тонкое морозное кружево, как бегут мимо сосны да столбы. Поезд пошел медленнее и остановился, заскрежетав железом. По обе стороны было все то же — сугробы, сосны… Близко скрипел под ногами снег, разговаривали люди. Дядька с желтыми бровями прошел по проходу, горбя узкую спину.

— Дядя, это станция? — спросила Дорофея.

— Сиди, сиди… — пробормотал он на ходу. — Сиди, не вылазь, никакая не станция, вот я его на паровозе пошукаю…

Он ушел, и сейчас же явился, сатаны чернее, Ленька Куприянов. Громко потянул носом и стал топать ногами, сбивая снег с валенок.

— Красный сигнал, — пояснил он. — Постоять придется… Перерыв, значит, на вечерю. Даешь молока, хозяйка! — И обнял ее.

Не то застеснялся, не то оробел, оставшись с нею вдвоем, с глазу на глаз, в сумерках, и, чтобы скрыть стеснение, говорил развязно и обнял развязно. Но она решила твердо, что все будет так, как захочет она, и не будет никакого безобразия.

— Зажги свечку, умойся, — сказала она, — Как будешь есть впотьмах и такими руками? Учили тебя чему-нибудь?

Он как будто удивился, но сходил вымыл лицо

и руки и зажег фонарь, как она велела. Выложил из карманов кусок сала в тряпке, ломоть ржаного хлеба, слипшийся комом, как сырая глина, складной нож и, севши к столику, смотрел, как она хозяйничает. «Скажи пожалуйста!» — сказал он, когда она достала свою буханку. В боковом, тусклом свете фонаря очень красивым было его умытое лицо и красиво блестели глаза.

— Хорошо твой хлеб пахнет, — сказал он и вздохнул.

— Ешь, — сказала она с невольной робкой лаской.

— И ты. Вместе.

Она присела напротив и, потупясь, деликатно откусила кусочек. Первая их вечеря! Сейчас, когда он опять стал белолицым и прекрасным, и в этой близости — почти семья! — она почувствовала прежнее смятение, ее прохватывал озноб, губы сохли и раскрывались, чтобы глотнуть воздуха… Ленькины колени прикасались к ее коленям, она слабо отодвинулась, и снова эти твердые мужские колени настигли ее… С ужасом взглянула она в его блестящие глаза: смотрит, не ест! Опять сейчас обнимет… Неизвестные мужчины прошли мимо их закутка, словно не заметив их, это было страшно. А страшнее всего была ее собственная

слабость и эти блестящие глаза под прямыми бровями.

— Подожди! — жарко шептала она, когда он пересел к ней и обнял с силой. — Подожди, да подожди…

Она не сразу поняла, что случилось. Сперва хлопнула дверь и раздался громкий голос дядьки с желтыми бровями: «Я ж так и знал — на паровозе!» И еще хлопнуло, мелко посыпалось где-то рядом стекло, дунуло холодом, рванулся бледный язычок в фонаре…

А дальше все было сразу: сапоги, что торчали весь день поперек прохода, ударили о пол, великан в серой фуфайке, ругаясь, пронесся мимо Дорофеи и Леньки; Ленька вскочил, схватил что-то с верхней полки из-под одежи — и не стало его; злобно застучал пулемет; длинный свисток, раскатистые выстрелы, крики… Дорофея сжала в руке Ленькин нож, лежавший на столике, и вышла в проход, на свет. Она не знала, куда идет и для чего нож, — взяла и вышла… Поодаль, ближе к выходу, сидел на полу дядька с желтыми бровями, голова у него была откинута, в руке он держал мятое жестяное ведро. Окно в этом отделении было выбито, стужа текла в него, бородатое лицо заглянуло в пролом, вдруг заорало, разинув рот,

и скрылось, — как во сне Дорофея признала это одноглазое лицо… Фельдшерица в белом халате очутилась тут же, села рядом с дядькой и вынула ведро из его руки… И все кончилось враз, как началось.

Стихли выстрелы. Бойцы возвращались в вагон, кто молча и угрюмо, кто громко переговариваясь. Леньки не было. Дядьку с желтыми бровями положили на лавку, сложили ему на груди руки, прикрыли полотенцем лицо. Кто-то завесил разбитое окно шинелью. Кто-то набрал воды в жестяное ведро, и Дорофея замыла кровь на полу. Леньки все не было.

Но вот, швыряя двери и тяжело топая, вошли несколько человек, они вели Леньку, верней сказать — несли, он повисал и падал у них в руках. Они внесли его туда, где руками Дорофеи была приготовлена на столике ее первая любовная вечеря, и положили; там, где они прошли, на только что вымытом полу остались большие алые лепешки. Дорофея прижалась к стенке, не веря беде, не смея подойти… Но люди оглянулись на нее требовательно и сурово, как бы говоря: «Что же ты? Когда нужна для дела, тут-то тебя и нет?» И поняв, чего от нее ждут, она подошла и стала рядом, ближе всех.

Она помогла Марье Федоровне, фельдшерице, разрезать и снять с него промасленную, прокопченную гимнастерку и нижнюю рубаху и держала коробку с инструментами, пока Марья Федоровна перевязывала раненое плечо. Потом устроила для Лени постель: вниз постелила свою шаль, а укрыла кожухом, потому что Марья Федоровна сказала, что его будет лихорадить.

Великан в серой фуфайке весь перепачкался Лениной кровью; Дорофея сказала: «Я вам выстираю фуфайку», — она поняла, что обязана это сделать.

Марья Федоровна дала Лене лекарство, чтобы не так было больно и чтобы он заснул. И все разошлись, она одна осталась с ним.

Свечка догорела. Поезд шел. Мерно во мраке стучали колеса. Немного страшно было, что за перегородкой лежит мертвец. Леня, Ленечка спал. Стало холодно. Дорофея закуталась в свой пуховый платок, больше не во что было, потрогала Лене лоб и порадовалась, что он теплый. С удивлением оглянулась назад и подумала — неужто дня нет, как она отъехала от своих мест?.. Попробовала заглянуть вперед — перепутались мысли…

Стучали колеса во мраке. Кутаясь в платок,

Дорофея бережно прилегла около Лени, к его ногам, к его теплу. Подумала: «Буду за ним ходить и выхожу». И, засыпая, осенила его крестным знамением, материнским, двуперстным, единственным символом благословения и сохранности, который она знала.

Глава третья. Начало жизни

Леню положили в госпиталь в городе Энске. И там они остались жить, когда он выписался.

Рука у Лени еще болела, на паровоз его не допускали, а взяли пока что в депо, на мелкий ремонт. Жили они поблизости от вокзала, в старом пассажирском вагоне, снятом с колес.

Вагон оседал в землю боком, как ветхий дом. Половина его принадлежала Куприяновым, а половина — телеграфисту Цыцаркину и его жене Марго, запросто Маргошке.

Дорофея вымыла свою половину внутри и весь вагон снаружи: на Маргошку рассчитывать не приходилось, Маргошка была буржуйка, белоручка и ни на что не гожий человек. А мимо ходили поезда, и Дорофея не хотела, чтобы пассажиры думали, будто они тут в вагончике грязно живут.

На своих окошках она выставила цветы — две герани и фикус. Цветы ей подарила знакомая, жена машиниста. Леня смастерил железную печку с коленчатой трубой и приносил со станции уголь.

Ничего у них не было, если бы не кой-какие товарищи из депо — хоть пропадай, кашу не в

чем сварить. Но они смеялись и подшучивали над своей нуждой, им было очень хорошо. Что такое голодуха по сравнению с любовью!

Те дни, когда он лежал в госпитале, а она, бездомная, скиталась по людям, из дома в дом, зарабатывая хлеб стиркой, — те дни связали их крепко и нежно. И он и она чувствовали настоящее счастье, когда в приемные дни она, свежая и сияющая, а пятнистом казенном халате и с узелком бедных гостинцев в руке, входила к нему в палату. Каким он становился гордым, как посматривал на соседей! Как ненасытно, часами, глядели они друг другу в глаза!

И теперь она ходила на поденку — надо же было хоть как-нибудь одеться, Леня зарабатывал плохо, — но у нее было жилье, она была жена железнодорожника. Весной рабочим дали землю под огороды; Дорофея сама вскопала и засадила свой участок, Леню не допустила помогать, чтобы не натрудил больную руку.

Маргошка пухла от скуки и шлялась к Дорофее разговаривать. В рваных опорках, нечесаные патлы, Маргошка смахивала на беспризорную. Она курила и, шепелявя, рассказывала о своей прошлой жизни:

— Я училась в студии пластического танца по

школе Айседоры Дункан.

Дорофея не задавала вопросов. Что бы Маргошка ни рассказывала, а ума от нее не наберешься, по патлам видать. Кому она, паразитка, нужна? Обидно было, что она читает книжки и что-то там корчит из себя.

— Босоножки. Мы танцевали в хитонах. У меня хитон был терракотового цвета, оригинально… Я так увлекалась, что бросила гимназию.

Глаза у Маргошки были водянистые, выпуклые, без выражения. Не понять было, горюет она о прошлом или ей лучше с Цыцаркиным, который подобрал ее, когда она потеряла свои богатства. Если бы причесать ее да вымыть ей шею, она была бы миловидной и стала бы похожа на тетку Евфалию, только та не читала романов и не слыхала ничего про Айседору Дункан.

— У нас было семь человек прислуги, представляешь себе?

То-то и выросла прынцессой. Как только терпел ее Цыцаркин! Чуть не каждый день за перегородкой разыгрывался скандал с визгом и бранью, но они скоро мирились, и опять слышался дребезжащий Маргошкин смех и шепелявый говор.

Летними вечерами Дорофея и Леня ходили в городской сад. Это далеко от вокзала, приходилось

долго идти длинными темнеющими улицами, вдоль темных домов. На крылечках, луща семечки, сидели люди; из окон свешивались головы; дети играли в бабки на щербатых плитах тротуаров. Пахло теплой пылью, мусорными ящиками и ночной фиалкой, распускающейся в садиках.

Тогда многие носили сандалии на деревянных подошвах; отовсюду слышалось сухое щелканье деревяшек по камню… Дорофея думала: сколько в городе людей! Сто лет тут проживи — со всеми не познакомишься.

Они шли мимо заводов, мертво смотревших на улицу черными окнами без единого огонька.

И мимо биржи труда, грязного хмурого дома, где днем толпились безработные и куда Дорофея ходила отмечаться — ей хотелось поступить куда-нибудь, — и все напрасно.

И мимо Чека шли, где стоял часовой.

И мимо страшного здания, которое называлось «Помгол» — помощь голодающим. Там выхаживали людей, которые бежали с Волги, из неурожайных мест, — одни от голода распухшие, другие иссохшие, как скелеты. Каждый день они прибывали и прибывали, конца-краю им не было. Дожидаясь очереди на приемку, они сидели и лежали вокруг «Помгола»; и люди, шедшие мимо

по своим делам, умолкали и далеко обходили эти неподвижные серые тела, в сумерках распростертые на тротуаре.

— Уладится помаленьку, — говорил Леня. — Советская власть Антанту одолела, одолеет и это все.

«Кто-то улаживает, — думала Дорофея, — а меня биржа никак никуда не пристроит, как будто я нигде не нужна…» На широкое каменное крыльцо «Помгола» вышла старая женщина с курчавой седой головой; за нею санитары с носилками. «Вон того возьмите», — сказала женщина. Санитары подняли одно серое тело и унесли в дом. «И я смогла бы так распоряжаться. Присмотрелась бы и смогла… И уж во всяком случае — носить на носилках…»

В городском саду играла музыка; гулял все простой народ; подсолнечная лузга трещала под ногами. (В то время это был единственный общественный сад на весь город.) Босые мальчишки юлили среди гуляющих, кричали лихими голосами: «Папиросы, спички!» — «Вот ирис, ирис!» — «Эх, ванильный шоколад!» Жаркая толпа вносила Дорофею и ее мужа под навес, где показывали кино. Леня покупал маленькую ириску, твердую как камень. Дорофея сосала

сладкий камушек и смотрела картины: дураки дерутся, богатая красавица сходит с ума от любви… Жужжал аппарат. Когда на экране появлялась надпись, сто голосов громко читали ее вслух, и Леня читал, крича Дорофее в ухо. Под экраном стоял молодой человек со скрипкой и водил смычком по струнам, но духовой оркестр, игравший в саду, заглушал его музыку; и только когда, охнув, смолкал оркестр, был слышен тоненький, как нитка, голос скрипки…

Иногда Леня приносил из депо билеты, и они смотрели цирк и разные представления, и ученых зверей, и оперу «Аида» — из царской жизни. Одни люди читали им стихи, а другие — лекции, приезжал товарищ Луначарский и объяснял насчет культуры. В «Аиде» Дорофея мало что поняла (неразборчиво пели), а у Луначарского не поняла ничего, только рассматривала, как одет и какая бородка…

А когда им лень было идти в сад, они сидели на своем крылечке, в открытой двери вагона, и тихо разговаривали или просто молчали, обнявшись. В стороне, у пакгауза, горел фонарь; в его свете поблескивали рельсы. Воздух был тяжел от угольной пыли и железа, но Дорофее он казался легким и сладким. Становилось холодно, Леня приносил

свой пиджак и укутывал ей плечи. Потом они шли к себе, и всю ночь над их головами, близкие и далекие, зовущие и печальные, перекликались гудки. А они и не слышали — спали крепко.

Осенью стало хуже: нельзя было сидеть на крылечке, в кинематограф ходить — далеко, Леня скучал и уходил к Цыцаркину. Маргошка раздобыла лото, и они играли до одури, выкрикивая: «Четырнадцать! Сорок четыре! Гуси-лебеди! Дедушка!» — и тарахтя игрушечными бочонками в грязной наволочке. И Дорофея присаживалась поиграть, но она путалась в цифрах, не поспевала за игрой, ей было неприятно, что над нею все берут верх, а вшивая Маргошка всех расторопней.

Цыцаркин говорил: «Лото — ерунда. Найти бы компанию, где играют в шмен-де-фер». Он говорил про себя и Маргошку: «Мы — интеллигенция», — и жаловался, что им приходится жить в таких условиях. «Марго, — говорил он, — дай мне плед, дует с пола». Маргошка приносила старое одеяло. «Мерси, Марго». Он был маленький, белобрысый, а лицо у него было такое, словно кто-то сгреб в горсть его нос и губы и вытянул вперед.

«Съезжу-ка я в Сараны, — решила Дорофея. — Привезу одежу и кой-чего из хозяйства». Ей и раньше об этом думалось, но опасалась оставить

Леню: вдруг познакомится тут с кем без нее и загуляет… «Не успеет загулять, я обернусь быстро… Вот уж нет худа без добра — будет сидеть по вечерам около этого дурацкого лото, как пришитый».

Когда лег снег, она поехала в Сараны. Шла пешком со станции по белой дороге, где каждая сосенка была ей знакома, и вошла в свою избу. Дивно ей было, когда она отворила дверь: будто эта изба ей приснилась когда-то… и снится опять. Бесплотно, как во сне, она поцеловала Евфалию; спросила:

— Ну, как ты тут?

— Проходу мне нет, — пожаловалась Евфалия. — Все Фролом попрекают, а на сколечко между нами было-то? Вот на столечко.

— Его застрелили, — сказала Дорофея.

— Был слух, — сказала Евфалия и перекрестилась. — Такой мужчина здоровый!.. Ты как хочешь, Дорофейка, я к тебе поеду жить.

— Не сейчас… — Дорофея обвела взором низкую горницу: старая изба, а крепкая… — Продадим избу, в городе построимся, тогда переезжай ко мне.

Не век им вековать в вагончике. Сколько железнодорожников строятся. Изба — это деньги. Корова — тоже. Леня беззаботный, ни о чем не думает. Ладно, она сама все сообразит.

— Бог даст, детки у меня будут, — сказала она, — ты за ними будешь смотреть.

— Похудала ты — ужасть, — сказала Евфалия. — Неужто так голодно у вас?

— Голода у нас сейчас нет, — сказала Дорофея, — но, конечно, рабочий класс еще неважно живет. Обещают, однако, — будем жить очень хорошо. Советская власть Антанту одолела, одолеет и это.

— Ты где работаешь?

— На заводе, — соврала Дорофея. Ей невмочь было признаться Евфалии, что она ходит к спецам мыть полы и спецовы жены говорят ей: «Под кроватью хорошенько, Дуся». Захотелось представиться работницей, пролетаркой на сто процентов.

— Ишь! — задумчиво сказал Евфалия.

Ночью Дорофея проснулась и услышала знакомое: тук-тук-тук — далеко, далеко… Поезд проходил за лесом. Она улыбнулась, подумала: «Ленечка уж соскучился там без меня», свернулась клубком и заснула.

Два дня она прогостила в Саранах, повидалась с соседями, похвалилась городской жизнью, потом увязала добро в узлы и поехала домой. Дома ждала ее новость: при вокзале — рукой подать

— открылся клуб для железнодорожников. Над входом горела электрическая вывеска. В буфете кооперация продавала горячие кушанья. Жизнь шла вперед. К весне по ту сторону путей, за элеватором, стала работать большая мельница, стоявшая три года. Ровный рокот доносился оттуда, слышать его было приятно; и на черную железнодорожную землю, на кучи штыба, на крыши вагонов и на листья Дорофеиного фикуса ровным слоем ложился тонкий белый мучной налет — обещание довольства, уверенность, свершение наших надежд.

Первый урок в жизни Дорофеи.

Большая комната с голыми стенами, в ней скамейки без спинок. На скамейках рассаживаются женщины. Ленин, задумчиво щурясь, смотрит на них с маленького портрета.

Из соседней школы принесли черную доску. Учительница мелом пишет на ней букву. «А», — говорит она. Женщины приодеты и немножко стесняются; перешептываются.

Впереди сидит старая старушка, очень способная: моментально запоминает буквы и складывает их так бедово, что все удивляются. Учительница смотрит на старушку ласково и спрашивает, как ее имя-отчество. Но одна жен-

щина потихоньку говорит другим, что старушка и раньше умела читать по складам, а скрыла это из самолюбия, чтобы представиться самой способной. И все шепотом осуждают старушку: что за самолюбие такое, не для игры сюда пришли!

А Дорофея вдруг теряется. Она выросла среди людей, которые считали грамоту делом великим и трудным, благодатным даром, мало кому данным. Буквы запомнить легко, но они все врозь; их много, но каждая в одиночку, название у нее есть, а прок в ней какой? Ох, для чего же их столько насыпано в книжке, больших и маленьких, в чем тут секрет? Грамотный человек открывает книжку, смотрит в нее и сразу, складно, с выражением, одно за другим говорит слова — откуда он их берет?

Хоть бы учительница не вызвала… Она свою неспособность переборет. Помучается и поймет. Уж если Маргошку обучили… После занятия она пойдет проводить учительницу и порасспросит ее хорошенько.

Она поймет раньше, чем кончится занятие. Вовсе она не неспособная. Чересчур уважала, чересчур оробела, искала трудность там, где ее нет. В какой-то миг — вот именно миг, мгновение, зарница в темной туче — по легонькой подсказке

учительницы буквы вдруг выстроятся, соединятся, зазвучат слитно, и из розных значков перед ошеломленной этим светом Дорофеей предстанет *слово*…

Первое ее рабочее место: на заводе чугунного литья.

Неприветлив показался ей этот завод, когда она пришла туда в первый раз. Стоял завод на краю города, на пустынной улице, непроходимо залитой грязью. Серый деревянный забор, за забором низкие крыши; во дворе кучи ржавого лома, с северной стороны на них еще лежал черный лед. Кирпичный домик — контора. Подальше, в глубине двора, — длинное строение, черное от копоти. Худая кошка спрыгнула с крыльца конторы и вскарабкалась на забор, страдая по воробьям. Две женщины катили по рельсам вагонетку и звали кошку: «Кис-кис…» Лица женщин были запорошены землей, глазные белки белели. Вдруг дымно-красно озарились изнутри окна длинного строения…

То был литейный цех. Туда и послали Дорофею из конторы. Она вошла — под низким потолком полыхал непонятный свет, в свету черные двигались люди. «Поберегись!» — закричали рядом, дохнуло жаром: двое рабочих несли ковш,

взявшись с двух сторон; в ковше тихо, тяжело и грозно плескался жидкий огонь; зарево вздымалось из ковша. Рабочие вылили огонь на пол, где были выложены из земли какие-то фигуры. Огонь сразу стал краснеть, темнеть, подернулся кофейной пленкой, по пленке бегали и гасли быстрые искры… В дальнем углу, жарко светя, текла откуда-то из стенки струя огня, люди теснились кругом, подставляя ковши: наберут и несут выливать… Все молчаливо, сурово, трудно. «Лучше б я на колбасный завод попала, — подумала Дорофея, — или на табачную фабрику…»

А через два месяца она говорила: «Ну конечно, мы же литейщики, а не табачницы или там Швейпром». Ходила по заводу запорошенная землей, блестя голубоватыми белками глаз, и гордилась тем, что ее с транспорта (та самая вагонетка) перевели на формовку. По краям век у нее появились тонкие темные полоски — будто подвела ресницы. Лене рассказывала о формах, скрапе, ломе, шихте и вагранках. Родным местом стал ей старый плохонький завод чугунного литья. Отсюда она пошла на первомайскую демонстрацию как равная среди равных, а не как мужняя жена. Здесь ее выбрали в делегатское собрание, и она стала ходить в женотдел и выполнять поручения

женотдела…

Первый идеал Дорофеи: заведующая райженотделом товарищ Залетная.

— Во всей нашей работе, — говорила Залетная, покойно и величаво сидя за красным столом, закапанным чернилами, — мы руководствуемся указаниями большевистской партии. Каждая работница должна знать решения двенадцатого партсъезда.

И она рассказывала о съезде и читала, поднимая журнал к близоруким глазам.

Дорофея слушала, не сводя с нее взгляда. Женщина, которая учит других женщин, как надо жить! Молодая, красивая, у нее высокая грудь, кровь переливается под белой кожей, мило-беспомощно щурятся светлые ресницы — в ней женское, в ней материнское, у нее муж и дети, а она сидит не с ними, а в женотделе, и учит несознательных баб уму-разуму, и сама учится на курсах. На все у нее хватает времени и любви, вот какая женщина. Укажите мне, что сделать, я все сделаю, чтобы стать такой, как она.

Товарищ Залетная — Нюра, как звали ее между собой делегатки, — держалась солидно, говорила негромко, грубых слов не употребляла. Дорофея тоже старалась говорить потише и держаться со-

лидно. Солидность не получалась, но получалась достойная, приличная повадка в обхождении — эта повадка, Дорофея приметила, нравилась Нюре Залетной.

Нюра знала много политических слов. Ее разговор был серьезный. И Дорофея стала вворачивать умные, важные слова: «новая экономическая политика», «государственная промышленность», «рабочая прослойка», «чуждый элемент». Она произносила эти слова благоговейно: они будто прибавляли ей росту.

Нюра стригла свои соломенно-светлые волосы и закалывала их круглым гребешком; и Дорофея стала носить круглый гребешок. Нюра повязывала красный головной платок концами назад, концы не свисали мятыми жгутиками, а держались чуть косым, красивым бантом, и всегда платок был как новенький. И Дорофея стала крахмалить и гладить свой платок и завязывать его точь-в-точь как Нюра. Ходила Нюра в жакете, под жакетом была очень чистая блузка, а на торжественные собрания Нюра надевала галстук. Дорофея мечтала одеться так же, скопила денег и справила костюм.

Нюра все знала. После собраний делегатки провожали ее, кто немножко, кто до дома; и по

дороге разговаривали. Библиотекарша дала Дорофее книжку. «Русские женщины», Дорофея прочла и переживала, но не поняла, почему эти княгини, Волконская и Трубецкая, так бедовали; почему у них мужья были на каторге. И Леня не знал, а у Маргошки Дорофея не стала спрашивать, с какой стати… А Нюра все ей разъяснила про декабристов и поправила, что надо говорить не Трубецкая, а Трубецкая. О чем ни спроси, все она прочитала, все изучила…

«Леня не растет», — тревожно подумала Дорофея.

Он сознательный: другие делали зажигалки и привозили со станций сало, и продавали на базаре, а он такого ничего не делал, никогда! Не хныкал из-за условий, не хвастался тем, что пострадал в битве с бандитами, и ее ругал, когда она выставляла его героем. Сознательный, но не идет вперед, а человек обязан идти вперед.

После работы он ел, отдыхал, разговаривал с Дорофеей, потом говорил: «Сходим в клуб», либо шел к Цыцаркину играть в очко — новая завелась игра… В газете читал только фельетоны и происшествия, и если брался за Дорофеину книгу, то держал ее больше месяца, и библиотекарша делала Дорофее замечание.

Скандалами и поучениями тут ничего не добьешься. Леня добрый, покладистый, она может на него влиять, но ведь Цыцаркин с Маргошкой тоже влияют; если он затоскует от ее поучений, то меньше будет ее любить, тогда Цыцаркины возьмут верх, и конец ее счастью. Как было у отца с матерью? Мать не умела приворожить отца, он тосковал с нею и уходил от нее.

Надо, чтобы Леня любил ее все крепче. Чтобы с нею ему было милей, чем со всеми Цыцаркиными на свете. Тогда он все сделает, что она захочет.

— Ох и устала я, Ленечка. Ноги замлели, так устала.

Она садится и скидывает туфли. Это выдумки: представляется без сил, чтобы он пожалел.

Он смотрит на ее маленькие ноги. Какое у него доброе лицо, у красавца моего писаного.

— Принести тебе воды? Сразу полегчает.

— Принеси, Ленечка, милый.

Со вздохом удовольствия она опускает ноги в теплую воду.

— Вот умник, что печку затопил.

— Хочешь, суп разогрею? Ты сиди.

Разогрей, разогрей. Жалей меня. Побольше вложи в меня сердца — больше будешь дорожить.

— Ленечка, ты слово такое знаешь, что ли?

Приду — уж такая усталая… А ты около меня походишь, поухаживаешь, и опять я живая, хоть танцуй.

А то еще было представление:

— Опять у меня, Леня, не получается.

— С чем это?

— Да вот — топор. Не насажу, и все.

— Зачем брала? Сказано — не трогай. Опять ссадила, эх, силенка женская… Давай сюда.

Он берет у нее топор и исправляет насадку. Она смирно стоит рядом. Не хуже его она бы это сделала. С детства научена. Подумаешь, премудрость. Но ему приятно, что она бывает слабой и неловкой, — и хорошо. Люби меня!

— Прямо как маленькая. Самую что ни на есть простую механику осилить не может. На, поставь на место и не трогай. Не по твоему разуму инструмент.

Не всегда она могла играть и лукавить. Случались объяснения и ссоры.

На заводе были перевыборы завкома. Называли кандидатов, и женский голос сказал: «Куприянову». Дорофея оглянулась, от неожиданности покраснев… Встала женщина и сказала, что обязательно надо выбрать Куприянову, женотдел ее рекомендует как активистку, а женщин на заводе

затирают, так чтобы она отстаивала в завкоме женские интересы.

Кто-то сказал, что Куприянова на производстве без году неделя. Но секретарь ячейки возразил: «Зато она боевая». Она не могла поднять глаза, когда за нее голосовали. Ее выбрали единогласно при одном воздержавшемся.

Радостная, спешила она домой. Была оттепель, лужи — набрала ледяной воды полные калоши. Вот наконец вагончик; в их половине темно — Леня у Цыцаркиных.

— Пришла-таки! — встретил он ее. — Садись скорей, я тут вылетел в трубу!

— Меня выбрали в завком! — сказала она.

— А? — спросил он. — Цыцаркин, ты это брось, слышишь, что я говорю? Эти штуки брось. Ободрал меня, сволочь, а теперь по гривеннику ставить, — не пойдет!

Он был злой и взлохмаченный. Они, видно, давно тут прохлаждались: табачный туман висел в комнате — невзрачной, со следами снятых перегородок и остатками вагонного убранства. Маргошка, разомлевшая, сидела на откидном столике, свесив ноги в дырявых валенках и дымя папиросой. На обеденном столе валялись карты и деньги. Леня махнул рукой, монетка покатилась

со звоном. Цыцаркин, сопя, нагнулся поднять.

— Юпитер, сердишься, значит, не прав! — сказал он из-под стола.

— У нас были перевыборы завкома! — опять сказала Дорофея. — Меня…

— Садись! — Леня схватил ее за руку. — Перебей ему счастье! Пан либо пропал! Есть у тебя деньги? Я проиграл всю получку! На четверых сдавай, Цыцаркин! Теперь посмотрим!

Проиграл получку! Дорофея ахнула. Беда — они и так уже должны в кассу взаимопомощи… Она скинула пальто и села около мужа; но было горько, что новость оставлена без внимания, некому даже сказать, не слушают, — горько до слез. Подавляя слезы, она подняла карты…

— Очко! — закричал Леня и, выхватив карты у нее из рук, шлепнул ими по столу. — Твой банк! Ставишь три рубля! Говори, Марго! Посмотрим! Она у меня счастливая!

Не в силах совладать со слезами, Дорофея перетасовала карты, дала снять, сдала.

— А у нас девятнадцать! — опять закричал Леня. — Ах, молодчина! Ну-ну, говори ты, Цыцаркин…

Дорофея заплакала откровенно. Никто не заметил. Леня хватал карты у нее из рук, придвигал к

ней деньги… Плача, она держала банк и отыгрывала его получку. Леня встал, потянулся с силой, сказал: «Точка! Знай наших! Пошли, Дуся!» — и она пошла за ним на свою половину. Там она легла на постель, лицом в подушку, стараясь успокоиться. Он подсел, еще взбудораженный, с дикими глазами, и погладил ее по плечу.

— Ну что? — сказал он. — Ну, хватит. Ведь отыгрались.

— Я ра… ра… разве из-за этого! — сказала она. — Меня выбрали в завком! Я думала, ты обра… обрадуешься!

Он окончательно пришел в себя.

— Ох я дубина! — сказал он.

— Тебе твое удовольствие — самое главное, — сказала она. — Главней меня.

— Нет, не говори! — сказал он горячо. — Нет, Дуся! Ты даже вообразить не можешь, как я тебя полюбил!

— Любишь, когда другого развлеченья нет…

— Неправда! Всегда! Мне после тебя ни на какую даже смотреть не хочется! Все хуже тебя!

— Как будто только в этом дело, — сказала она. — Ты, например, совершенно не интересуешься общественной работой, а я же не могу сидеть тут с Маргошкой!.. И тебе безразлично,

что меня выбрали единогласно при одном воздержавшемся, ты даже не спросил… — Она еще поплакала. Он виновато гладил ее.

— Если так будет дальше, Леня, я уж и не знаю. Я тебя определенно перерасту…

Под годовщину Девятого января они пошли в город прогуляться и встретили — кого б вы думали? — Марью Федоровну, фельдшерицу, которая когда-то с ними ехала и перевязывала Лене руку. Она их узнала и окликнула. С нею шел тот самый командир полка, которого она везла раненого и поила молоком. Теперь Марья Федоровна была за ним замужем; фамилия их была Акиндиновы.

За эти годы с ними чего-чего не было: Акиндинов лечился, учился в Москве, работал в деревне, потом его перевели в энский губком, и они больше года прожили тут; и опять его переводили, на днях они уезжали в Свердловск. Марья Федоровна ездила с ним всюду, не могла нигде надолго задержаться на работе и огорчалась этим… Они поразговаривали, стоя на улице, и Марья Федоровна повела Куприяновых к себе в гости.

Акиндиновы жили в общежитии для ответственных работников, комната у них была хорошая. Марья Федоровна подала угощенье. Выпивки не было — доктора запретили Акинди-

нову пить, и Марья Федоровна соблюдала, чтобы он слушался. Пришли другие ответственные работники. Дорофея первый раз была в гостях в такой компании и старалась ей соответствовать. Разговор, хотя много шутили, шел о важных вещах. Леню стали спрашивать, какие настроения у рабочих в депо и как растет их политическое сознание. Леня отвечал неавторитетно, все могли видеть, что он не очень-то вникает в эти дела. Дорофея осторожненько перевела разговор на свой завод и ответила на все вопросы. Между прочим рассказала, какой перед Октябрьской годовщиной вышел спор у рабочих с администрацией. Заводу выдали красной материи на украшение цехов. А у завода есть подшефный детский дом, и как завком ни старается, детдомовские ребята одеты плохо, хуже всех в районе, потому что у других домов более богатые шефы: кожевники или табачницы… Вот одна работница и предложила, чтобы материю не резать на лозунги, а выкрасить в практичный какой-нибудь цвет и пошить для детдома костюмчики. Администрация — ни в какую: все, говорят, предприятия будут убраны, и мы по-будничному; вы, говорят, не берете во внимание, какой это праздник. А рабочие говорят — мы берем во внимание, и самое

лучшее к этому празднику одеть тридцать душ детей, чтоб сироты чувствовали, как рабочий класс о них заботится... Страшно активное было собрание, администрация билась до последнего, но ячейка поддержала рабочее предложение, и, в общем, детдом вышел на демонстрацию в новых костюмах.

Ответственные работники выслушали и сказали, что им этот случай известен, о нем был спор в горкоме. И сейчас же спор опять загорелся. Громче всех спорил Акиндинов. Он был на стороне администрации и назвал секретаря ячейки копеечником. Он даже хлопнул кулаком по столу. Другие ему возражали, и Марья Федоровна возражала, и тоже хлопнула по столу своей слабой рукой с тоненькими пальцами. Дорофее было приятно, что ее рассказ приняли так близко к сердцу. Марья Федоровна, прощаясь, поцеловала ее. Дорофея вышла вместе с Леней, но когда он на улице хотел взять ее под руку, она резко вырвалась:

— Не трогай! Мне за тебя стыдно! Люди с ним как с человеком, а он два слова не свяжет, господи!.. Не трогай, не хочу, я не калека, дойду сама!

Он ничего не ответил, отстал и пошел сзади. И так они шли до самого дома, как чужие.

Конечно, долго бы им не выдержать: войдя в дом, заговорили бы, поругались еще, объяснились и помирились. В Дорофее к концу пути все клокотало, так и рвались слова, еле сдерживалась… Вышло по-другому, негаданно; так вышло, что забыли о ссоре, будто ее и не было. Как сейчас, она помнит: Леня стал открывать висячий замок на двери вагончика, а она стояла поодаль и ждала, когда он откроет; и в это время подошел знакомый из управления дороги и сказал:

— Ильич скончался.

Двадцать седьмого января тысяча девятьсот двадцать четвертого года смертный был холод. Жестокий ветер смел снег с улиц и оголил лед, и по железному этому льду мчал, завивая, черный песок, разящий как осколки… Ни разу не глянуло солнце, под темно-мрачным небом лютовал беспощадный ветер, продувая улицы насквозь, будто стремясь выдуть из них все живое. И все равно Дорофея и Леня вышли на улицу, как вышел весь рабочий народ: и не подумалось сидеть в этот день дома… Шли люди, вели закутанных детей. На перекрестках разжигали костры, чтобы погреться, но приблизиться к ним было опасно — во все стороны метал ветер бесцветное, прозрачное пламя, а то вырывал головню из костра

и уносил, катя по льду и разбивая на куски. Гремела сорванная кровля, и хлопали, взвиваясь и крутясь, траурные флаги на домах.

Враз — Дорофея вздрогнула — истошно, отчаянно, невыносимо взревели гудки, все, сколько их было в городе. Грозно гудели трубы заводов и фабрик, кричали паровозы на станции и пароходы на ремонтной верфи. В этом стоне потонули и грохот снесенной кровли, и пушечное хлопанье флагов… Дорофея стояла на перекрестке, вся охваченная ветром, и плакала от холода и горя. И Леня стоял рядом, насупясь, с шапкой в руках…

В ленинский призыв Дорофея вступила в партию. А с осени пошла учиться на рабфак и Леню уговорила.

Ему было трудно: он опять ездил на паровозе, сперва помощником, потом и машинистом; приезжал и уезжал. Дорофея пробовала помогать ему в учении, да что она могла? Сама проходила те же азы. Спасибо, преподаватели занимались с ним дополнительно, а то бы не справился… Он похудел, у него немножко потемнели волосы, в уголках рта появились морщинки.

Она обожала эти морщинки! Она умолкала, если он вдруг обрывал разговор и задумывался, и ходила на цыпочках, когда он занимался. Лам-

па освещала его осунувшееся лицо; волнистая прядь падала на лоб. Рукав косоворотки сползал к локтю на руке, которою он подпирал голову, и до чего же дорога была Дорофее эта неширокая худощавая рука и в особенности — тонкая синяя веточка на белом запястье…

Вместе с ним она строила дом на Разъезжей улице, тот дом, где они живут и сейчас. Только сперва он был совсем маленький, две комнаты, да кухня, да сени; остальные комнаты и веранда пристроены через пять лет… Избу в Саранах продали, Евфалия переехала жить к ним. Денег за избу и корову дали мало, но им предоставили в банке кредит как рабочим-застройщикам. Когда-то Дорофее ненавистно было хозяйство, а теперь оно стало полно для нее смысла и радости; и она без устали ладила и украшала свое гнездо — для себя и для Лени.

И вместе они поднялись до света в одно воскресное утро, студеное весеннее утро, когда оттаявшая и непросохшая земля покрыта стеклянной корочкой заморозка. Они надели рабочую одежу и пошли на площадь Коммуны.

Светлело небо, отчетливее выступали на нем крыши зданий. После короткого митинга народ в порядке двинулся за город.

Дорофея шла уже не с Леней, она на площади разыскала своих заводских и пошла с ними. Процессия далеко растянулась по длинной Октябрьской улице. Люди громко пели песни, не боясь разбудить тех, кто спал за закрытыми ставнями. Утро все светлело. Ненужно горели вдоль улицы, бледными цепочками сбегаясь вдали, фонари и враз погасли, и скоро взошло солнце.

В наши дни от площади Коммуны до станкостроительного — полчаса езды трамваем, двадцать минут автобусом. А тогда показалось — далеченько!.. Кончилась улица, дорога пошла пустырем. Деревянные домишки вразброд, огороды в прошлогодней черной ботве, мусорные свалки, на юру покосившаяся будка с вытяжной трубой, — хуже деревни… Дальше — безлесный простор без дорог, без жилья. Оттуда веяло прелью, взбухшими семенами, молодой травой, которая выглянет вот-вот, сию минуту.

Солнце взлетало все выше. Стеклянная корка на земле исчезала раньше, чем ее касались солнечные лучи: тысячи ног, пройдя по этой корке, дробили ее. Густая грязь липла к подошвам. Впереди — их за людьми не было видно Дорофее — медленно скрипели колесами подводы, на которых везли лопаты и кирки.

Стоп: остановка! Люди раздвигаются. Земля да небо, да солнышко в небе, да в чистом поле небольшое строение вроде конторы и около него грузовик, а на грузовике стоит кто-то. Надсаживаясь, чтобы все услышали, кричит: «Товарищи!.. Мы здесь сегодня!.. Первый котлован!.. Наша социалистическая индустрия!..» Никак опять митинг. Как будто не знаем, действительно, для чего пришли.

Давайте-ка лопаты поскорей. Поплевать на ладони, как водится. Раз-два — начали!.. Эх, первый котлован — бог даст, не последний! Верно, товарищи женщины? В добрый час!

Глава четвертая. Материнство

…Кто-то громко позвал ее, она проснулась и села на постели. Была глубокая ночь, темнота, покой. Леня спал, ровно дыша. Через открытую дверь из кухни доносилось однообразное звяканье ходиков. Стена, возле которой стояла кровать, выходила в кухню, к печке, и была теплая, почти горячая. Дорофее уютно было сидеть между теплой стеной и покойно спящим мужем.

Ей хотелось спать, но она сидела и ждала, когда повторится зов, разбудивший ее. Он не приснился ей. Он непременно должен был повториться. Она ждала, позевывая и улыбаясь.

И зов повторился: она ощутила мягкий и сильный толчок в животе, и, всевластный над нею, живущий в ней, у нее под сердцем повернулся ребенок.

Она сладко засмеялась и охватила руками этот твердый, еще небольшой живот, уже не принадлежавший ей.

До тех пор была только тошнота, тяга к соленому, коричневое пятнышко, ни с то ни с сего выступившее на скуле, и внезапный обморок, когда она упала в цехе и разбила подбородок о

чугунную плиту — по счастью, остывшую.

Она думала, что только аристократки, о которых она читала в романах, падают в обморок, а с простыми женщинами этого не бывает; и удивилась, очнувшись на полу, головой и плечами на коленях у товарки, мокрая от воды, которою ее опрыскивали, бессильная, с болью в подбородке и звоном в ушах — длинный, бесконечный звон, будто кто-то не переставая давил на кнопку звонка.

Подбородок скоро зажил, остался маленький розовый шрам; это была *его* отметина, как и коричневое пятно. *Он* еще не шевелился, *его* вроде и не было, она еще не загадывала, мальчик или девочка, — но *он* уже метил ей лицо своими метами, и требовал соленых огурцов, и заставлял ее спать так много, как она никогда не спала.

А теперь *он* позвал ее, *он* повернулся с силой, чтобы она хорошенько почувствовала, и громко сказал: «Имей в виду, я тут».

И она сонно смеялась, охватив руками живот и низко склонив голову.

— Я знаю, что мне надо, — продолжал он. — И делаю то, что мне надо. И я самый главный, чтоб ты знала.

Все отодвинулось от них. Ни звяканья маят-

ника не стало слышно, ни Лениного дыхания. В теплыни и темноте был *он*, и она при нем.

— Ты какой? — спросила она сквозь дрему. — Как тебя зовут, моя деточка?

Но он не ответил, он, видно, уже устроился, как ему было удобно, и сказал все, что ему требовалось сказать; и теперь молчал. И она, не дождавшись ответа, уснула над ним.

Серьезная и строгая, готовая на муки, ехала она в больницу. Глаза ее запали и горели, как свечи, от ожидания и тайного страха.

Они ехали с Леней на извозчике. Город выставлял для обозрения свои вывески и перекрестки. Солнце светило. Базар кишел народом. Все это в тот день не имело для Дорофеи никакого значения. Имело значение только то неизведанное, неизбежное и неотложное, что происходило в ней самой.

Решетчатые ворота открылись перед ними, и в больничный сад они въехали вдвоем.

И по коридору шли вдвоем, и Леня так переживал, что она сказала ему:

— Как не стыдно так бояться.

А за одну дверь Леню уже не пустили, Дорофея поцеловала его в губы и пошла дальше сама в сопровождении сестрицы.

И вот палата, где неизбежное должно совершиться: очень светлая, пожалуй чересчур светлая, белые койки, белые тумбочки, круглые часы на белой высокой стене.

Дорофея в грубой казенной рубашке — свое белье здесь нельзя надевать. Рубашка пахнет дезинфекцией. Часы бьют раз, бьют второй: два часа дня.

Звон негромкий, плавный, важный, он будто говорит: «Так надо, так надо». Дорофея ложится в белую койку. Белая сестрица говорит:

— Когда будут схватки, упирайтесь ногами.

— Хорошо, — дисциплинированно отвечает Дорофея.

Очень кричит женщина на соседней койке.

«Я не буду кричать, — думает Дорофея, снова чувствуя боль и упираясь ногами, — стыд какой так кричать, ни за что не буду…»

Она закусывает губу и борется с жестокой болью, вдруг боль исчезает сразу, и тело обливается потом.

«Даже не застонала, вот. Нежности какие, вполне можно вытерпеть…»

Часы бьют три и четыре, яркий солнечный квадрат уходит с коричневого пола на белую стену и переламывается на белом потолке. Темнеет,

зажигают электричество.

Женщины, которую Дорофея осудила за крик, уже нет в палате — она родила, и ее унесли в другое помещение, а Дорофея не заметила.

И не слышит Дорофея, как бьют часы, хоть и приковалась — не оторваться — к ним глазами.

Ей кажется, что все спасение в этих часах. Чтобы стрелки передвигались быстрей. Но они ползут медленно, медленно.

И ничего ей больше не стыдно, она кричит чужим, ей самой диким голосом, кусает себе руки и ногтями царапает лицо.

О-о-о, так вот это за какую плату дается!

О-о-о, освободи меня скорей! Я помогу тебе, только скорей! скорей!

Ох, не хочешь. Ну, спасибо хоть за передышку. Я посплю пока. Смотрите-ка, уже светает.

Как, опять? Я спала четыре минуты…

Дивное дело:

Кажется — как вынести такое? Кажется — тут из тебя и душа вон. На этот раз выдержала, я больше не смогу, нет, больше не смогу, умру.

Но после минутной блаженной передышки все начиналось еще беспощаднее, и слабости как не бывало, и тело откликалось вспышкой яростной силы: так, так, я помогу!

Невесть откуда бралась эта сила, устремленная к одной-единственной цели.

Может, цель порождала силу.

Уже докторша не отходила от Дорофеи. Дорофея понимала: теперь недолго. Но он вот еще что проделал, этот выдумщик: взял да и повернулся, и пошел ножками. Тут все забегали: и докторша, и сестра; появился еще один доктор: сквозь туман звериной боли Дорофея услышала слово: «Щипцы». Она привстала и крикнула:

— Я не хочу щипцы!

— Это не для вас, не для вас; успокойтесь, — сказала докторша.

Дорофея не поверила, она, делая свое, вслушивалась и слышала лязг металла. Косилась в ту сторону воспаленным взглядом и думала: «Не дам. Меня пусть лучше калечат, а его не дам».

— …Кто? — быстро спросила она и села, чтобы видеть.

Ее схватили за плечи, уложили.

— Мальчик или девочка? — спросила она.

Ей не ответили. Ребенок был у них в руках, они загородили его. Они что-то делали с ним, окунули в один таз, потом в другой. Ребенок молчал, Дорофея забеспокоилась. Он чихнул — до чего смешно, как котенок… Она засмеялась.

— Мальчик, мальчик! — сказала докторша. — Прекрасный мальчик, молодец мамаша.

Держа ребенка на ладони, она поднесла его к Дорофее. Синее тельце тряслось. Дорофее словно игла вошла в сердце — никогда никого так не было жалко… Сестра накинула на дрожащее тельце простынку. Ребенка завернули и унесли.

Сиделка, убирая Дорофею, рассказала ей, что ребенок родился удушенным. Когда он повернулся и пошел ногами, пуповина затянула ему шейку. Доктора его отходили, а иначе — пошли бы вы, мамаша, из больницы с порожними руками… Дорофея выслушала без ужаса: слишком ей было хорошо и слишком она устала. Все страшное кончилось вместе с болью. Ребенок жив, а ее сейчас перенесут в тихую палату, она уснет и будет спать. Не такая уж и трудная штука роды, кто выдумал, будто это так трудно…

Она считала свое имя некрасивым, грубым и заранее решила — детей назову красиво.

В больничной скуке перебирала разные имена, советовалась с другими мамашами и выбрала сыну имя Геннадий. Сокращенно Геня, а вырастет взрослым, будет Геннадий Леонидович Куприянов.

И очень хорошо: Геня и Леня, вы мои два маль-

чика…

Леня приходил каждый день — специально отпуск взял — и посылал ей с сиделками записки и гостинцы. Она писала ему: «Он здесь лучше всех детей», «Будет красавец», «Он меня уже узнает».

А Леня писал: «Купил кроватку, такую, как тебе хотелось», «Купил голубое одеяльце, как ты велела».

— Конечно голубое, мальчику полагается голубое.

Женщины говорили: «У вас хороший муж». Ей было приятно. Но вот одной женщине принесли цветы. Много, целый сноп. Их поставили на тумбочке в большом кувшине, и палата стала нарядной, праздничной, и женщина, которая владела цветами, показалась самой счастливой из всех.

И другой принесли цветы, и ей тоже все позавидовали.

«Вот какое установление, — подумала Дорофея, — мы и не знали с Леней». И скучен ей показался его гостинец — ветчина и пирожные. «Научу его, в следующий раз чтоб обязательно прислал цветы. Сколько нам еще узнавать!.. Книжку бы напечатали, что ли, о разных таких вещах».

Ребенок сосал ее грудь, она смотрела на его личико, нахмуренное и важное, и думала: «Ты все будешь знать. Где мама меня рожала? Небось на печи. А кругом нас с тобой вон сколько народу хлопочет. Меня ядом травили, а ты цветок в саду. Сто садовников будет у тебя, моя ненаглядная радость».

Из больницы ехали опять на извозчике, втроем, — она держала на руках голубой сверток и была гордая, милостиво-величавая, как царица.

С этим голубым свертком она была вдесятеро главнее Лени, и тот понимал, держался угодливо и послушно.

Было раннее летнее утро. Извозчик свернул на немощеную Разъезжую, Леня сказал: «Осторожно», поехали шагом. Евфалия, в чистой кофте и чистом платочке, вышла навстречу, умиленно всхлипывая. И соседки вышли на нагретую солнцем улицу, и Дорофея, отвернув уголок голубого одеяльца, показала им ребенка. А потом взошла с ним на крыльцо, в доме был вымыт пол, постелена чистая постель, она положила свою ношу на постель и сказала:

— Ну, вот мы и дома, сынок.

Прошло двадцать пять лет, и на этой самой кровати лежит сын, ставший взрослым мужчи-

ной, Геннадием Леонидовичем Куприяновым. Насколько он был понятней, когда лежал тут в пеленках, раскинув крохотные кулачки…

Дети — Геня и Юлька — внесли умиротворение в душу Евфалии.

Приехав в город, Евфалия нашла, что жизнь тут куда не такая развеселая, как мечталось издалека: театр и цирк не каждый день, и ухажеры не ходят под окнами, и хоть нет ни коровы, ни овец, а хлопот по дому — дай боже!.. На одни очереди в магазинах сколько надо времени. Впрочем, очереди Евфалии полюбились — там всегда тебе готовая компания и разговор.

Дорофея определила тетку в ликбез. Читать Евфалия научилась, а дальше забастовала. Иногда приключалась у нее тоска. Сидя у окошка и горестно подперши щеку рукой, Евфалия пела псалмы глухим диковатым голосом. Делала она это назло Дорофейке и ее мужу; и назло ходила в церковь. Когда Дорофея и Леонид Никитич приходили домой, Евфалия кричала: «Нет вам обеда, я уезжаю в Сараны!» К детям же она привязалась сердечно, особенно к Юльке, которая была ей забава, собеседница и помощница с малых лет. Привязавшись, Евфалия перестала бунтовать и степенно занялась делом, на которое назначе-

на была своим положением: варила, стирала, штопала на всю семью. Юльку, любимицу, она забрала спать к себе в комнату.

Комнатка у Евфалии крошечная: всего и помещалось в ней, что большая кровать да Юлькина кроватка, сундучок да комод. Вечером лягут — обе в одно время; чтобы доставить Юльке удовольствие, начнет Евфалия сказывать сказку. Но сказывала она так бестолково и с такими зевками, что Юлька, избалованная сказками в детском саду, тоже начинала зевать и засыпала, не дослушав.

Юлька была некрасивым ребенком: скуластая, курносая, узкий разрез глаз. Дорофею это очень огорчало… Зато каким красавчиком рос Геня! Маргошка Цыцаркина, когда ему было четырнадцать лет, сказала, что из такого мальчика выйдет что-нибудь необыкновенное, знаменитый артист или что-то в этом роде.

Маргошку и ее мужа Дорофея потеряла из виду давно, когда переселилась в свой дом на Разъезжей. Но раза три они встречались. Первый раз это было еще в годы нэпа. Маргошка вдруг предстала перед Дорофеей в неимоверном блеске, разодетая во все дорогое и новое, с голубым песцом через плечо. Волосы у нее были выкрашены в

ярко-желтый цвет. Ее бы и не узнать, но она сама остановила Дорофею и похвалилась, что вышла за частного предпринимателя и живет очень хорошо, муж на руках носит.

— Цыцаркина, значит, бросила, — равнодушно сказала Дорофея.

— Он исчез из моей жизни еще раньше, — ответила Маргошка, шепелявя.

И рассказала, что Цыцаркин нашел-таки компанию, где играли в шмен-де-фер, и проиграл много казенных денег (он в то время заведовал почтовым отделением); его судили и выслали. А Маргошка пошла искать, к какому ей берегу прибиться, и прибилась к частному предпринимателю.

— Судьба наконец улыбнулась мне, — сказала Маргошка.

Судьба улыбалась недолго — году в тридцать втором Дорофея повстречала Маргошку уже совсем в другом виде: обтрепанная, в туфлях со сбитыми каблуками, Маргошка вышла из магазина, неся грязную кошелку; из кошелки букетом торчали серые макароны. Была Маргошка постаревшая и некрасивая, и только волосы, как прошлый раз, были желтого цвета. Дорофея ее не окликнула. «Нэпман-то, должно быть, поехал

туда же, где Цыцаркин», — мельком подумала она и пошла своей дорогой.

В третий раз они столкнулись года за два до войны. Дорофея шла с Геней в магазины, купить ему спортивные туфли и все, что нужно к летнему сезону, и увидела Маргошку с ребенком на руках. От неожиданности Дорофея остановилась: уж очень, в ее представлении, не годилась Маргошка для роли матери. Ребенок был худенький, с цыплячьими ручками, личико больное: с больного личика печально и недобро смотрели черные глаза. В матросском костюмчике с короткими штанишками — мальчик.

— Боже, какая красота! — воскликнула Маргошка, глядя на Геню. — Узнаю — вылитый Леня, только гораздо, гораздо интереснее!

— Вас тоже нужно поздравить, — сказала Дорофея.

— Ну что вы, — сказала Маргошка, — это не мой. Вы думали, мой?

Она раздобрела, стала краснощекой и грубой. Одета прилично, но все будто с чужого плеча.

— Я живу у Борташевичей, слышали, наверно, фамилию… Это их сын.

— Знаю Борташевича, — сказала Дорофея. — Так это сын Степана Андреича? — Борташевич

был здоровяк, шутник. Она сочувственно посмотрела на прозрачное личико ребенка. — Что с ним?..

— Костный туберкулез, — ответила Маргошка и продолжала восхищаться Геней. Ей-богу, она даже кокетничала с ним. Маленький Борташевич слушал, слушал, потом разжал бледные губки и произнес отчетливо:

— Марго, хватит разговаривать, пошли дальше.

— Сколько ему? — спросила Дорофея.

— Четыре года… Пошли, пошли, Сережа, — торопливо сказала Маргошка, поправляя ему шапочку. Мальчик посмотрел черными глазами на Дорофею и сказал:

— Мне уже пятый.

— Да, пятый, и какой прок, если тебя на руках надо носить! — уже сердито сказала Маргошка и пошла с ним прочь, по-бабьи выпячивая живот. И, как когда-то, показалась Дорофее очень похожей на Евфалию.

Больше они не встречались, но на одном собрании, где Дорофея была в президиуме, ей вдруг мелькнуло среди сотен лиц, наполнявших зал, знакомое мужское лицо с белесыми бровями и с такими губами и носом, словно кто-то забрал

их в горсть и вытянул вперед. Это было лицо Цыцаркина, оно мелькнуло и скрылось, она не искала его…

Геня часто болел. При виде его страданий у Дорофеи разрывалось сердце. О, муки, о, бессонные ночи, когда у ребенка жар! Легче самой переболеть чем угодно…

Жизнь была заполнена до края. Дорофея работала и училась. Ее выдвигали, ее шлифовали неустанно и терпеливо, как драгоценный камень. А рядом со всем этим был дом на Разъезжей, семья, счастье и терзания материнства.

Она думала: трудно, пока сын маленький; подрастет, окрепнет, наберется разума — меньше будет забот. Оказалось не так. Растет сын, и растут заботы. Чем взрослее сын, тем взрослее заботы.

Незадолго до войны Геню чуть не исключили из комсомола.

Школьная организация исключила с мотивировкой: «За противопоставление себя коллективу». Плохо учится, не выполняет комсомольские поручения, отказался идти на субботник сажать деревья, заявив: «Мне эти деревья не нужны; кому нужны, те пусть и сажают».

— Матушки, целый список преступлений, — сказала Дорофея. — Про деревья — это же в

запальчивости сказано, раздражился и брякнул не подумав, мальчик нервный… Задача комсомола воспитывать молодежь, а они отталкивают…

Она пошла в горком комсомола, учила Геню, как писать заявление, и добилась того, что он остался комсомольцем. Ей это было нужней, чем ему; она пережила стыд и горе.

— Генечка, — сказала она, когда все закончилось благополучно, — я тебя прошу, ну ради меня, чтобы это не повторялось.

— Да ладно, — сказал он.

У него было много знакомых девочек. Они прибегали по двое и стайками и кричали под окнами: «Геня!» Он выходил и разговаривал с ними на улице. Дорофея гордилась, что он с этих лет имеет успех. Но теперь сказала:

— Девчонки тебя разбаловали, вот что!

…А Юлька росла незаметно: без неприятностей, без серьезных болезней и восторженных похвал… В войну Дорофея с чувством материнской гордости и некоторого удивления услыхала, что Юльку знает вся школа, она играет там роль: ее тимуровская команда самая передовая. Тимуровцы оказывали помощь семьям фронтовиков. Кому-то Юлька со своими товарищами складывала дрова, присматривала за чьими-то детьми, бегала в

аптеку… Однажды Дорофея видела, как они шли, мальчики и девочки, очень озабоченные, несли в авоськах проросшую картошку с длинными ростками — верно, кому-то на посадку — и на всю улицу обсуждали свои очередные задачи. В центре шла Юлька с черными бантиками в светлых косичках и явно коноводила… После войны тимуровские команды свяли, распались; но у Юльки сохранилась привычка — примечать, где нужна ее помощь, и помогать.

В Энске побывало много эвакуированных. И в доме Куприяновых жили две гордые капризные старухи, с которыми Евфалия вечно враждовала, и больная женщина с сыном Андреем. Андрей сдружился с Юлькой, хоть был четырьмя годами старше, и с теткой Евфалией — она его кормила и опекала. Мать его все болела и умерла в больнице. Он оставался у Куприяновых, пока не окончил семь классов; тогда поступил на станкостроительный и перешел в заводское общежитие, но часто ходил к Куприяновым, и они к нему привыкли.

Он был высоконький, худощавый, хорошо сложенный мальчик с рыже-русыми прямыми волосами, гладко зачесанными назад, — от быстрых его движений они рассыпались и падали на уши и щеки, и он отмахивал их обратно. Его

продолговатое лицо было бы красивым, если бы не густые веснушки и конопатинки от ветряной оспы. Все он делал быстро и словно между прочим. Между прочим схватит ведра с лавки и принесет воды. Между прочим проглотит тарелку супу, пока другие только приступают к еде. Юлька была недовольна, что он ведет себя слишком шумно, и учила его приличным манерам.

На третьем месяце Отечественной войны депутат Куприянова была избрана заместителем председателя энского горисполкома. Ей поручили работу по приему и устройству эвакуированных.

Она пришла принять дела от прежнего заместителя, уходящего на фронт, а в коридоре и приемной уже дожидались люди из Риги, Львова, Минска и других далеких мест.

Одному устрой жилье, другому работу, третьего помести в больницу, у четвертого украли пальто, пятому, пока суд да дело, нужно дать талоны в столовую, чтобы немедля пошел и поел.

В Энск ехали заводы с машинами и лабораториями, учреждения с архивами, вузы, театры — рабочие, студенты, профессора, актеры. Дети всех возрастов. Женщины — тысячи безмужних, бездомных женщин.

Заводы, приехавшие на платформах издалека,

размещались на территории оседлых заводов и начинали работать. Для многих срочно строились новые корпуса. Для рабочих строились бараки… Пошел поток эвакуированных из Ленинграда; Дорофее показалось — все, что было, еще полбеды… Ленинградцы являлись сперва бодрые, требовательные, недовольные тем, что их вывезли из родного города; потом поехали больные, с голодным поносом, дистрофики…

У Дорофеи были на учете больницы, автотранспорт, столовые, продуктовые базы, бани и каждый квадратный метр жилой площади. Красным карандашом метила на схеме: здесь еще возможно поселить человека… Три телефонных аппарата было на столе, она клала трубку и брала другую. Ей казалось, что когда сидишь, то дело спорится медленнее; и она стояла. А на стол с трех сторон нажимали люди. Их стало очень много, они не хотели ждать очереди и шли прямо в кабинет.

Какие-то вещи запомнились на всю жизнь: как ходил, ходил к ней мастер из Харькова, она помогала ему разыскивать жену и детей. Как-то вошел, она подумала: «Опять он тут, а у меня ничего для него нет», а он сказал: «Вы больше не старайтесь, товарищ Куприянова, я узнал, они

убиты при бомбежке». Он сказал по-украински: «их вбито», так что она не тотчас поняла… Или как старик в бобровой шапке бранился и лез вперед, а его не пускали; но он растолкал всех, пробрался к столу и требовал, чтобы она занялась с ним. Она сказала сухо: «Вы видите, я говорю с гражданкой», а он взялся за ворот шубы, вытянул шею и стал падать на тех, кто стоял сзади. Его подхватили, отнесли на диван, теперь уже все перед ним расступились. Дорофея вызвала «скорую помощь». Чей-то голос сказал: «Симуляция». Кровоизлияние в мозг — старик умер к вечеру; доктор наук, она забыла каких…

И тут же рядом ерунда. Примчался какой-то хорошо одетый, лицо знакомое, симпатичное и умное, кажется из театра; протиснулся, запыхавшись: «Дорофея Николавна, тут напротив мороженое продают, прикажите, чтобы эвакуированным без очереди»…

Уходила Дорофея с работы поздно ночью. Летом ли, в мороз ли, у нее кружилась голова, когда она выходила на воздух. Иногда в коридоре или на улице поджидал ее Леонид Никитич. Он брал ее под руку и вел домой молча — понимал, что нужнее всего ей сейчас тишина. Задавал только один короткий вопрос: «Обедала?» — и они шли

дальше по ночным улицам. Приноровился Леня водить ее под руку: уж так-то обоим ловко — и шаг легкий, дружный; за десятки лет выработался этот шаг. Дома был накрыт стол и нагрета вода для мытья, Дорофея садилась и смотрела, как Леня хлопочет, чтобы ее накормить.

— Сыта? — спрашивал он озабоченно.

— Сыта, — отвечала она, благодарно подняв на него глаза.

Их юность прошла. Им бывало жалко той ранней, сумасшедшей любви… Но вот они вместе, два человека, соединенные близостью, с которой ничто не сравнится. Они знают друг о друге все, что возможно знать. Они прошли через страсть и охлаждение… и остались вместе. Он не обижается, что она — лицо должностное, руководящее, и он — исполнитель, машинист. Он гордится ею и жалеет, что ее «заездили». И она больше не возмущается, что не мечтает Леня о широких сферах деятельности, что для него самое милое дело — свой паровоз, свое депо, свой клуб, где он член правления, — и выше он не рвется, таков уж нрав. Иногда, как прежде, Дорофею огорчает, что у него кругозор недостаточный; что культуры не так много: он, например, охотно читает только исторические романы да приключения, а остальное

со скукой… Но она отмахивается от этих огорчений: слишком довольно на работе горького и трудного, дома отдохнуть необходимо человеку, набрать сил для завтрашнего дня… Леня понимает. Как когда-то в юности, он разогревает для нее еду и стелет постель, они вдвоем, — сам усталый и позевывающий, он бодрствует с нею, когда все давно спят… Ленечка, родной. Я теперь до конца поняла, что ты для меня такое. Спасибо тебе, Ленечка, за то, что ты есть у меня…

Учиться Геннадий не любил. Работа его тоже не манила. Жить бы так, чтобы каждую минуту делать то, что в данную минуту хочется. «Самая нормальная жизнь, — думал он, — ни к чему себя не принуждать».

Но он понимал, что это невозможно, не бывает, — и, кой-как окончив девять классов, поступил на шоферские курсы. Когда его мобилизовали, он, на радость Дорофее, попал шофером к генералу, директору ближнего артзавода.

Привозя генерала в город, Геннадий заходил домой. Дома ему не нравилось, там были чужие люди. Он удивлялся матери — зачем пустила эвакуированных, могла, по своему положению, не пускать. Вот у генерала никто не живет.

— Но людям надо же где-то жить! — говорила

Дорофея, в свою очередь удивляясь, откуда в нем эта черствость и непонимание. — И как я стану к другим вселять, а к себе не пущу? У нас пять комнат.

— Какие это комнаты. Вот у генерала действительно комнаты… Сидишь в халупе, давно могла получить хорошую квартиру…

Генерал, по его словам, относился к нему неплохо, о генеральше он говорил с легкой, на что-то намекающей улыбкой, но служба собачья, машина требуется днем и ночью, спишь когда придется… Выдали сапоги — ну, это спасибо, ношу свои ботинки, сапоги — не обувь для человека, раз надел и сразу растер ногу.

— Удивительно. Как же ты растер, сидя в машине? Люди какие переходы делают в сапогах…

— А черт его знает. Два шага ступил и сразу растер.

«Ему будет плохо в жизни», — подумала она грустно.

Он был демобилизован с первой очередью и вернулся домой. «Ах, хорошо!» — сказал он, переодевшись в штатское. Дорофея спросила:

— Что теперь думаешь делать?

— Отдохну немного, — сказал он, — а там дело найдется.

В шоферах надоело. Учиться — да нет, не тянет…

— За чем остановка? — спросил Леонид Никитич. — На любом производстве тебя возьмут с дорогой душой.

— Посмотрю, — сказал Геннадий, — может, и на производство…

Юлька стояла и переводила строгие глаза с отца на мать и с матери на брата…

Оставшись с сыном наедине, Дорофея сказала:

— Генечка, пора тебе подумать серьезно.

И стала говорить, что все трудятся и что цена человеку у нас определяется по тому, что он дает людям. Геннадий перебил:

— Я отказываюсь работать, что ли? Я три года баранку вертел! Думаешь, мне очень хотелось ее вертеть? Вертел же.

— В порядке воинской службы. Потому что призвали.

— В каком бы ни было порядке, я вертел.

— Надо выбрать какую-то точку…

— Вот я и ищу точку. Помоги найти, ну? Ты же всех тут знаешь. Чем агитировать, лучше помоги.

Она помогла. В последующие годы Геннадий служил в экспедиции Союзпечати, по автотранс-

порту — в Заготзерне, снабженцем в гостинице, опять по автотранспорту — в Главрыбсбыте, администратором в Доме культуры железнодорожников и опять по автотранспорту — в кооперации.

Везде он пробовал работу, как человек, лишенный аппетита, пробует пищу, — брезгливо и недоверчиво; и никакая пища не приходилась ему по вкусу. Он отказывался от должности, его не удерживали.

Ему хотелось иметь собственный автомобиль. Надоело в одном месте — заправился и поехал в другое, — хорошо!.. Вот бы матери дали персональную машину.

Дороги у нас плоховаты — ну, построят и дороги…

Твердят: техникум, институт. А где тот техникум, где тот институт, куда ему захотелось бы? И это на несколько лет засесть за учебники и конспекты…

Не то чтобы он намеревался весь век прожить в иждивенцах: он хотел бы хорошо зарабатывать, занимать видное место в обществе… Но чтобы не принуждать себя, чтобы все пришло само собой, без трудов, — а он, Геннадий, каждую минуту делал бы то, что ему в данную минуту хочется.

И так как этого не было и быть не могло, он чувствовал обиду на жизнь. Ему казалось, что она его обманула.

Леонид Никитич уехал в санаторий отдыхать, и в его отсутствие Геннадий женился.

В один прекрасный день он привел Ларису в дом и познакомил с Дорофеей: «Моя невеста». Дорофея не приняла эти слова всерьез: куда ему жениться, еле-еле делает в жизни первые шаги… Лариса ей понравилась — тоненькая, с ребячьей фигуркой и большими карими глазами, пугливыми и задумчивыми; детские туфли без каблуков и детская прическа — косы заплетены на висках и уложены назад. За столом Лариса и Юлька сидели рядом, и Дорофее весело было смотреть, как наклонялись над тарелками две одинаково причесанные головки, светлая и темно-русая. Тонкая шейка Ларисы трогательно-беспомощно выступала из ворота блузки… Дорофея ласково угощала застенчивую гостью и думала: может, и поженятся когда-нибудь, девочка скромная и милая и будет красивой, это видно…

Через неделю Геннадий сказал: «Завтра мы с Ларисой идем в загс». Дорофея нахмурилась:

— Нет, ты в самом деле?..

— А что? — спросил он, нахохлившись.

— Глупости, — сказала она, — разве ты можешь брать на себя такую ответственность. Придумай сначала, что делать с самим собой.

— Ей двадцать лет, — сказал он. — Она сама за себя отвечает. Сколько было тебе, когда ты выходила замуж?

— Дело не в возрасте.

— А в чем?

У нее засверкали глаза, ей захотелось крикнуть, что он недоросль, мальчишка, состоящий при маме и папе…

Он сказал:

— По-вашему, я ни на что не имею права. Я взрослый человек, в конце концов.

Она взглянула: да, взрослый, и когда он успел? Ей стало жаль его и страшно за его будущее. Она сказала:

— Подождем отца, что он скажет.

Но Геня не стал ждать — очень нужно, лишние скандалы… Лариса поселилась у Куприяновых. Сперва казалось странно и неловко, что из Гениной комнаты выходит по утрам женщина в халатике и с распущенными косами, но скоро к этому привыкли. Леониду Никитичу Дорофея написала длинное письмо с похвалами Ларисе и с оправданиями Геннадию и себе. На письмо

долго не было ответа, потом пришла короткая телеграмма с поздравлением… Вернувшись, Леонид Никитич отказался вступать в разговоры о Гениной женитьбе.

— Все! — сказал он. — Обошли меня, женили потихоньку — ну и все. Вот я, вот он. В чем дело? Взрослый, на все имеет право, ну и пусть живет как хочет, мне что. Обязанностей, значит, никаких, а права давай. Интересно. Инте-ресно! — повторил он тоном выше. Дорофея ждала скандала, но тут пришла Лариса. Она взглянула на свекра большими испуганными глазами, протянула детскую худенькую руку — Леонид Никитич стих, вздохнул, и скандала не было.

Лариса училась в медицинском институте. Родные у нее были далеко, на Алтае. Жила Лариса в студенческом общежитии. Когда Геннадий зашел за нею и она уложила свой чемоданчик, чтобы переселиться в дом мужа, девочки завидовали ей: такой красавец, из хорошей семьи, и будет своя комната… Счастливая Лариса.

Она была тихая: если кто-нибудь спит, она ходит на цыпочках; никогда не стукнет дверью, не крикнет. Голос у нее был нежный, смех коротенький, нервный, звонкий. По желанию мужа она стала носить высокие каблуки и причесываться

по моде, и смотрела на него обожающим, преданным взглядом, и он был ласков с нею… Дорофея не поверила, когда Юлька сказала:

— Мама, Генька обижает Ларису.

Дорофея спросила у Ларисы. Та смутилась, стала отнекиваться. Юлька преувеличивает. Поссорились как-то, это несерьезно. А плакала она потому, что неважно сдала зачет.

Геннадий был откровеннее.

— Да, знаешь, произошла ошибка, — сказал он. — Как говорится, ошибка молодости.

— Ты с ума сошел! — сказала Дорофея. — Не смей, выбрось из головы!

— И люби по гроб жизни?

— Кроме любви есть долг, — сказала она.

— Удивительно: я весь в долгах, — сказал он нетерпеливо. — Туда должен, сюда должен… За всю жизнь не выплатить. Она, если хочешь знать, от долга отказывается, ей нужно, чтобы я по любви возле нее сидел. Вообще, лучше давай мы сами разберемся. Тут третий лишний… Подняли базар.

Он становился с Ларисой все холоднее, грубил ей при людях, иногда не возвращался на ночь, ночевал неизвестно где, и она выходила по утрам с заплаканным, опухшим лицом…

Были сумерки. Дорофея вышла за чем-то на кухню, хотела зажечь свет и увидела Ларису. Та сидела перед печкой на низенькой скамейке, облокотившись на колени и обеими руками подпирая голову. Дорофея подошла, погладила ее по спине.

— Должно быть, мы разойдемся, — сказала Лариса. — Мне… трудно так жить. — У нее и губы двигались с трудом. — Я никогда не думала, что будет так… трудно.

Она зарыдала. Дорофея наклонилась к ней, обняла… Подняв голову, Лариса сказала:

— Дорофея Николавна, у меня будет ребенок.

— Ларочка, — сказала Дорофея, — милая ты моя, так это же счастье, все тогда переменится, вот увидишь!

— Ах, ничего не переменится! — сказала Лариса.

Дорофея прижала губы к ее виску: Геня будет любить ребенка. Ты молоденькая, не знаешь, что такое первый ребенок… А для тебя это, Ларочка, — новый мир, вот ты увидишь. Еще как люди ссорятся, а живут вместе по тридцать лет. Думаешь, мы не ссорились с Леонидом Никитичем?.. Кое-как успокоила.

…Пришла с работы поздно; и предстояло еще

писать тезисы к докладу… В доме было тихо. Леонид Никитич и Юлька сидели в столовой, и по их лицам, расстроенным и торжественным одновременно, Дорофея тотчас поняла, что что-то произошло.

— Гени нет? — спросила она, встревожась.

— Нет, — ответила Юлька. — И Лариса ушла с утра, и нет до сих пор… Садись, я буду тебя кормить.

— Я не хочу, — сказала Дорофея. — Что случилось?

— Они расходятся, — сказала Юлька. — Лариса переезжает обратно в общежитие. Мама, мы тут с папой обсудили, и мы считаем… Скажи ты, папа, если хочешь, только спокойно, пожалуйста.

Леонид Никитич сказал:

— Такое предложение, Дуся… Чтобы Генька жил отдельно. Это будет лучше во всех отношениях.

— Чем же это лучше? — спросила Дорофея. — Выгнать сына из дома?

— Ни к чему так ставить вопрос, — сказал он. — Выгнать из дома — страшные слова, чересчур сильно сказано, а я подхожу просто: наймет покамест комнату, а потом, может быть, жилотдел даст ему что-нибудь — мы отдохнем, он поучится жить без подпорок… Польза всем.

Он старался говорить спокойно — жалел ее.

— Семьи не стало, Дуся. Другой раз противно домой возвращаться… Один человек, понимаешь, может испортить жизнь стольким людям!

— Эгоизм! — сказала она. — Характер сложный, становление проходит трудно, а ты, отец…

И тут взвилась Юлька.

— Он паразит! — закричала она. — Мама, ну как ты не хочешь понять! Даже Лариса видит… Он паразит, и всегда будет паразит, если его дальше носить на ручках…

Странно звучало в Юлькиных устах это бранное слово — «паразит», такое ходкое в революцию и сейчас вышедшее из употребления. Несомненно, Юлька прочла его в книгах и что-то соображала, прежде чем применить к брату…

— И вот именно выгнать, да, выгнать, не бойся, папа, что страшное слово! Пусть живет сам! Пусть из-за хлеба работает, если ничего не понимает! Вы не научили понимать — пусть другие научат, без нежностей!.. Ты же умная, ты справедливая — как же ты можешь, чтобы Лариса вернулась в общежитие как оплеванная? За что она оплевана? Геньку нельзя выгнать, ее, значит, можно? Можно, да?

Она спрашивала как прокурор. Она только

сначала крикнула, а по мере того как говорила, все успокаивалась, голос становился яснее и суровее:

— Как ты допустила, чтобы он женился, как он смел жениться, когда он такой!..

— Кто же ее гонит, — сказала Дорофея. — Разойдутся по разным комнатам — и все.

Уже совсем спокойно Юлька качнула головой:

— Нет, это получится то же самое. Мы с папой решили правильно.

— Вы с папой решили, — сказала Дорофея, — но и мой голос что-то значит, правда? Вы с папой все-таки со мной посчитаетесь?

— Знаешь!.. — гневно начал Леонид Никитич.

— Прости, папа, — сказала Юлька. — Я должна сказать одну вещь. Если Генька не уйдет, я уйду. Принципиально.

— Куда? — спросила Дорофея.

— На всех заводах есть общежития.

— А школу кончать?

— Вечернюю, как Андрюша.

— Это что, бунт? — спросила Дорофея. Думала пошутить, а вышло тоскливо.

— Слушайте, — сказала она, — сегодня повестка была — шестнадцать вопросов. Я не могу сейчас больше ничего обсуждать. И мне еще готовить

тезисы.

— Отложим до завтра, — снизошла Юлька. — Хотя обсуждать тут нечего, и надо решать… Спокойной ночи.

Она ушла. Ушел сразу и Леонид Никитич, показывая, что не хочет без Юльки продолжать разговор. Дорофея сидела у стола. Не шли в голову тезисы. Текло ночное время… Негромко хлопнула входная дверь — это Лариса пришла, она одна умеет захлопнуть дверь так осторожно, чтобы никого не разбудить… Она тихо разделась в передней и вошла в столовую, очень бледная, с мученическими глазами.

— Ну вот, — сказала она, голос у нее прозвенел и сорвался. — Вы хотели ребенка, так его не будет.

И, еле двигая ногами, пошла в свою комнату. Дорофее стало тошно, душно; она поднялась и пошла за Ларисой. Та стояла и разбирала постель на ночь. Она делала это аккуратно и неторопливо, тонкие руки ее плавно двигались над кроватью. Дорофея спросила резко:

— Какой негодяй тебе это сделал?

Лариса повернула белое лицо и посмотрела на нее. Дорофея поникла головой, как виноватая.

Потом она подсела к Ларисе и гладила ее молча, а та лежала на спине неподвижно, с закрытыми

глазами, и была похожа на покойницу…

— Геня, — сказала Дорофея, — нам лучше жить врозь.

Сказала сухо, отчужденно, хотя сердце рвалось от боли: вот куда зашло — она отсылает от себя Геню! Но ничего нельзя было придумать другого, она отсылала его не потому, что этого хотели муж и Юлька, — сама отсылала, по своей воле. При всей любви к нему, она сейчас не могла оставить его возле себя и удалить Ларису, этого она никогда бы себе не простила, терзалась бы до последнего часа…

— Придется врозь, — повторила она, собрав всю твердость.

Она ждала, что он будет поражен, начнет упрекать, просить… Но он сидел и, вытянув губы, что-то насвистывал.

— Пожалуй, действительно, — сказал он.

Он подумал, что отец и мать становятся все придирчивей, мать подпала под влияние отца и Юльки, скоро дома совсем не будет житья. Лариса умную сделала вещь: на что ребенок? — а они разыгрывают трагедию.

Дорофея поехала к Марье Федоровне и целый вечер выплакивала ей свое горе.

Акиндиновы, Марья Федоровна и Георгий Алек-

сеич, снова появились в Энске за несколько лет до войны. Акиндинов стал большой хозяйственник, его назначили директором станкостроительного. У них, как и у Дорофеи, мало было времени, чтобы ходить в гости; но в несчастье они вспоминали друг о друге, и Дорофее не стыдно было по-бабьи, по-деревенски плакать перед Марьей Федоровной, которая давно ее знала и понимала все. У Акиндиновых обе дочки были замужем, жили с мужьями и детьми в других городах, Марья Федоровна по ним тосковала. Глядя на Дорофею, она тоже всплакнула.

— Друг вы мой! — сказала она со своей горячностью. — Вы правильно поступили, что доверили его другим людям! Пусть они его возьмут и переработают, — Марья Федоровна энергично показала руками, как надо переработать Геннадия. — Ведь вы уже ничего не в состоянии ему дать, кроме любви…

Геннадий поселился на Октябрьской, в большом доме времен второй пятилетки, в квартире гражданки Любимовой. Дорофея навела справки — что за Любимова: медицинская сестра, работает в городской больнице; есть сын, школьник; муж убит в войну.

Дорофея поехала взглянуть, как Геня устроился;

но никто не вышел на звонки, никого не оказалось дома. И второй раз повторилось то же самое. Ей наконец стало обидно стоять на площадке и звонить: что она, в самом деле, ломится к нему. Пускай-ка сам позовет.

— Я была у тебя, никого не застала, — сказала она при встрече.

— Да? — отозвался он. И не позвал, не пригласил в гости.

А потом по улице — Разъезжая улица информированная и вдумчивая — пошел слух и через Евфалию дошел до Дорофеи: будто у Геннадия с его квартирной хозяйкой любовь, а она его старше лет на десять, если не больше.

— Может, и к лучшему, что старше, — сказала Дорофея. — Она на него будет благотворно влиять.

Что он вернется к Ларисе, Дорофея не верила. И как Ларисе простить, если б и вернулся. «На мой характер — я бы не простила».

А мальчик Саша, сын медсестры Любимовой, — продолжала, собрав новую информацию, Евфалия, — совсем маленький мальчик, в знак протеста пошел в каменщики и кладет кирпичи на постройке.

— Вечно присочинят бабы, чтоб было трогатель-

но, — сказала Дорофея, — кто пустит маленького мальчика класть кирпичи, глупости какие…

Она спросила Геннадия:

— Правда, что ты вроде женился?

— А тебе уже доложили! — сказал он. — Ты уж готова и тут вмешаться! Перестань, мать: прекрасная женщина, любит меня как не знаю что…

— Сколько лет ее сыну?

— Пятнадцать, шестнадцать; и что?

— Он работает?

— Да, у них туго было, пошел работать…

Заходил Геннадий редко, и не домой, а в горисполком. Секретарша докладывала: «Вас просит сын…»

Он поступил на завод строительных материалов, вдали от города. Дорофея не видела его четыре месяца. А сейчас он опять с нею в новогоднюю ночь.

Разговор многих голосов за окном — это вернулись с бала Юлька и Лариса, их провожают.

Разговор, должно быть, о машине, откуда она взялась. Лариса и Юлька догадаются.

На машине, поди, сугроб нарос. Беззаботность Генина, будет ему за эту машину…

Завизжали, забегали, что это делается?

Играют в снежки.

Снежок в окно — шлеп! Рассыпался…

Убрать из столовой Генины вещи или не убирать?

Лариса увидит — расстроится.

Не расстроится, у нее теперь Павел Петрович…

Идут.

Дорофея встала и плотно прикрыла дверь спальни.

Идут девочки. Приостановились — увидели Генино пальто на стуле. Ничего не говорят. Щелкнул выключатель — Юлька, блюстительница порядка, потушила свет. Разошлись по комнатам…

— Мама? Это ты тут?

— Проснулся?

— Поздно уже? Зажги свет.

— Четыре без пяти.

— А-а-а-а! Самое время спать.

— Геня, там машина вся в снегу.

— А-а-а!.. Фу, черт. Теперь возись…

Он поднимается кислый, недовольный.

— Что же ты не разбудила раньше?

— Жалко было.

— Жалко… Согрей воды. Побольше. Дай веник.

Набросив шубку, она выходит с ним на крыльцо.

— Принеси лопату.

Она бежит в дом, берет ключ от сарая, бежит во двор, отпирает холодный неподатливый замок, приносит лопату, отгребает снег. На счастье, снег неглубокий, издали показалось страшней.

От горячей воды к мотору возвращается жизнь.

— Ну, пока, — говорит Геннадий, целуя ее.

Свет фар брызжет на белую улицу. Машина трогается…

А она стоит и смотрит, как убегают в зимнюю мглу два маленьких красных огонька.

Глава пятая. День забот. Дела строительные

Два человека сидят в просторном кабинете председателя горисполкома.

Один — худощавый, жилистый, с длинной шеей и грубыми складками на щеках, светлый открытый взгляд, светлые волосы, скорее взлохмаченные, чем вьющиеся, — сам председатель, товарищ Чуркин.

Другой — толстый, громоздкий, в отлично сшитом темно-сером костюме, с гладко остриженной круглой головой, с широкими отсвечивающими скулами — товарищ Акиндинов, директор станкостроительного завода.

— Скажем, бани, — говорит Чуркин, ораторски поводя рукой, в которой дымится папироса. — Что получилось? Каждое предприятие построило для себя, одна баня другой великолепней, а в городских — старая провинция, понимаете.

— Да-да-да! — сочувственно соглашается Акиндинов.

Он вольно сидит в кресле и, закинув темную плюшевую голову, мечтательно смотрит в пото-

лок. Ему приятно вспомнить о своей бане, она в городе лучшая. Два бассейна — в мужском и женском отделениях: не жалкие лужи, а бассейны-гиганты с проточной водой; все зимние занятия по плаванью, сдачи норм, городские соревнования происходят в этих бассейнах… А в предбанниках стоят пальмы. На судоремонтном — от скаредности, от непонимания масштабов эпохи — поставили искусственные пальмы, безвкусица; он поставил настоящие. Мировая банька, он сам любит мыться там, почти перестал пользоваться домашней ванной…

— Или взять трамвай, — продолжает Чуркин. — Та же картина. Потребности города не учтены.

— Да-да-да! — вздыхает Акиндинов.

О трамвае тоже приятно думать: как тогда наш завод изловчился — нам давали вагоны старого выпуска, а мы раздобыли новые вагончики, голубые, обтекаемые, с кожаными диванами — такие, как ходят в Москве. Другие заводы — те удовлетворились старым выпуском…

— Ведь строили как? — благодушно-доверительно поворачивается Акиндинов к Чуркину. — Экономия, Кирилл Матвеич! Берегли государственную копейку! Тянули по прямой, от завода к центру! Учитывали каждый метр! Вы

же знаете, какой ответ с хозяйственника: сто раз прикинешь, прежде чем рубль истратить! И чем больше рублей тебе отпущено, тем больше спрос: куда девал? На что разбазарил? Ведь госконтроль придет — дрожим, Кирилл Матвеич, как мальчишки! Ведь вот наша жизнь какая!

На его монгольских скулах сияют светлые блики. Чуркин смотрит грустно и озабоченно. Он прекрасно понимает, для чего Акиндинов это все говорит. Не трамвай тут имеется в виду — трамвай дело прошлое. Это увертюра к разговору, который сейчас состоится и ради которого Чуркин пригласил Акиндинова заехать в горисполком.

— Сейчас, например, — продолжает Акиндинов, с тем же простодушным выражением бросаясь в самое пекло главного разговора, — уж мозговали, мозговали — где строиться? Не могу и вспомнить, сколько на эту тему заседали. И здесь и в главке. Подошли со всех точек зрения. И опять же, Кирилл Матвеич, некуда деваться — будем просить разрешения расширять старый поселок. Другого выхода нет.

Он широко разводит толстыми руками.

— Со всех точек зрения подошли, — говорит Чуркин, нервно давя папиросу в пепельнице, —

кроме одной. Эту точку вы всегда игнорируете. Я буду возражать.

— Кирилл Матвеич, вы — власть. Где постановите, там и будем строиться. Но ведь вы без хозяйственного учета тоже постановления не вынесете, а учет, он что говорит? Что строительство при заводе даст колоссальную экономию. Мы к вам не с пустыми руками, Кирилл Матвеич, придем, мы же не самодуры какие-нибудь, не помпадуры, прости господи, мы придем с точными расчетами…

— И опять рабочий дыши вашим дымом.

— Вот уж нет, — живо возражает Акиндинов. — Нет, нет и нет, спросите саннадзор. Это на «Красной заре» дышат дымом. У нас воздух чище, чем в городе. И мы что еще делаем? Мы зеленый заслон увеличиваем между заводом и поселком. И фонтаны пустим. Сплошной будет кислород и озон.

— Вечный сюжет, — говорит Чуркин, забыв руку с искалеченной папиросой в пепельнице и глядя перед собой безнадежным взором. — Опять город, выходит, ни при чем.

— Смотря что разуметь под городом. Мы — район города, и рабочие наши — жители города, и дома мы строим для них.

— Я вот что разумею под городом, — говорит Чуркин.

Он встает и подходит к карте, висящей на стене.

Это для нас с вами карта, а для Чуркина за квадратиками, изображающими дома, и за полосками, обозначающими улицы, в полную величину развертывается, в теплой плоти существует, дышит, пахнет, движется, звучит настоящий, живой Энск. Вот центр: большие дома, чистые улицы. Одни улицы асфальтированные — льются прямыми серыми полотнищами; другие — с длинными спокойными бульварами, на которых вдоль аллей, посыпанных желтоватым гравием, насажены вязы, под вязами стоят скамейки. (Днем на скамейках сидят бабушки, выведшие внучат на прогулку, и старики пенсионеры с палочками, и под вязами звучат степенные разговоры взрослых и голоса детей; по вечерам их сменяют влюбленные пары, смех и шепот в темноте, да вспыхивают папиросные огоньки...) Две площади, на одной — памятник Ленину и ряды трибун: здесь происходят митинги в дни народных торжеств; другая площадь — перед оперным театром, на ней разбит сквер — клумбы, газоны, молоденькие яблони (весной они цветут

бело-розовым цветом)… Новые дома отличаются от старых легкостью линий и высотой; самые высокие из них — гостиница и универмаг: легко, изящно, роскошно даже… Светлыми кубами стоят здания машиностроительного и транспортного институтов; крутым куполом высится над кровлями жилых домов краеведческий музей. Городской сад с прекрасной чугунной решеткой, которую показывают приезжим как образец старого искусства, возрожденного при советской власти (а чья была инициатива — возродить? Моя, Чуркина, была инициатива!).

Таков центр города Энска. Если не считать вагоноремонтного заводика «Красная заря», который по капле пьет кровь из Чуркина, все в нашем центре выглядит культурно и симпатично.

Вокруг центра (который относительно не так уж велик) широким кольцом расположился нецентральный, непарадный, непромышленный и неторговый Энск. Просторные его улицы обставлены маленькими домиками, главным образом деревянными, бревенчатыми. При домиках — дворы с черемухой, рябиной и огородами. Летом за заборами бескровным цветом цветет картошка. В годы войны картошку сажали даже на улицах, вдоль тротуаров. И почему не сажать?

Улицы в большинстве немощеные. Иная поэтическая натура склонна умиляться, когда на городской улице, под ногами прохожих, цветет одуванчик или кашка: символично-де и трогательно. Эта натура живет в благоустроенном доме и ходит по асфальтовым тротуарам; поживи она тут — не умилялась бы на кашку, и писала жалобы в горисполком и в редакцию газеты.

Деревянный Энск перерезан в нескольких местах магистралями, по которым ходят трамваи и автобусы. На магистралях — город; с обеих сторон к ним прилегает деревня. Чуть отойди от трамвайной остановки — среди улицы копаются куры, лопух разросся у забора, какой-то сарай стоит без крыши, зияет черной дырой: видно, начали хозяева его разбирать, да некогда — отложили уборку, а дыра зияет.

Деревянный, немощеный, неприбранный Энск до сих пор называется среди жителей окраинами. Неверное, устаревшее название! За годы советской власти выросли вокруг Энска новые окраины, которые никто окраинами не зовет. Они дымят высоченными трубами, полыхают отсветами плавильных печей, поутру они будят город могучими голосами, зовущими к бодрствованию и труду. На этих окраинах, которые никто

не зовет окраинами, ничем не хуже, чем в центре; и даже лучше, откровенно говоря, — шире улицы, больше зелени, а в последнее время и дома стали строить красивее. Это строят предприятия, со вкусом строят, с размахом, по проектам лучших архитекторов; возможности у них есть — министерства отпускают на строительство большие средства.

— Вот что я разумею под городом, — говорит Чуркин.

И широким жестом обводит карту.

— Вот эта промежуточная чепуха — куда ее девать? Стабильное безобразие; должны мы с ними покончить или нет?

Акиндинов тоже встает и становится рядом с Чуркиным.

— Вы что будете делать? — отрывисто спрашивает Чуркин. — Ровнять, мостить, так? Асфальтировать, строить, насаждать! Так будьте любезны, делайте это вот тут! — Он стучит пальцем по деревянному Энску. — И будет город, а не лоскутное одеяло! Город для коммунизма! Кончайте, что начали, и с богом — давайте общими силами браться за эти пустоши.

Акиндинов задумчиво следит за его рукой.

— Это не решение проблемы, — говорит он

после молчания.

— Частичное решение. В пределах возможного. Одну улицу построите — уже хорошо.

— Проблема все равно останется.

— А на какой процент она была бы уже решена, Георгий Алексеич, если бы с самого начала директора заводов прислушивались к требованиям местных Советов? Вы этого не подсчитали с главком?

— Недостаточно настойчиво требовали, одно могу сказать, — бросает Акиндинов и отходит от карты.

— Потому что мы требуем, а вы летите в Москву и доказываете там, что это удорожит метр площади на два рубля, вот что вы делаете!

— Если не на два рубля, а на две копейки это удорожит метр, я и то обязан поставить в известность министерство.

— Да, конечно! — говорит Чуркин. — Еще бы! Вы же паинька, как же! Помню, как вы Дом техники строили, с каким энтузиазмом… пока не кооперировались.

Акиндинов стоит у окна, зимнее солнце светит ему в лицо, и во всех подробностях, со всеми ответвлениями и узелками виден в этом ярком свете старый шрам на лбу Акиндинова, след

от сабельного удара, едва не стоившего ему когда-то жизни. Что там Чуркин говорит о Доме техники? А какой ему, Акиндинову, интерес был — кооперироваться? Он этот дом задумал, и уж он бы отгрохал домище! Какие предполагались лаборатории, залы, звуконепроницаемые кабинеты — инженерам и рабочим для умственных занятий. Выдающимся рационализаторам — персональные кабинеты. Техническая библиотека на русском и иностранных языках, справочное бюро, уютный кинозал для просмотра технических фильмов, диваны, зеленые шелковые абажуры, электрофотосчетчик для учета посещаемости дома… Так нате, пожалуйста, возревновали другие заводы, вмешались горком и обком — единый Дом техники для всего Энска. И началось: инструментальный жмется, химический боится внести больше других, тракторный говорит — а зачем персональные кабинеты, что за роскошь; и нерентабельно-де строить маленький кинозал, надо большой, для выгодной эксплуатации. И прахом пошла незаурядная идея, и к заурядным идеям у Акиндинова не лежит душа. Сперва отстаивал, доказывал, бесновался, звонил, а потом плюнул и тоже стал смотреть, как бы не дать больше других. И получился дом как дом — есть

лаборатория, есть экспонаты, но все обыкновенное, и как ни старается городское руководство поднять значение дома, а жизнь в нем тоже обыкновенная: те же лекции, что во всех домах культуры, те же крутят фильмы, а на экспонаты смотрят главным образом ребятишки, которых педагоги приводят на экскурсии.

Он компенсирует своим людям эту потерю. Все замыслы будут осуществлены в новом Дворце культуры. К тридцать третьей годовщине Октября откроем дворец. Хоть частично покамест; остальное закончим в будущем году. Под технику отведем целое крыло. Тогда посмотрите, товарищи хозяйственники, у кого лучше…

Дворец строится в нашем Ленинском районе, неподалеку от реки, какой будет вид! Новые дома должны группироваться вокруг дворца. Чуркин хочет, чтобы я эти дома ставил среди халуп. Нельзя, душа. Люди-то у нас какие, подумай; в соревновании по главку взяли первое место, подумай. А наша продукция? Да я ни на какую другую не променяю те станочки, что мы сейчас обхаживаем в экспериментальном цехе. Говоришь — коммунизм, а станочки наши для чего? Для коммунизма станочки…

— Вы, магнаты, — говорит Чуркин, — не же-

лаете участвовать в общем деле, а горсовет что может?.. Вам наш бюджет известен.

Акиндинов усмехается.

— Иевлеву бюджетных средств хватало, — говорит он.

На несчастном лице Чуркина тоже мелькает невольная усмешка: Иевлев! Люди, знающие его историю, вот уж сколько лет не могут слышать эту фамилию без улыбки.

Есть на нашей реке живописный обрыв — в том месте, где кончается набережная: крутой, густо поросший кустарником, почти как у Гончарова в романе. Непосвященные, зашедшие туда во время прогулки, не понимают, зачем, для какой цели очутилась там великолепная каменная лестница в три пологих марша — зигзагом, с обширными площадками, широкими ступенями и каменными урнами, в которых цветут настурции. Красиво и величественно, но вроде бы незачем… Незачем, а красиво, ничего не скажешь.

Лестницу построил Иевлев. Он был некогда председателем энского горсовета, в этом самом кабинете сидел, где сейчас Чуркин. То была эпоха первых неслыханных свершений, теперь уже ставших привычным делом. Новые мощные заводы выдавали чугун, сталь, машины. Состоялся

первый Всесоюзный съезд колхозников-ударников. На Амуре, в тайге, комсомольцы строили новый город. Заканчивалось строительство первых станций московского метрополитена. Ледокол «Сибиряков» в одну навигацию прошел Великий северный морской путь, Никита Изотов поставил рекорд добычи угля, советские автомобилисты пересекли пустыню Каракумы, советские водолазы подняли с морского дна ледокол «Садко», советские стратонавты взлетели в стратосферу выше всех, первые Герои Советского Союза спасли челюскинцев… Трудовая страна жила под впечатлением своих могучих и светлых дел, и некоторые головы, что полегче, закружились от этих успехов.

Закружилась голова и у Иевлева, председателя энского горсовета. Показалось Иевлеву, что все отныне проще простого — вгрызаться в зыбучие пески, пробивать полярные льды, подниматься на двадцать километров над планетой, строить заводы, дворцы, города. Было бы желание да работала фантазия, а сделать что хочешь можно. Почему бы, подумал Иевлев, и нам не построить что-нибудь соответственно духу времени, потомству на память? В Москве проектируют Дворец Советов — вот бы и нам. Они большой, а

мы поменьше. И овладела Иевлевым эта мечта, и выбрал он для будущего дворца место — у реки, высоко над обрывом, чтобы издали с пароходов было видать; и приказал архитекторам составить проект, и чтобы обязательно лестница шла от дворца вниз до самой воды. Покуда архитекторы трудились, Иевлев ходил к обрыву, прогуливался и размышлял, какое народное ликование будет при открытии дворца и как впоследствии сюда переместится центр города… Составили проект и смету, отправили в Москву на утверждение, а в ожидании, пока спустят фонды, на бюджетную наличность построили лестницу. Истратили средства, отпущенные на благоустройство, то есть на ремонт зданий, мостовые, водопровод и прочую прозу. Горожане не оценили порывов своего председателя и вместо благодарностей писали жалобы в Комиссию советского контроля, Москва не утвердила проект, Иевлева сняли и послали работать в совхоз, но лестница осталась, и в летние предвечерние часы жители ходят туда любоваться закатом.

— Что-то в нем было, в этом Иевлеве, — улыбаясь, говорит Акиндинов и крутит пальцами около лба. — Что-то было…

Так, с шуткой и улыбкой, он выходит из ка-

бинета.

В большой приемной ждут посетители. Он проходит мимо них, монументальный, улыбающийся; демократичный, но слишком занятой, чтобы кого-нибудь заметить; интеллигентный, но слишком знающий себе цену, чтобы спрашивать у дверей: «Можно войти?» Человек, которому не надо спрашиваться, он отворяет дверь в кабинет заместителя. Делает он это с той целью, чтобы приветствовать Дусю Куприянову. Он любит таких людей, его волнуют их судьбы, сходные с его судьбой. Когда-то сидела у Маруси в гостях и комкала платочек от смущения… А стол у нее большой, а сама маленькая, — ты моя голубушка…

Она отвечает на его кивок легким наклонением головы. Улыбка ее строга. Фу-ты, как научилась держаться… Перед нею сидит посетительница. Действуй, Дуся, действуй. Не переступив порога, Акиндинов подмигивает Дорофее и уходит довольный.

После приема Дорофея занимается почтой.

Стопка писем и заявлений. Разные почерки.

Инвалид Отечественной войны, капитан, живет в четвертом этаже, ему высоко, просит перевести в первый или второй… Направить

письмо в горжилотдел и проследить, чтобы сделали.

Отец — алкоголик, мать просит устроить ребенка в Дом малютки. Ребенка изолировать, а сама останется с пьяницей — вот вам драма, товарищи писатели… Послать туда депутата, женщину.

Рабочий инструментального завода жалуется на плохой транспорт, требует, чтобы добавили машин на автобусной линии номер семь.

Учительница просит комнату.

Депутат Шестериков напоминает о том, что больного Савченко необходимо поместить в отделение для хроников. С хрониками беда, в больницы их берут неохотно, коек для них — в обрез, а куда-то надо устроить людей, за которыми некому ухаживать дома…

«Я, многодетная мать, приношу благодарность советской власти за заботу о моих детях…»

«Советская власть заботится о детях, а дворники занимаются вредительством. Они колют лед на улицах и посыпают песком, так что мы не можем кататься. Просим запретить им. А если насовсем нельзя, то хоть на время каникул». Подписи.

Служащий горводопровода просит комнату.

А вот анонимное послание на двух страницах, лихорадочным почерком:

«Сигнализирую, что в женском общежитии химического завода наряду с женщинами живут мужчины, мотивируя тем, что они мужья, что является вопиющим нарушением…»

«…Я, как порядочная женщина, требую немедленно…»

«…И по общественной линии разоблачить и сурово осудить…»

«…Тем более у них как у мужей стаж совершенно незначительный…»

Дорофея улыбнулась и вздохнула. Писал человек без чувства юмора, раздраженный и несчастный — у счастливого другие были бы слова…

Вечером она идет по указанному адресу.

Приземистый двухэтажный дом старой постройки. Внизу — аптека и часовая мастерская.

Еле светит пыльная лампочка, освещая лестницу. Стертые каменные ступени. Расшатанные перила.

Площадка. Дверь. Сюда почти не доходит свет снизу. Не видно, есть звонок или нет.

Дорофея снимает варежку и ощупывает дверь. Нет звонка, торчат две проволочки. Пахнет дезинфекцией. За дверью во все горло заливается радио: «Смейся, пая-ац…» Стучи не стучи — не услышат. Может, не заперто? Так и есть.

Радио умолкает, едва Дорофея отворяет дверь, будто это она его выключила. Шибает в нос дезинфекцией, в глаза — ярким светом лампы, голо и пустынно горящей посреди пустынной голой передней с добела вымытым дощатым полом.

Кроме лампы, единственный предмет в передней — большой плакат, на котором выделяются слова: «Лекция» и «Маяковский». На двери с дощечкой «Комендант» — замок. Из другой двери выглядывает девичья голова и скрывается.

— Девочки, лектор пришел! — слышит Дорофея.

— Это не лектор, — говорит другой голос. — Лектор мужчина. Это Люсина тетя.

— Люся, тетя пришла! — кричат голоса.

Дорофея снимает ботики. Шубку повесить не на что. Хоть бы гвоздь вбили… Она стучится в комнату, откуда выглядывали.

— Да-а! — недовольно звучит в ответ.

В комнате четыре кровати, четыре тумбочки, четыре стула, стол. По стенам и спинкам кроватей навешана одежда. Три девушки лежат. (Поверх одеял — три пары ног в бежевых чулках.) Четвертая девушка, растрепанная, в чересчур большом старом свитере, стоит в странной позе: одна ее рука на столе, другая вытянута вперед.

Она оборачивается и меряет Дорофею презрительным взглядом.

— Ой, это не Люсина тетя! — говорит одна из лежавших девушек и приподнимается, а две другие оправляют юбки на коленях. Странная девушка в свитере остается в той же позе, неподвижно держа вытянутую руку.

— Товарищи, — говорит Дорофея, — где мне найти коменданта?

— Комендант рядом.

— Там замок.

— Пошла, наверно, куда-нибудь.

— В магазин, изволь радоваться, — говорят на другой кровати, и все чему-то смеются, кроме девушки у стола.

Прибегает еще одна девушка, беленькая, с быстрыми темными глазами, и суетливо спрашивает:

— А где тетя? Ах, не тетя? А к кому, товарищ? Ах, из горисполкома? Комендант сейчас будет, она за хлебом пошла, пройдемте в красный уголок. Девочки, я забираю стулья.

— Закрывай дверь, Люся, — говорят вслед. — Давай, Верочка, дальше…

Дорофея переходит с Люсей в красный уголок, обвешанный плакатами и театральными афишами.

— Культработа на высоком уровне, — говорит Люся, расставляя стулья. — В воскресенье идем культпоходом на «Евгения Онегина».

— Девушка, а почему такой запах? Сплошная хлорка.

— Запах? — спрашивает Люся. — Нет, правда? Я не слышу. Хлоркой санкомиссия поливает для дезинфекции. От гриппа. Ох, забыла!

Она убегает и возвращается с графином.

— Кажется, все. Да, товарищ, я вас слушаю, что вам интересно? Я — председатель культкомиссии.

Чем-то беленькая девушка напоминала Юльку: светлой ли мастью, или этой заботой о графине и стульях, или просто юностью и хрупкостью. Об анонимном письме с нею не хотелось говорить. Дорофея спросила:

— И много народу у вас в общежитии?

Вошла, на ходу развязывая платок, пожилая женщина.

— Наш комендант, — сказала Люся. — Олимпиада Григорьевна, от горисполкома интересуются.

— Никак товарищ Куприянова, — без восторга сказала комендантша. — Здравствуйте.

— Зашла посмотреть, как тут люди живут, — сказала Дорофея.

— Живут, — осторожно подтвердила комендантша.

— Нараспашку, — сказала Дорофея. — Кто хочешь входи, что хочешь бери.

— А! — сказала комендантша. — Так это вечером. Шестьдесят душ с работы приходят, это каждому открывать, изволь радоваться. А днем я на болт запираюсь.

Люся вбежала, неся пальто с серым мерлушковым воротником. Положила пальто на стул и сказала: «Олимпиада Григорьевна, лектор» — и за нею вошел, растирая с мороза руки, Павел Петрович, Ларисина симпатия. Он узнал Дорофею и поздоровался без удивления, одинаково серьезно и молча — с нею и с комендантшей. Поздоровавшись, отошел и стал, задрав голову, рассматривать плакат на стене: «В сберкассу деньги положила, путевку на курорт купила». Лоб его покрылся длинными морщинами от виска до виска, а лицо приняло недоумевающее выражение, как будто он не мог понять, что означает этот плакат…

— Мужчины в общежитии есть? — спросила Дорофея.

Комендантша зажмурилась и помолчала.

— Есть, — сказала она, печально и много-

значительно качая головой. — Две пары есть семейных.

— Что за семьи?

— Один столяр, Ефимов фамилия. А Витя, постой ты, как же его, фамилию забыла… Он еще молодой. На такси ездит.

— А жены кто?

— Наши, с химического. Вы, товарищ Куприянова, не думайте, — сказала комендантша горячо, — что я этих мужчин без прописки держу. Ефимов в мужском прописан общежитии, строительном, а Витю я тут недалеко прописала, у хороших знакомых.

— А живет здесь.

— А где же ему? — еще горячее спросила комендантша. — Там только прописаться можно, а жить не пустят, тем более с женой, изволь радоваться. Женщины — тяжелая артиллерия, я вам скажу; их пускать не любят, почему? Нынче она голову моет, завтра ей постирать — беспокойство для окружающих.

За дверью раздавался Люсин голосок, повелительно кричавший: «Товарищи, на лекцию! Начинаем лекцию!» — то близко, то в недрах общежития. В красный уголок входили женщины. Пришла и растрепанная девушка в безобразном

свитере. Она вошла плавно, как-то не по-людски переставляя ноги, держа голову высоко и немного набок. «Верочка, Верочка!» — заговорили женщины и раздвинулись, чтобы усадить ее. Откинувшись на спинку стула, она оглядела Павла Петровича так же высокомерно, как давеча Дорофею.

— Конечно, — говорила комендантша, — Таня, с другой стороны, могла подождать, ей двадцать лет. Но коли уж беда случилась — надо выходить из положения. А Евгении Ивановне ждать нисколько не возможно было, в тридцать три года человек мужа нашел, до сорока, что ль, ждать, изволь радоваться. И в мужское общежитие ее не пошлешь, женщина культурная.

— Кто эта девушка? — спросила Дорофея. — В сером свитере.

— Так это ж Вера Зайцева! — сказала комендантша. — Знаменитая наша Вера.

— Чем знаменитая?

— Ну, как же, — с сожалением к Дорофее, не знающей, кто такая Вера Зайцева, сказала комендантша. — Неужели никогда не видели, в самодеятельности выступает. На главных ролях. Сейчас учит Марию Стюарт.

— Да?.. — переспросила Дорофея. — Какая гор-

дая.

— Я ж вам говорю, — шептала комендантша, — учит роль и представляет, якобы она Стюарт. Переживает, что престол отняли. Четыре учреждения переманивают. Я говорю — иди туда, где комнату дадут.

Женщины всё входили. Почти сплошь это были молодые девушки, только три-четыре мелькнуло увядших лица. «Автор анонимки — среди этих трех-четырех», — подумала Дорофея.

— А общежитие не протестует, — спросила она, — против того, что здесь живут мужчины?

Комендантша опять зажмурилась.

— Бывает, — созналась она, как прошлый раз. — Но ведь это, товарищ Куприянова, главным образом на почве ревности. Большинство сочувствует. Доведись до какой хочешь — тоже может очутиться в таком положении.

«Умная ты баба», — подумала Дорофея, взглянув на комендантшино отечное лицо с выражением смиренной печали и с зажмуренными глазами.

— Птице надо вить гнездо, — сказала комендантша. — А если вы со мной не согласны, снимайте меня, я ничего против не имею.

— Пожалуйста, товарищ лектор, можно начинать! — скороговоркой сказала Люся, примащи-

ваясь на краешке того стула, где лежало пальто Павла Петровича.

Павел Петрович, все растирая руки, взглянул на собравшихся, потом вверх и сказал:

— Сначала послушайте стихи.

И другим голосом, певучим и резким, начал читать:

Я знал рабочего.
Он был безграмотный.
Не разжевал
даже азбуки соль.
Но он слышал,
как говорил Ленин,
и он
знал – все.

— Покажите мне общежитие, — шепнула Дорофея комендантше.

У выхода из красного уголка они посторонились, чтобы дать дорогу беременной женщине, толстушке с веселым румяным лицом.

— Это Таня, — сказала комендантша. — Видали? Ну, я ее с Витькой разлучу; а как он отвыкнет да завьется прочь? Вот, товарищ Куприянова, говорят — для семейной жизни требуется лю-

бовь, а я тебе скажу: жилплощадь ничуть даже не меньше! Без площади любовь не держится, это уж вы мне верьте, поскольку я на эти явления насмотрелась вот так.

В одной из комнат общежития угол был огорожен ширмой. За ширмой ужинали мужчина и женщина.

Больше ни души сейчас не было в комнате, и стол, стоявший посредине, был свободен, но женщина кормила мужчину в своем уголке, у тумбочки. Вторая тарелка на тумбочке не умещалась, женщина держала ее на коленях. Она сидела на кровати, муж на стуле. Им было тесно и неудобно, но это все же был свой угол, своя тумбочка; здесь был коврик над кроватью, и прошивки на наволочках, и цветочки на ширме, это был *очаг;* в час семейного отдыха они льнули к очагу.

Дорофея поняла все это сразу, только увидев ширму и услышав звон посуды и тихие голоса. Ей стало неловко беспокоить людей, которые в кои веки могут после работы побыть дома вдвоем. Но делать нечего.

— Евгения Ивановна, к вам, — сказала комендантша.

Мужчина и женщина обернулись тревожно.

«Всегда в тревоге, — подумала Дорофея. — Живут и думают, как бы их не разделили…» Мужчина положил вилку. Женщина спросила раздраженно:

— Да, что такое?

И, поднявшись, заслонила собою мужа.

— Из горисполкома, Куприянова, — сказала Дорофея. — Ходим и смотрим с комендантом, как бы вам устроиться получше.

— А что смотреть? — боязливо и вместе колко спросила женщина. — Смотреть тут нечего, давайте место в семейном общежитии. Морочат голову новым домом, а когда он будет?

У нее было болезненное, нервное лицо, завитая прическа, и по сторонам желтого лица качались длинные серьги.

— Про дом я не знаю, — сказала Дорофея. — С семейными общежитиями туго, не могу обещать. А жизнь наладить надо.

Встал мужчина и, жуя, вышел из-за ширмы. Он был маленький, нахмуренный, говорил и двигался не спеша.

— В чем дело? — спросил он, проглотив. — Дом будет месяцев через восемь.

— Уже через восемь, слышите! — закричала женщина. — А говорили — к Первому маю! Через восемь лет будет ваш дом!

— Иди давай, занимайся своим делом, — строго сказал мужчина, и она отступила, качая серьгами.

— Ефимов, — сказал мужчина и подал Дорофее руку.

— Товарищ Ефимов, — сказала Дорофея, — пойдемте со мной, тут кое-что, кажется, можно сделать.

Она несколько раз обошла с комендантшей комнаты и рассмотрела все. Люди относятся к общежитию как к пересадочной станции, это уж известно. Девушка украшает свой угол, до других углов ей дела нет; мужчина, за редчайшими исключениями, не украшает ничего. Никто не предполагает просуществовать здесь всю жизнь, все ждут пересадки. Один хлопочет о семейном общежитии, как о более удобном вокзале. Другой состоит на учете в жилотделе, и его очередь не так уж далеко. Третий ждет обещанной квартиры в строящемся доме. Пассажирам, ожидающим пересадки, не приходит в голову побелить на станции потолки или прибить вешалку. Они предоставляют эту заботу учреждению, в ведении которого находится станция. По учрежденскому плану потолки будут белиться в 1951 году, а вешалки не предусмотрены…

— Через восемь месяцев! — говорит Дорофея, ведя Ефимова по общежитию; за ними идут Евгения Ивановна, комендантша и откуда-то взявшийся пышноволосый молодчик в куртке с молниями. — Но ведь надо восемь месяцев прожить по-человечески. Та, другая, родить собирается, как же это будет?

Парень с молниями поправляет пышные волосы и выдвигается вперед.

— Мы на учете в жилотделе, — говорит он.

Ему неловко, что их с Таней угол огорожен простынями, когда у Ефимовых такая красивая ширма.

— Мы купим ширму, — говорит он. — Хотя наша очередь в жилотделе уже близко.

— Ах, боже мой, — говорит Дорофея, рассердившись. — Она не будет ждать, когда подойдет очередь. У нее свои сроки. Надо иногда и личной инициативы немножко, товарищи мужчины.

Она уже все придумала, и у нее блестят глаза. Здесь есть за кухней комнатка, маленькая, в одно окно, — должно быть, в старое время предназначалась для прислуги. Вот ее и отдать семейным.

— Девчата крик подымут, — говорит комендантша. — Девчата, что тут живут. Они давно живут, пригрелись.

— Поговорим с девчатами, — отвечает Дорофея. — Всегда можно для хорошего дела убедить людей.

— Союз разрешит ли. Женское общежитие. Опять-таки их не пропишут, изволь радоваться.

— Разрешит союз… Только условие, товарищ Ефимов, — говорит Дорофея, — разгородить как следует, материал вам достанем, а работа ваша.

— Понятно, — говорит Ефимов, нахмуренный по-прежнему, но с проблеском интереса на лице. — По пол-окна, значит. Сухой штукатуркой если городить.

— А сверху обои, — задумчиво говорит Евгения Ивановна.

— Сколько надо сухой штукатурки?

— Сейчас, — говорит Ефимов и уходит. Остальные стоят и ждут его молча. Через открытые двери доносится резкий голос, читающий нараспев:

Потомки,
словарей проверьте поплавки:
из Леты
выплывут
остатки слов таких,
как «проституция»,

«туберкулез»,
«блокада».
Для вас,
которые
здоровы и ловки…

Ефимов возвращается со складным метром.

— Значит, по пол-окна, — говорит он. — Соглашаешься, Виктор? Говори сразу.

— Ну что ж, — отвечает Виктор с таким видом, будто жилотдел уже предложил ему на выбор несколько квартир, одна другой лучше, — можно… Тесновато, конечно…

— За простыней тебе больно просторно, — замечает Ефимов.

— Ладно, товарищи молодожены, — говорит Дорофея. — Сами знаете, как обстоит дело. Будем все жить удобно, хорошо, а пока приходится потесниться. И немножко больше хозяйственности: лампочку на площадке надо вкрутить, звонок починить, устроиться по-людски…

…Когда она уходила, лекция уже кончилась, Павел Петрович одевался в передней. Девушки подавали ему пальто, и одна с волнением спрашивала:

— А скажите, это правда, что он любил Лилю

Брик?

Ефимов хотел проводить Дорофею.

— Не беспокойтесь, — сказала Дорофея, — меня товарищ лектор проводит, — и улыбнулась Павлу Петровичу. Они вышли вместе. Ей хотелось поговорить с ним о Ларисе, спросить, какие же у него планы. Но она воздержалась, — он не казался человеком, с которым можно быть запанибрата. Она сказала:

— Вот вы, значит, чем занимаетесь.

— Да, — ответил он.

Мороз усилился к ночи и крепко щипал лицо. Было скользко, и Павел Петрович взял ее под руку.

— Большое дело, — сказала она, — прививать людям культуру.

— Не так просто, — сказал он. — Культура культуре рознь. Многим «Сильва» милее Бетховена, а Маяковский — Бетховен в поэзии.

— Насильно ни к чему не приохотишь, — сказала она, — задача — дать человеку самые большие образцы, чтоб ему было с чем ту же «Сильву» сравнивать, а он уж сам сравнит и постарается исправить свой вкус. Для этого, наверно, вы им и читали стихи.

— Да, — сказал Павел Петрович. — Для этого.

— Слушайте, — сказала она, — а вы знаете, зачем я там была…

И она рассказала про столяра Ефимова и Евгению Ивановну, и про знаменитую Веру, которую она чуть не приняла за душевнобольную, и про комендантшу, которая им всем там мать. Он слушал и сперва смотрел под ноги, а потом повернул голову и стал смотреть ей в лицо — они были одного роста.

— Нет, — сказала она, радуясь, что ему интересно, — это видеть надо, этот ужин в уголку, тарелка на коленях, а в ушах вот такие серьги, — всё, ну всё в этих серьгах, прямо как в зеркале… И знаете, что я вам скажу, — продолжала она, — когда у каждого будет хорошее, настоящее жилье, тогда и культура расцветет по-настоящему, вот вы увидите. А как же! Как же! Сейчас иному человеку некуда поставить шкаф с книгами, вы подумайте! А тогда и книги, и рояль, и что хотите…

И замолчала, увидев, что уже дошли до автобусной остановки.

— Вы тоже едете? — спросила она.

— Нет, — ответил он. — Мне близко.

— Вы же к нам приходите.

— Благодарю вас.

«А Ларисе привет не передал, — отметила она

огорченно. — Впрочем, они, должно быть, видятся...»

В автобусе было мало народу и так же холодно, как на улице, даже, кажется, холодней. Дорофея пробежала вперед, села на промерзший кожаный диванчик, зябко сжалась, засунув руки в рукава шубки. «Эту сухую штукатурку я из Рябушкина вытяну, — размышляла она (Рябушкин был директор химического завода, которому принадлежало общежитие), — пусть попробует не дать, Ряженцеву позвоню... Совсем немного иногда нужно, чтобы людям жилось лучше... А насчет нового дома, о котором они мечтают, еще придется давать сражение, и не одно... Ох эта мягкотелость чуркинская, обещает квартиры людям, которые вполне могут подождать, а такие, как Ефимовы, опять ни с чем останутся, если не повернуть это все по-справедливому, по-советски...» Автобус останавливался и опять шел, не видно было сквозь толстый лед окон, по каким он улицам идет, лед вспыхивал искрами от встречных фонарей и угасал, у каждого пассажира вокруг головы было белое облако... «Что значит образование, — думала Дорофея о Павле Петровиче, — почти ничего не сказал человек, а сразу видишь, что интеллигентный...

Какая разница с Геней, совсем другие и манеры и мысли, ничего нет удивительного, что Лариса влюбилась, хоть и неказист…» Она не заметила, как придремнула. За две-три минуты, что она спала, ей успел присниться сон: она была молоденькая и жила в вагончике; Леня вот-вот должен был прийти и принести сухую штукатурку; она беспокоилась, что его долго нет, они не успеют разгородить вагончик, и им придется расстаться навсегда… А когда кондукторша разбудила ее возгласом: «Разъезжая!» — ей приснилось, что это разбудил ее Леня, поцеловав в губы.

Глава шестая. Облигация государственного займа

В детстве Саши Любимова главным человеком был отец.

От него все зависело. Он говорил: «В воскресенье мы поедем за город» или: «Нет, в воскресенье я занят». Он отвечал на Сашины вопросы; отвечал серьезно, как взрослый взрослому; учил Сашу, как забивать гвозди и строгать доску рубанком и как стоять на стремянке, чтобы не свалиться. Если Саша не слушался, мать говорила: «Вот я папе скажу».

Отдельную квартиру в новом доме — две комнаты и кухню — им тоже дали из уважения к отцу. Саша помнит, что, когда они со всей мебелью приехали сюда на грузовике, во дворе стояло много людей, все одетые чисто, а один в измазанном фартуке. Человек этот что-то сказал отцу и подал ему большой ключ, и отец что-то сказал и пожал руку измазанному человеку, а другие захлопали. Мать сказала: «Спасибо вам». Измазанный человек ответил: «Пожалуйста, пользуйтесь в свое удовольствие». Поднимаясь

по лестнице, Саша спросил: «Папа, кто это?» — и отец сказал, что это самый лучший каменщик в Энске, он сложил для них этот большой дом.

Между домом и улицей был просторный двор. Предполагали засадить его цветами, но дело откладывалось с весны на весну, и все дети были очень рады: без цветов воля, бегай где хочешь и бросай мяч, не боясь, что тебе нагорит.

Однажды они так разыгрались, что стали бросать друг в друга чем попало. Один мальчик с криком «ура!» кинул кусок угля и попал Саше и голову. Кровь хлынула и залила Саше глаза. Он закричал. Мальчишки стихли, взяли его за руки и повели домой: он был слеп от крови. Они еще не дошли до парадного, как навстречу выбежал отец. (Он был дома, выглянул в окно на Сашин крик и все увидел.) «Сашка, Сашка! — сказал его голос, — Ну, держись, брат!» — и Саша почувствовал, как отцовские руки подняли его и понесли. Кругом кричали, что надо вызвать «скорую помощь», но отец не отвечал и шел быстро, почти бегом.

— Папа, куда мы? — спросил Саша.

— К доктору, — сказал отец. — В поликлинику. Ничего, Сашка, ничего, бывает хуже.

Поликлиника находилась за углом, так что

действительно незачем было вызывать «скорую помощь».

Сашу положили на стол, ему было больно и страшно, а отец стоял рядом и говорил:

— Потерпим, брат, будем мужчинами.

А когда они из перевязочной вышли в приемную — Саша в белой чалме и залитой кровью курточке, — их встретила перепуганная мама: она, оказывается, прибежала за ними, но ее не пустили в перевязочную.

— Жаль! — сказал отец. — Ты бы видела, каким героем вел себя Сашка.

Саша не чувствовал себя героем, там, на столе, он хватался за руку отца и два раза принимался плакать, так что потом было стыдно перед докторшей. Подняв голову в чалме, Саша вопросительно взглянул на отца: зачем он сказал маме неправду? Отец улыбнулся ему сверху, и Саша подумал: «Это он меня учит на следующий раз, чтобы, когда еще случится такое, я держался как следует».

В середине лета отец брал отпуск, и они все трое ехали к бабушке в Курскую область. Бабушка была колхозница; у нее был дом, огород, корова и большие серые гуси. За огородом сад — вишневые деревья, усыпанные красными точками, и

яблони, только яблоки никогда не созревали при Саше, так он их и не попробовал… У крылечка цвели оранжевые ноготки на толстых прямых стеблях. Бабушка говорила: «Люблю этот цветок, без прихотей он, а пахнет солнышком». Она растирала в ладонях листья ноготка и нюхала; и Саша растирал и нюхал, ему этот запах тоже нравился. Ему казалось, что и подушка, на которой он спал у бабушки, и бабушкино платье, и вся ее усадьба пахнут этим крепким солнечным запахом.

Мать ловко орудовала у деревенской печи ухватом и длинной кочергой, а отстряпавшись, брала тяпку или грабли и шла в колхоз — приработать трудодней для бабушки. Она ходила по деревне босая, в сарафане, с голыми руками. Руки и белые ноги ее покрывались золотистым загаром, а на груди образовывался отчетливый малиновый треугольник — по вырезу сарафана. Однажды, вбежав в сад, Саша увидел, как отец целовал мать в этот малиновый треугольник. Саше стало стыдно, что они занимаются глупостями; он ушел, сделав вид, что ничего не заметил.

За деревней текла речка. Не было большей радости, как купаться и плавать в этой светлой, прохладной речке.

Плавать научил Сашу отец. Он зашел на такую глубину, где ему было по грудь; Сашу он нес на плече. И вдруг сказал: «Ну, плыви!» — и бросил Сашу в воду. Саша испугался, забарахтался — и поплыл. Отец плыл рядом. «Молодчина! — сказал он, когда они вышли на берег. — Пойдем расскажем маме». И Саша побежал впереди него — рассказать маме, что он уже плавал; по дороге встретил знакомых мальчиков и им рассказал тоже… Как сейчас он видит улицу, по которой шел тогда с отцом. Она была неширокая, затененная с боков деревьями, свешивавшимися из-за плетней. С правой стороны плетень был длинный, во всю длину улицы, старый, расшатанный, похожий на огромную корзину; в одном месте он был проломан, и через пролом видна старая-престарая горбатая груша. Вдоль плетней протопки, а посередине улицы негусто росла трава, и на траве отпечатался след от колес… Почему-то эта деревенская улица врезалась в Сашину память; в разных местах он встречает ее и узнаёт, и узнавание причиняет ему короткую сладкую боль. Совсем недавно, уже взрослым, он ехал в выходной день с ребятами за город, погулять; поезд шел мимо леса, и вдруг из леса к полотну выбежала неширокая дорога, на ней росла трава,

на траве отпечатался след от колес — и мгновенное впечатление охватило Сашу: «Я был здесь с папой!» Он не был здесь никогда, но впечатление было так сильно, что на секунду ему показалось — вот сейчас там, в глубине, у зарослей осинника, появится отец… И все это из-за колесного следа на траве, потому что больше ничем эта лесная дорога не напоминала ту улицу…

В сорок первом году отец не успел побывать в отпуске.

Он ушел воевать. Саша остался с матерью. Мать поступила в госпиталь, ее подучили, она стала медицинской сестрой.

Она не приходила из госпиталя по целым суткам. Саша вставал утром сам, шел в булочную, кипятил себе чай, потом отправлялся в школу.

Ключ от входной двери, который отец всегда носил во внутреннем кармане пиджака, лежал теперь в кармане у Саши. Продуктовые карточки мать отдавала Саше. Он прибирал как умел в комнатах, ходил в магазин отоваривать карточки, в контору домоуправления — за справками на инкассаторский пункт — платить за электричество. У него не было охоты к этим занятиям, но он жалел мать и полагал, что отец на его месте тоже взял бы эти заботы на себя. Отец относился

к матери покровительственно, и Саша привык относиться к ней покровительственно.

Она, придя с дежурства и проспав несколько часов каменным сном, вскакивала и принималась стирать, гладить, мыть пол, починять и перешивать одежду, — она привыкла жить в чистоте, грязь и неблагообразие были для нее невыносимы.

И Саша любил благообразие. Когда мать шла из дому, он, как отец когда-то, взыскательно оглядывал ее — все ли на ней прилично и красиво.

Она была веселая, добродушная, покладистая, никогда не злилась и не бранилась с людьми. Обидят ее — она притихнет, иной раз поплачет, потом скажет: «А, да бог с ними!» — и опять разговаривает и смеется, как ни в чем не бывало.

Впрочем, ее редко обижали, все любили ее за хороший характер — и соседи, и начальство, и раненые.

Денег на жизнь им не хватало. Мать продала скатерть и вышитое покрывало для кровати, а потом достала из шкафа отцовский костюм и пошла к Саше советоваться.

— Сашок, — сказала она, — как ты думаешь, если мы продадим папин костюм? За него хорошо дадут. Он почти совсем неношеный.

Саша готовил уроки. Держа перо в испачканных чернилами пальцах, он задумчиво слушал мать. Она стояла перед ним с костюмом в поднятой руке. На плечах пиджака блестели хлопья нафталина. Саше вспомнилось, как отец надел этот костюм, коричневый в полоску, потрогал себя под мышками и сказал: «Вот не люблю новых вещей. Смотрят на тебя и думают — вырядился, как жених».

— Он его не очень и любил, — сказала мать. — Я думаю, он ничего не будет иметь против. Он бы и сам велел продать. Смотри, какой материал.

Саша не понимал в материале. Он увидел, что верхняя пуговица на пиджаке расколота, вместо целой пуговицы болтались две половинки… Саша насупился и сказал:

— Продай, конечно!

Он все больше жалел мать. Кроме Саши, у нее не осталось никого из близких. Она все ждала, что приедет бабушка; ждала даже тогда, когда Курская область была оккупирована фашистами; но получила письмо от знакомых, что бабушка не успела выехать, осталась у фашистов.

— Продай, — повторил Саша. И добавил, глядя в тетрадку: — Там пуговица сломана, пришей другую.

Мать ушла. Он обмакнул перо в чернильницу и продолжал заниматься. Но глубокая печаль легла ему на душу. В первый раз ему представилось, что отец, может быть, и не вернется.

Отец не вернулся.

Саша пережил это по-мужски. Ему было тягостно, когда мать, рыдая, обнимала его и прижималась к нему горячим мокрым лицом. Его горе было целомудренно. Он плакал ночью, в постели, тихо.

В конце того же года пришло известие, что бабушка умерла во время оккупации, а деревню фашисты при отступлении сожгли.

Опять мать рыдала и схватывала Сашу в объятия, но он уже не плакал, а только с ласковой грустью вспоминал бабушку.

Было странно, что нет больше на земле маленького бабушкиного дома, и пахучих ноготков, и калитки, из которой по утрам выходили, вытягивая шеи, серые гуси.

Больше незачем и не к кому туда стремиться, выходить ночью на маленькой станции, где перед отходом поезда ударяли в колокол, ехать на подводе темными полями, пахнущими мятой.

Но после гибели отца эти потери не могли причинить Саше сильного горя.

Он плакал об отце и гордился им.

Горе смягчилось, но память об ушедшем не тускнела, он берег ее. Были проданы отцовские часы и велосипед и вся одежда, кроме одного старенького костюма, который мать перешила для Саши. Остался только ремешок от часов, поношенный галстук, пенковый мундштук, письма и фотографии. Все это Саша собрал и положил в большую коробку, где отец держал облигации государственных займов. Коробка была глубокая, прочная, на крышке нарисована жар-птица.

Горе смягчилось. Саша ходил в школу, читал книги, сдавал нормы на значок «БГТО», летом ездил в пионерский лагерь, был вожатым звена, играл хорошо в волейбол и плохо в шахматы, не пропускал ни одного кинофильма, и день его был заполнен множеством разнообразных дел.

Он рано понял, что его мать не особенно умна и мало развита, но продолжал любить ее — снисходительной и заботливой любовью взрослого. Ему интереснее было с другими людьми, чем с нею, но он ей этого не показывал и терпеливо слушал ее рассказы о больничных делах (она теперь работала в городской больнице). Его делами она не очень интересовалась, и он не навязывался — жил самостоятельно.

Он был рослый, длинноногий мальчик с большими руками и большим добрым ртом, серьезный и спокойный. С шестого класса он стал подумывать о работе. «Был бы жив папа — выучил бы меня на лекальщика». Но мать, всегда с ним согласная, слышать не хотела, чтобы он бросил школу: «Папа говорил, что ты должен получить образование. Уж как-нибудь, Сашок, хоть и трудно…» Чтобы заработать побольше, она нанималась дежурить возле больных и шила платья соседкам.

А потом задумала сдать одну из комнат жильцам. Во время войны в этой комнате жили эвакуированные, они давно уехали, и там спал Саша.

— Мы ведь можем вместе, как ты смотришь? — сказала мать.

И в скором времени в их квартире появился Геннадий Куприянов.

Его лицо Саше не понравилось: Геннадий был очень красив, но это была неприветливая, недобрая и неумная красота. Казалось, природа отпустила Геннадию из своих запасов первосортные брови, нос и рот, но не дала чего-то самого главного, без чего этот нос и эти брови не имели ни малейшей цены. Кроме того, Сашу поразило в Геннадии какое-то бездумное пренебрежение

к людям: явившись жильцом в чужую квартиру, он стал распаковывать свои пожитки не в нанятой им комнате, а в смежной, хозяйской, и при этом насорил и набросал бумажек и не подумал извиниться или хотя бы поблагодарить, когда мать прибирала за ним. Приходя поздно ночью (ему сделали отдельный ключ), он стучал ногами, свистел и даже пел, не заботясь о том, что за тонкой стеной спят люди, которым нужно рано вставать. Умываясь у раковины, разбрызгивал воду по полу и предоставлял другим убирать после себя. «Индивидуалист!» — с возмущением думал Саша.

Мать вступалась за жильца: он ведь так и договаривался — с услугами, его в семье так приучили. И что считаться мелочами, сказала мать, когда человек выложил плату за три месяца вперед. Он такой интеллигентный, посмотри на его профиль. В дальнейшем мать стала избегать разговоров о Геннадии, только вздыхала. «Чем он ей нравится, — удивлялся Саша, — он просто некультурный и грубый человек».

Такие же ходили к нему приятели: два здоровенных парня в модных пиджаках. Один из них, насколько Саша мог понять из их разговоров, вечно переходил с работы на работу, другой — из

института в институт; в промежутках они шатались без дела. Являясь в дом, с порога начинали острить и хохотать, затем забирали Геннадия и уходили «прошвырнуться» — так у них называлось гулянье. «Прошвыривался» Геннадий по несколько часов сряду и возвращался пахнущий вином или пивом. Не понять было Саше: чем интересуется Геннадий? что любит? «Не учится: профессии нет. И ведь немолодой уже. — Шестнадцатилетний Саша всех людей старше двадцати лет считал немолодыми. — Что он думает? Чего он хочет?»

Геннадий хотел купить мотоцикл. На новый у него не хватало денег, он ходил на толкучку и потом рассказывал матери, какие он там видел мотоциклы. А мать слушала с глубоким вниманием — никогда ничьи дела ее так не интересовали. Возвращаясь с работы, она первым долгом спрашивала: «Геннадий Леонидович дома?» — а на Сашу совсем мало стала обращать внимания. Как-то Геннадий принес пирожные и бутылку вина, угощал и говорил гордо:

— Хорошее вино, я плохого не пью. Я считаю, лучше никакого не пить, чем пить плохое.

— Ну что вы тратитесь, — сияя, говорила мать, — что это вы придумали.

И мечтательно смотрела на Геннадия, поднимая рюмку к губам.

Саше все это было неприятно. Он старался поменьше бывать с ними, приходил обедать и ночевать. Занятый своими ребячьими делами, он забывал о человеке, поселившемся в его доме. И уроки по возможности готовил не дома, а в школе или в «тихой комнате» Дома пионера и школьника.

Мать стала странная — то поет и смеется без причины, то глаза на мокром месте. Стала очень заботиться о своей наружности и экономила на еде, чтобы купить туфли или сшить платье. Саша заметил, что лучшее из еды отдается Геннадию; бывало даже так, что для Геннадия готовился особый обед, а они с матерью ели картошку. С мужской гордостью Саша отвел мелочные мысли. Мать — работница и хозяйка в доме, ее дело.

Было начало лета, разгар экзаменов, когда Саша догадался об отношениях Геннадия и матери.

Саша виду не показал, что оскорблен, что осуждает. Но был оскорблен и осуждал, не мог не осудить. И хоть был уже юноша, а в душе ныла детская боль.

Зачем они так поступили? Зачем мать так поступила? Она старше Геннадия, будут смеяться…

И главное — почему Геннадий, которого я не могу, ну никак не могу уважать? Пусть бы другой человек, хороший, — пожалуйста, я бы не возражал…

Так думал он, а у самого дрожали губы.

Я буду работать. Не хочу есть картошку и смотреть, как она ест картошку, когда он ест мясо. Не хочу сидеть у нее в иждивенцах. Пусть он сидит в иждивенцах.

Геннадий больше не платил за квартиру. Жить стало еще труднее. Мать из кожи лезла вон, чтобы приработать. Не заплатили вовремя за электричество, пришла контролерша, пригрозила перерезать свет. Геннадий сказал, что ему мерзка эта жизнь, и ушел, хлопнув дверью. Мать заплакала. Саша сказал:

— Я подал заявление в ФЗО строителей.

Он немного солгал — он еще не подал, а только намеревался подать.

Она плакала, закрыв лицо, и не сказала «нет», как прежде. Саша сказал:

— Перестань.

Она зарыдала в голос, потому что чувствовала себя виноватой перед ним, и каждое его слово ранило ее, как нож. Но характер у нее был легкий, она не умела печалиться подолгу, и к тому же она любила…

Саша сдал экзамены за девятый класс и поступил в ФЗО. Станкостроительный завод, где директором товарищ Акиндинов, готовил кадры для своих строек. Саше по душе пришлась работа каменщика. Впрочем, каменщиками они почти не успели поработать — пошла мода на блоки и панели, Акиндинов организовал собственное производство блоков, и Саша стал монтажником: складывал дома из крупных, заранее изготовленных частей. Это красивое дело — прямо в руках у тебя растет дом.

Бригада вся была молодая. Ребята разные: Клава, например, жила с семьей, а Женька пришел из детского дома. Оба были комсомольцы. Но был в бригаде и такой трудный элемент, как Валентин: четырнадцатилетним он убежал от сестры, которая его воспитывала, ездил по разным городам, путался с блатными, и теперь товарищи присматривали, чтобы он опять не спутался с кем не надо. Его любили, он был компанейский парень и читал наизусть Есенина.

Среди этих разных ребят Саша пользовался авторитетом как человек основательный, с уравновешенным характером, не говорящий лишних слов и хорошо работающий.

Бросить учебу комсомол не разрешил. Саша

посещал вечернюю школу.

Получку Саша приносил матери. И, зная, что он не иждивенец, что дом держится и на его заработок, с легким сердцем садился за стол и ел — картошку ли, мясо ли, теперь это было не так важно. С Геннадием они были далеки. Геннадий хохлился при его появлении и говорил с ним мало и свысока, но и это уже не задевало Сашу, он соблюдал вежливость и держался подальше, только и всего.

Все-таки он почувствовал облегчение, когда Геннадий уехал работать в другое место и четыре месяца его не было. Мать погрустнела, постарела; Саша жалел ее, но не слишком. Под Новый год она так расхандрилась, что он согласился, как она хотела, идти разыскивать Геннадия у его родственников. Зря ходил, в ту же ночь Геннадий сам свалился как снег на голову — приехал повидаться. Это привело к нехорошим результатам, через два дня он явился уже совсем: его уволили за то, что без спроса угнал директорскую машину. С тех пор, вот уже полтора месяца, он был без работы.

Среди вещей, которые Саша хранил в коробке с жар-птицей, была пачка облигаций государственных займов. Она лежала в самом низу, под мундштуком и галстуком. Уходя на войну, отец

сказал матери:

— Это мое наследство. Тебе и Сашке пополам.

Они приняли его слова буквально. Трижды на их облигации падал выигрыш, и они делили его поровну. На свою долю мать покупала обновку себе, а на Сашину долю — Саше.

Выигрыши доставляли им большое удовольствие, хоть были невелики — сто, двести рублей.

Однажды, когда Саша пришел с работы и сел ужинать, мать сказала ему:

— Там на комоде газета с таблицей, я принесла, а проверить не успела, — проверишь, Сашок.

Она спешила. Она все время бегала по больным, кому-то вливала пенициллин, возле кого-то дежурила ночью.

Саша доел ужин, убрал со стола и достал коробку с жар-птицей, чтобы проверить, не выиграли ли отцовские облигации.

Это был двухпроцентный заем, голубые, чистые, хрусткие бумажки, тесные столбики цифр в таблице… Завтра во всех сберегательных кассах будет толпиться народ, получая выигрыши… Наших номеров не видно. Одну за другой Саша откладывал облигации в сторону, осталась последняя, серия 024 183. Смотри-ка — есть в таблице 024 183! Выиграли! Один какой-то счаст-

ливец, у которого 48-я облигация этой серии, выиграл десять тысяч, а остальные по четыреста, и мы, значит, четыреста… А у нас какой номер облигации?

«Сорок восемь», — прочел Саша.

Не может быть! Как это — такая вдруг удача… Не на ту строчку, наверно, глянул… Расстелил газету на столе, испуганный неизбежным, казалось ему, разочарованием, заранее расстроенный ошибкой… Сличил тщательно, — нет, все верно, одинаковые цифры на облигации и в таблице…

Густо покраснев, держал он в руках голубую бумажку, которая, оказывается, так дорого стоит…

Он никогда не видел таких денег. Есть трешка в кармане — уже чувствуешь себя независимым. А если идешь в кино с пятью рублями, то совсем хорошо — можно выпить в буфете воды с сиропом и съесть эскимо.

Десять тысяч — сумма громадная, астрономическая…

…Воображение представило ему магазинные полки, уставленные радиоприемниками.

Хороший приемник — «Нева». Солидный, прочный, ловит что угодно. Только «Неву», конечно.

…Мать жаловалась — туфель приличных нет, — да хоть десять пар покупай, пожалуйста…

«Она не поверит, подумает — я ее разыгрываю...»

«...И, между прочим, этому теперь конец, чтобы нам картошку, а ему мясо. Довольно».

...А забавно, когда случаются такие вещи.

Крутилось колесо, выскакивали цифры — вслепую, никто не знал, какая цифра выскочит. И одна за другой стали в ряд — 024 183 и 48.

Когда выигрыш маленький, не думаешь о том, что это, в сущности, чудо.

...Спохватился: ребята ждут — договорились вместе идти на «Подвиг разведчика». Положил облигации — выигравшую отдельно от остальных — в коробку и поехал в «Колизей».

Матери оставил записку: «Наша облигация выиграла большую сумму. Посмотри в таблице». Ребятам не сказал. Очень хотелось сказать, но совестно было хвастаться. Фильм был великолепный. Саша хлопал с подъемом, изо всех сил.

Вернувшись, застал мать с запиской, облигацией и газетой — все сразу она держала к руках, растерявшаяся и румяная от восторга. Она была в пальто и косынке — видно, только что пришла. Геннадий был тут же.

— Сашок! — сказала мать. — Нет, что делается! Ты подумай — какие деньги!.. Мы теперь оденем-

ся… Ух, вы увидите, как я оденусь! Сашок, папа хотел тебе купить велосипед, когда вырастешь, — купишь теперь и велосипед, и что хочешь… — Слезы брызнули у нее, она торопливо вытерла их рукой, в которой держала газету. — И пальто настоящее, нужно и тебе наконец пальто… Боже мой, и тут не везет, хоть бы вина купить, правда, Генечка, и отпраздновать, а мне на дежурство… Вместе пойдем в сберкассу, Сашок, ладно? А то очень большие деньги, вдруг ты потеряешь или вытащат… Досада какая, двумя бы днями раньше таблица, чудный шевиот был, представляешь, Геня, костюмный, как раз твой цвет, теперь уж расхватали, наверно, темно-синий, но не чересчур темно-синий, ты понимаешь… Сашок, дай я тебя поцелую. Ты у меня счастливый. Дай бог, чтоб ты всю жизнь был такой счастливый. — Она поцеловала Сашу. — Господи, где мои варежки? Сашок, сделай мне бутерброд, я за этой радостью даже чаю не выпила…

Она ушла. Немного погодя хлопнула дверь — ушел и Геннадий. Саша взял учебник и прилег на диван. Завтра литература, и Павел Петрович грозился спросить, надо выучить, хоть и не до того — устал и хочется помечтать.

Саша начал было читать про Ионыча и крепко

заснул. Ему приснился большой приемник «Нева», сияющий зеленым глазом.

Он проснулся и увидел Геннадия, который стоял и смотрел на него.

— Не спишь? — спросил Геннадий.

В комнате находился еще какой-то человек, в бобриковой куртке и серой меховой шапке. Он был небольшого роста, пожилой, а лицо у него было такое, словно кто-то сгреб в горсть его нос и губы и вытянул вперед.

— Проснись на минутку, — негромко сказал Геннадий. — Где облигация твоя?

Человек в серой шапке сел на стул. Саша поднялся.

— Облигация где? — повторил Геннадий. — Дай-ка сюда.

— Зачем? — сонно спросил Саша.

— Зачем, зачем! — сказал Геннадий. — Объясняться еще... Значит, надо. Тут, что ли? — Он выдвинул один ящик комода, выдвинул другой и достал коробку, а из коробки облигацию.

— Вот, она самая, — сказал он. — Проверяйте. — И развернул перед человеком в серой шапке газету с таблицей.

Человек в серой шапке надел очки и заглянул сперва в облигацию, которую Геннадий держал

в руках.

— Двадцать четыре сто восемьдесят три… — забормотал он и деловито повел по таблице коротким красным пальцем. — Двадцать четыре, двадцать четыре… сто… восемьдесят… три… — Он опять заглянул в облигацию. — Сорок восемь. А… посмотреть ее можно?

— Вот же, видите?

— Подержать-то можно? — просительно повторил человек осторожным голосом.

— Еще что! — сказал Геннадий. — Боитесь, что фальшивая?

— Для убедительности.

Геннадий подал ему облигацию. Человек в серой шапке оглядел ее, пощупал, посмотрел на свет и положил на стол. И сейчас же Геннадий проворно взял ее, как будто она могла улететь.

— Она?

— Бывают счастливцы, — сказал человек. — Твоя облигация? — спросил он у Саши.

— Да.

— Десять тысяч выиграл, — сказал человек. — Повезло… А у меня — веришь, Геня, — вот такая стопка, всю жизнь одалживал государству из всех видов заработка, и веришь — хоть бы один раз, хоть бы пустяк, для смеху, — нет! Фортуна

сволочь, кого не полюбит, того уж не полюбит… Да. Это, значит, Геня, твои пенаты.

— Это их комната. Моя рядом.

— Ну, покажи твою комнату.

Человек в серой шапке встал и вышел с Геннадием. Он шел неторопливо и солидно, приостановился, чтобы взглянуть на картинку, висящую на стене, но Саша испугался: зачем они уносят облигацию? Правда, она была в руках у Геннадия; но это не очень-то успокаивало. Саша чуть не сказал: «Эй, слушайте!..» — но удержался, ему показалось неудобным выказать подозрение: все-таки Геннадий ему вроде отчима, а этот дядька Геннадию — знакомый, может быть даже родственник; наверно, Геннадий по рассеянности захватил облигацию, и они подымут Сашу на смех, что он собственник и трус. «Чепуха, как это так, чтобы прямо на глазах взяли и не отдали. И не вор же он, в конце концов…» Так уговаривал себя Саша, а сам волновался. «Серия 024 183, номер 48; в случае чего, заявлю моментально. Не посмеет Геннадий, он понимает, что я заявлю, не на овцу напали…» За стенкой смутно звучали голоса. «Чего они так долго?.. Фу, я дурак. Из такой семьи, и будет он красть… Если бы украли, так убежали бы сразу, а не сидели и не разговаривали…» Выходят перед-

нюю. «Если они вместе выйдут из квартиры, я за ними сейчас же, у меня кулаки здоровые».

Было слышно, как гость надевал калоши и хвалил квартиру. Потом сказал: «Ну, пока». «Пока», — ответил Геннадий. Дверь хлопнула.

Геннадий вошел в комнату — против обыкновения резвой походкой и с довольным лицом.

— Получай… пасынок! — сказал он возбужденно и одну за другой бросил на стол три пачки денег, крест-накрест оклеенные бумагой.

— Что это? — спросил Саша.

— Это тебе вместо твоей облигации.

— То есть?

— Бери, бери, это твое и материно. Считай.

Саша машинально взял самую большую пачку. На ней было написано крупно: «10 000» к подписи.

— Я не считал, — сказал Геннадий. — Работа чистая, банковская упаковка.

Две пачки были поменьше, по 2 500.

— Я не понимаю, — сказал Саша.

Геннадий усмехался.

— Тебе нечего понимать. Твое дело — тратить.

— Он что, купил облигацию? — недоверчиво спросил Саша.

— Какая разница? У тебя была облигация. Те-

перь у тебя деньги. В полтора раза больше, чем ты рассчитывал. Плохо?

— А какой ему смысл?

— А какое наше дело? Мать обрадуется, представляешь? По две с половиной тысячи — это вам от меня.

Он прошелся по комнате, говоря самодовольно:

— Вот что, брат, значит — не быть лежачим камнем.

— Если бы какая-нибудь вещь… — рассуждал Саша. — Один ее ценит дешевле, другой дороже… А эта облигация стоит ровно десять тысяч; больше ему за нее не дадут. Ненормальный он, что ли?

Геннадий пристально посмотрел на него и помрачнел.

— Нудный ты человек, Сашка, — сказал он. — Страшно нудный.

— Да нет, я не понимаю, зачем он…

Саша осекся: он вдруг понял. Не все, но главное.

— Другой бы спасибо сказал, а этот еще недоволен. Смысла ищет… Какого черта, ты знать ничего не знаешь, бери и пользуйся!

— Я не хочу. Пусть он возьмет обратно… и отдаст облигацию.

— Нет, уж теперь ищи-свищи. Не отдаст.

— Велите ему отдать.

— Да с какой стати! Дураком надо быть… Давай прячь, кончено дело!

— Нет, я не возьму, — сказал Саша.

— Ну, знаешь… Впрочем, дело хозяйское. Не хочешь, как хочешь. Матери отдашь.

— Матери тоже этих денег не надо, — сказал Саша.

— Мать оставь в покое. Она сама знает, надо ей или не надо. Какой нашелся учитель жизни… Только не трепаться, слышишь?

Саша молчал.

— Ни приятелям, ни неприятелям тем более, — сказал Геннадий жестко. — Вообще не трепаться.

Саша молчал.

— Ты, Сашка, звереныш. Я вам какое дело сделал… Лишних пять тысяч свалилось на голову… От тебя дождешься благодарности! Я вижу, как ты относишься… С самого начала… И сегодня, когда я облигацию взял… Думаешь, я не видел?.. А, плевал я на тебя!

Саша молчал. Геннадий ушел к себе, рассерженный и огорченный: в кои веки осчастливил человек своих близких — и не оценили… Саша сидел на диване, расставив колени и опершись

о них локтями. На столе лежала груда денег. «Ах я слюнтяй, разиня!» — думал Саша, ничего не понимая толком, кроме того, что это темные, нехорошие деньги и что он весь вымаран какой-то грязью… И ужасно жалко было отцовскую голубенькую облигацию, чистую и хрусткую, которую унесли те неизвестные руки.

Так он сидел, пока не принял решение. И только приняв решение, убрал деньги, постлал постель и лег спать.

Утром встал, умылся и позавтракал основательно, как всегда.

Мать вернулась до его пробуждения и теперь сладко спала, лицо у нее было счастливое. С высоты своего роста он посмотрел на нее заботливо и сурово. Она будет плакать… Но он — мужчина — отвечает за себя и за нее.

С этим чувством мужской ответственности он достал из комода деньги — пятнадцать тысяч — и завернул в газету, ту самую, с таблицей. Чтобы пакет не раскрылся, обвязал веревочкой. Бригадир его отпустит, если он скажет, что у него важное дело. Он еще ни разу не отпрашивался с работы. Ему поверят.

Когда, отпросившись у бригадира, он шел в милицию, солнце еще невысоко стояло над кры-

шами. На одной стороне улицы была зима, а на другой падали, задорно перестукиваясь, капели, и под карнизом орали воробьи.

— Сретенье господне. Зима с весной встречаются, — сказала прохожая бабушка.

Саша прошел под капелью и вошел в милицию.

К начальнику была очередь. Дежурный хотел, чтобы Саша ему изложил свое дело, и настаивал, но Саша не согласился.

— Да что у вас? — спросил дежурный. — Государственное дело, что ли?

— Я не знаю, какое, — сказал Саша. — Нет, должно быть, личное. А может, государственное... Не знаю.

В комнате дежурного находился еще один парень, моложе Саши, лет пятнадцати, не больше. Они с Сашей переглянулись и отвели глаза. Парень был узкоплечий, слабенький, с бледным нервным лицом и черными глазами, очень блестящими и с выражением какой-то муки — ни у одного мальчишки не видел Саша таких умных и скорбных глаз. Одет он был чистенько и смирно сидел на стуле, а на коленях держал стопку книг, перехваченных ремешком.

— Ведь вот, учат вас в школе, — сказал де-

журный, отворачиваясь от Саши и обращаясь к черноглазому парнишке, — родители вас воспитывают… А вы что делаете? А? Ведь это хулиганство. А? А за хулиганство что полагается?

Парнишка надменно повел тонкой изломанной бровью. Черные глаза сверкали в лицо дежурному.

— И что тогда скажут ваши родители? И товарищи педагоги? И комсомол? Комсомолец небось?.. Ты что, воды в рот набрал?

— Пожалуйста, не тыкайте, — тихо сказал парнишка. — Вам запрещено тыкать.

Дежурный покраснел.

— Скажи, какой грамотный… Да ты кто такой?

— Я вам сказал, что я Борташевич, — так же тихо и ровно ответил парнишка, и только движение брови выдало, какой борьбой ему дается эта ровная тишина. — А больше отвечать отказываюсь, потому что что это такое — вызывать матерей? Если я достаточно взрослый, чтобы отвечать за свои поступки по кодексу, при чем тут мать?

— Не ваше дело! — срезал дежурный. — Не ваше дело, что предпринимают органы!

Вошла женщина в богатой шубе, сильно надушенная.

— Сереженька! — сказала она с нежной строго-

стью. — Сережа! Ну что это…

Саше неловко стало слушать, он вышел в коридор.

Он не сочувствовал амбиции черноглазого парнишки. Он, Саша, нисколько не обиделся бы, если бы милиционер сказал ему «ты». Разве это бранное слово, что надо обижаться? Прораб говорит ему «ты», и бригадир говорит ему «ты», и это в порядке вещей, и если бы они вдруг обратились на «вы», Саша подумал бы, что они на него сердятся… И что вызвали мать, тоже ничего обидного. Вызвали и вызвали, на то она и мать. Когда Валентин повадился прогуливать, комсомольская организация вызвала его сестру, потому что матери у него нет, и Валентин ничего — не обиделся… Какой ершистый этот черноглазый. Что он выкинул, интересно, какое хулиганство…

Дежурный выглянул в коридор и сказал:

— Пройдите.

И Саша вошел в кабинет начальника.

Он боялся, что к его показанию отнесутся недостаточно серьезно, сочтут пустяковым… Но этого не случилось. Его расспросили, записали и приняли под квитанцию деньги, которые жгли ему руки. Окончательно успокоенный, ушел он из милиции около полудня.

Выходя из кабинета, он слышал, как начальник взял телефонную трубку и сказал кому-то:

— Товарищ Войнаровский? Иванов говорит. Еще одна облигация. Да.

Был прекрасный день, совсем весенний. Солнце заливало обе стороны улицы. Впереди себя Саша увидел знакомую пару: женщину в богатой шубе и того парнишку. Парнишка, оказывается, был инвалид — хромал, бедняга, сильно припадая на правую ногу. В ярком свете, рядом с пышной своей матерью, он выглядел особенно тщедушным и хрупким… Солнце пригревало по-весеннему, весенне-острый, тревожный был воздух, и капели уже не перекликались — гремели, дружно падая с крыш.

Часть вторая

Опять весна.

Она подходила к городу шаг за шагом, давая знать о своем приближении особыми знаками.

Первый знак — телеграмма о том, что на юге закончился сев ранних колосовых. И хоть юг далеко, но северные люди на минутку пригрелись мимолетно пахнувшим теплом и подумали о близком конце отопительного сезона, об отпуске, экзаменах, путевках, ремонте квартиры, о том, куда на лето вывезти детишек.

Вторым знаком было волнение среди владельцев коз. У нас на окраинах многие держат коз, где-то животным надо пастись. Снег еще лежал на полях, а перед Дорофеей уже вырос ворох заявлений — запросы депутатов, требования избирателей: укажите пастбища, ведь там, где в прошлом году был выгон, собираются насадить парк…

Дворники расчищают путь весне. Они громко стучат ломами, скалывая с тротуаров последний лед. Ты протягиваешь руку и отрываешь еще один календарный листок — еще днем меньше

осталось до тепла…

С каждым оторванным листком что-то связано.

1 марта — помните — было снижение цен.

12 марта — большой день родины — состоялись выборы в Верховный Совет СССР.

В знаменах и громе оркестров проходит 1 Мая, праздник рабочей весны.

А после него возвращаются холода. Дует резкий ветер, по утрам злые заморозки. Полгорода снова ходит в зимних пальто, чихает и кашляет. В Энске так бывает каждый май. Старожилы говорят: это потому, что цветет черемуха. Она отцветет, и тепло воротится. Почему черемуха так влияет на климат, старожилы не знают.

Весенне-летний сезон — страда для строителей. Сколько забот! Один архитектор заболел, другой женился; оба задержали проекты. Мучительные колебания: с вышкой или без вышки строить новый дом напротив универмага. Сотни индивидуальных застройщиков торопят с оформлением своих построек. Стройтресты собрались красить фасады. Это серьезная проблема: один стройтрест желает красить желтой краской, другой — розовой, третий — вишневой, четвертый — голубой; если горисполком не наложит свое вето и не

укажет точно, какому фасаду в какой цвет быть окрашенным, то пестрота получится сверхъестественная…

А сколько мелких неприятностей. Есть, скажем, на скрещении Печорской и Октябрьской трамвайная стрелка. До последнего времени она переводилась ручным способом: между путями — будка, из будки на звонки вагоновожатого выходила стрелочница с железной палкой и переводила рельсы. Конечно, все это выглядело довольно неказисто в наш век технического прогресса, но ведь такие несозвучности встречаются не только в Энске… Век победил — поставили автоматическую стрелку. Отпала надобность и в стрелочнице, и в безобразной будке, где она обогревалась. А на днях Чуркин ехал по Печорской и видит: будка стоит! Прогресс не смёл ее, так же торчит из форточки труба, валит дым, только появилась вывеска. На вывеске примус, и в окошке горит примус, и в его адском свете колдует смуглая личность. Это распорядился коммунхоз: мгновенно забрал освободившееся помещение под быторемонтную артель, и выселять некуда…

Продтоварная сеть настроила свое холодильное хозяйство, в промтоварной сети нарастает спрос на дождевые плащи, чемоданы, купальные

костюмы, трусики-плавки и рубашки-«бобочки». Старухи продают маленькие пучки фиалок, связанные штопальными нитками. Весна прибыла и распаковывает свой багаж.

С высоты дома, строящегося на самом краю города, Саше Любимову видно, как все гуще зеленеют дали, как разливается по зелени золотая россыпь сурепки и поднимаются всходы на яровых полях, еще недавно пустых и черных. Солнце пригревает день ото дня жарче, бригада рассталась не только с ватниками, но и с брезентовыми куртками. Валентин перещеголял всех — скинул и рубашку, работает в майке-безрукавке. Делается это ради двух красавиц — крановщицы Клавы и молоденькой архитекторши Лидии Антоновны. Спереди и сзади из выреза майки выглядывает татуировка: ее-то и демонстрирует Валентин девушкам, чтобы удивлялись и понимали, кто перед ними…

Не ради Валентина, в силу каких-то других, им одним известных причин Лидия Антоновна и Клава с наступлением тепла стали отчаянно состязаться по части франтовства. Зимой ходили на работу — архитекторша в потертой меховой шубке и шапке, крановщица в ватнике и платке; теперь же чуть не каждый день являются в новых

украшениях. Клава носит браслет из пластмассы ядовито-розового цвета, а Лидия Антоновна — металлическую брошку в виде виноградной кисти. Лидия Антоновна вышла на первомайскую демонстрацию в шикарных черных туфлях с белой отделкой, а Клава — в шикарных белых туфлях с черной отделкой. Из майской получки Лидия Антоновна купила модельную шляпку, представляющую собой кусок хорошего фетра, изрезанный ножницами во всех направлениях, а Клава купила газовый платок. Где уж тут некультурному Валентину с его синим крабом, вылезающим из майки… В обеденный перерыв девушки не идут в столовую — экономят деньги на наряды; усаживаются в крановой будке и, угощая друг друга пирожками и бутербродами, принесенными из дому, обсуждают вопросы моды и любви.

Саша стоит на стене, под ним пять этажей. Огромный голубой лучистый купол охватывает его со всех сторон, только ступней сквозь толстую подошву чувствует Саша приятно-грубую прочность плиты, на которой стоит. Эта прочность и устойчивость передаются всему его телу, так что голова не кружится даже тогда, когда он поднимает ее и долго смотрит в бездонный зенит

купола… Подувает ветерок. Рука крана плавно разворачивается в голубом пространстве. Она несет на тросе громадную серую плиту — это часть стены вместе с окном. Плита застывает над Сашей. Саша руками подает Клаве сигналы: влево… еще влево… еще чуть-чуть вниз… ставь! Молодчина Клава. Плита тихо опускается на свое место, на постель из цементного раствора. Живые руки подхватывают плиту; железная рука уплывает прочь, описывая полукруг… Начали шестой этаж.

— Спички, ребята, — солидно говорит Саша. Женька подает коробок, и Саша зажигает папироску, потухшую в зубах. Он стал уже совсем взрослым, у него растут усы и борода, приходится бриться каждое воскресенье.

От дома он окончательно отстал, это никакой ему не дом, не семья, а просто укрытое крышей место, где стоит его кровать. Так уж сложились отношения. Когда он рассказал матери, что случилось с их выигрышем, она легла на диван и твердила: «Что ты сделал! Зачем ты заявил!..» А тут пришел Геннадий, и мать стала кричать: «Что вы оба со мной делаете!» — и Саша сказал Геннадию, что был в милиции. «Идиот!» — сказал Геннадий и обратился к матери: «Вот что, Зина,

ты видишь, кто тебе друг и кто враг. В кои веки имели деньги, и то не сумели воспользоваться. Давай так: или он, или я». Ушел в свою комнату и заперся. Саша подумал: это конец, ну и хорошо; откажем ему, пусть уходит, а мы будем жить как жили. Но мать, полежав молча, бросилась к запертой двери и стала биться в нее с криком: «Геня!» Саша взял шапку и ушел.

Теперь он отрезанный ломоть: ни во что не вмешивается и не мозолит глаза. Деньги из милиции вскоре вернули. Пришел как-то вечером лейтенант простоватого вида, старавшийся казаться большим начальником, и спросил у Саши:

— Любимов Александр, тридцать второго года рождения?

— Я, — ответил Саша.

— Паспорт ваш.

Саша подал паспорт. Лейтенант долго изучал его и положил на стол перед собой.

— Деньги в отделение сдавали?

— Сдавал.

— Какую сумму?

— Пятнадцать тысяч.

— Квитанцию вашу.

— У тебя, мама, — сказал Саша. Мать кинулась к комоду:

— Здесь, сейчас, минуточку, товарищ лейтенант, — вот она!

Лейтенант взял бумажку и изучал ее так же долго, как паспорт, сопя от внимательности.

— Распишитесь! — сказал он наконец.

— Я так и знала! — радостно вскрикнула мать.

Она принесла невыливайку и ручку, и Саша расписался в получении денег.

— Разборчиво пишите, — командовал лейтенант. — Это вам не пятнадцать копеек. Номер паспорта, кем выдан, когда.

Он выложил деньги на стол:

— Считайте.

— Я верю и так, — улыбнулся Саша.

— Гражданин, — сказал лейтенант до того строго, что строже невозможно, — вам сдается сумма, и прошу соблюдать порядок. Прошу сосчитать.

— Я сосчитаю! — охотно и весело сказала мать.

От радости она раскраснелась и стала молодая и хорошенькая, как при отце. Считая, счастливо засмеялась и сказала:

— Вот уж дай бог счастья товарищу лейтенанту, будем вас хорошо вспоминать.

Лейтенант не моргнул в ответ на ласковые слова. Он следил за ее руками и повторял шепотом: «Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать...» Его

нижняя губа смешно шевелилась, и вся фигура выражала усердие.

Счет был закончен. «Как в аптеке!» — сказала мать, победоносно и кокетливо прихлопнув стопку рукой. Лейтенант встал, выпятил грудь, козырнул, сказал: «Желаю здравствовать», — и осанисто пошел к выходу. Саша — за ним, чтобы отворить ему.

— А вы не знаете, — спросил Саша, — с тем аферистом выяснили что-нибудь?

— С каким аферистом?

— Что купил облигацию.

— Мне эти факты неизвестны, — сказал лейтенант. — Имел поручение доставить сумму. Желаю здравствовать.

Саша вернулся в комнату. Мать все стояла над деньгами, она их делила на две кучки.

— Ты мне столько не клади, не возьму, — сказал Саша. — Мне таких подарков не нужно.

— Ох, Сашок, — сказала мать. — Если бы ты немножко, ну немножечко помирился с Геней…

Но Саша не может помириться, это выше его сил. По обрывкам разговоров он догадывается, что Геннадий поступил заведующим в какой-то автопарк, что с матерью у него то лад, то опять расстройство — мать ходит заплаканная… Саша

существует самостоятельно, выделяя матери немного из каждой получки; а она ему стирает и починяет белье… Его повысили в разряде и поставили бригадиром. Он кончает вечернюю школу. Дела много.

Небесный купол бледнеет, блеск его смягчается (эту неделю бригада работает во второй смене). Солнце уходит, на прощанье ненадолго разлив вдоль горизонта огненные, сказочные реки. Над угасшими реками виснет звезда, а поодаль проступает тонкий, почти прозрачный месяц, он не светит, он совсем как осколок стекла в бледном небе. Делается холодно, надо надевать куртки. Постепенно все кругом становится одного серебристо-пепельного цвета — небо и земля; тогда сразу, заставив рабочих зажмуриться на миг, вспыхивают над постройкой тысячеваттные лампы. Работа заканчивается при электрическом свете. И начинает казаться, что вокруг постройки ночь, и месяц делает эту ночь еще черней…

К концу смены за строителями приходят автобусы, но некоторые ребята не хотят ехать и идут в город пешком. По мере того как они удаляются от освещенной постройки по темной трассе, ночь светлеет, месяц выступает ярче, становятся видны рельсы, проложенные вдоль трассы, и

колебание травинок под ветерком. Большой, в точках огней, плотной массой лежит в отдалении город, и над ним светлая дымка. Саша идет, разговаривает с товарищами, смеется, как и они, неумело отражает лукавые Клавины шутки, но ему неспокойно от месяца, от тихого движения трав, от чего-то, что он не может назвать и объяснить. Должно быть, было бы хорошо, если бы кто-то ждал его сейчас, обрадовался его приходу, вышел навстречу… Чтобы из этой вздыхающей, прозрачной темноты протянулись руки… Но, может быть, это что-то другое, потому что когда Клава берет его под руку, то ему только стыдно перед ребятами, а больше ничего…

— Если дело пойдет такими темпами, — говорит серьезный Женька, — то года через два на этом месте будет новый и очень даже приличный городок.

Ночная птица пролетела между землей и месяцем, редко взмахивая крыльями; по траве проскользила ее тень.

— А миллионы лет назад, — продолжает Женька, — здесь ходили мамонты.

— Кто? — спрашивает Саша, очнувшись от своих мыслей.

— Мамонты, — с почтением повторяет Клава.

— А месяц был тот же самый, — продолжает Женька, — и звезды в основном те же самые.

— Ну, это что за звезды, не на что глядеть! — говорит Валентин. — Вот в Ашхабаде — я понимаю. Ух, ребята, какие звезды в Ашхабаде!.. Поехали, Клава, в Ашхабад?

— Я с бригадиром поеду, если пригласит, — говорит Клава, заглядывая Саше в лицо. — С бригадиром я хоть на край света, он солидный человек…

А вокруг вздыхает, томится и улыбается ребятам весенняя ночь. И из ночи плывет навстречу громада-город в точках огней.

Глава седьмая. Юлькин май

Письмоносец принес Юльке письмо. Называя ее по имени-отчеству — Юлия Леонидовна, дирекция, профком и комитет комсомола стоматологического института приглашали Юльку на студенческий вечер. К письму был приложен печатный листок с правилами приема в институт. Юлька прочитала и улыбнулась. Вчера такое же письмо получила Тамара Савченко. Очевидно, у стоматологического неважные перспективы с набором, вот они и взяли в гороно списки хороших учеников, кончающих школу в этом году, и пишут всем подряд на машинке под копирку (только «Юлия Леонидовна» вписано чернилами) — вербуют абитуриентов. Можно сходить с Тамарой на вечер, наверно будет весело. Но стоматологами они не хотят быть, зубы их не привлекают. Будущее продумано, товарищи дирекция и профком. Юлька поступит в учительский институт. А Тамара уезжает в Москву поступать в университет.

Тамара получит золотую, если не сорвется. На экзаменах бывают неожиданности. В прошлом году Ася Беляева, гордость школы, перезанима-

лась перед экзаменом по литературе, не спала три ночи, питалась черным кофе и расстроила себе нервную систему; а когда узнала, что на экзамене будет присутствовать заместитель министра просвещения, то развинтилась окончательно. На билетные вопросы ответила прекрасно, а потом заместитель министра попросил ее прочесть какое-нибудь стихотворение Пушкина, и она от паники вдруг забыла все стихи. В голову лезли почему-то строчки «И над вершинами Кавказа изгнанник рая пролетал», но она соображала, что это написал не Пушкин (а кто — не помнила) и читать это не надо. Наконец, изо всех сил напрягши память, вспомнила пушкинское стихотворение «Я вас любил, любовь еще, быть может»; стала читать и, к ужасу своему, услышала, что не читает, а поет на мотив романса, и голос у нее дрожит, а девочки помертвели. Ну, тут экзаменаторы ее остановили, Конкордия Власьевна отвела ее в медпункт, дали ей валерьянки и с провожатыми отправили домой, а медаль она, конечно, получила, потому что все поняли, что она не нарочно.

Недавно у десятиклассниц был вечер встречи со старыми выпускниками. Ася Беляева приходила, выступала и призывала готовиться к экзаменам рационально, не переутомляясь и уделяя время

отдыху и спорту. Она сказала, что базируется на собственном опыте.

Юлька готовится вместе с Тамарой.

В доме понимают важность происходящего. Тетка Евфалия освободила Юльку от хозяйственных забот. Юльке шьют к выпускному акту белое креповое платье. Куплены белые туфельки. Отец с торжественным лицом принес какие-то пакеты, спрятал в спальне. Юлька в его отсутствие обследовала шифоньерку: шелковое белье, чулки капрон, отрез на костюм, духи «Кристалл». Все это очень приятно.

Юлька занимается с Тамарой. Окно открыто, занавеска поднята, легкую кисейку колышет ветерок. За окном по веревочкам вьется повитель с листьями, похожими на сердца.

Одни листья темные, другие ярко пронизаны солнцем.

За веревочками и сердцами — маленький двор, зеленый лук на грядке, черемуха, которая уже отцвела, и сирень, которой еще предстоит цвести. И березка, посаженная отцом в день, когда Юлька родилась.

Юлька выросла, и березка выросла.

На березке скворечник. В скворечнике живут скворцы. Из году в год одни и те же, уверяет тетя

Фаля.

Комнатка имеет боевой и суровый вид. Со стола убрано все ненужное: карточки, вазочки, коробочки, зверьки из уральского камня — подарки Андрея и подруг — спрятаны в шкаф. Всюду книги. Кровать не застелена покрывалом, потому что Тамара любит заниматься лежа.

В дверные щели просачивается запах ванили. Что-то вкусное печет тетя Фаля.

— Тамара, ты хочешь есть?

Тамара с книгой лежит на кровати; Юлька дисциплинированно сидит у стола. Обе босы — им кажется, что когда разут, то голова работает лучше.

— Ох, я даже не знаю, — говорит Тамара.

— А я хочу, — говорит Юлька. — Понимаешь, как никогда хочу есть, все эти дни. Только возьмусь за книгу — и сразу хочу, просто непонятно.

— Сопротивление организма, — со вздохом говорит Тамара. — Организм сопротивляется занятиям и пускается на хитрости, чтобы отвлечь тебя от книг. Вообще, — продолжает она, повернув страницу, — человеческая жизнь заключается в преодолении лени.

Она большая, толстая, у нее большие розовые ноги, а брови светлые и пушистые, как два ко-

лоска.

— Сколько я себя помню, — продолжает она, — я всегда только и делала, что преодолевала свою лень.

— Глупости! — говорит Юлька. — Сколько я тебя помню, ты всегда занималась как зверь. Никто не мог так, как ты.

— Но как я при этом боролась с собой! — говорит Тамара, богатырски потягиваясь.

— Не знаю, — говорит Юлька. — А мне всегда надо что-нибудь делать, иначе скучно. Не знаю… Активных людей, по-моему, гораздо больше, чем пассивных.

— Ну да, — говорит Тамара. — Это означает, что они успешно преодолевают свою лень.

— Не знаю… — говорит Юлька. — Если бы все только и делали, что преодолевали лень, то мы бы не построили социализм.

Благополучно прошел очередной экзамен — литература, которой так боялись после случая с Асей Беляевой.

После экзамена всем классом отправились есть мороженое, а потом собрались в кино, но Юлька не пошла: у нее на пять часов было назначено важное дело.

Она проводила девочек до кино, потом по те-

лефону-автомату позвонила домой. Подошла Лариса. Юлька сказала ей, что все хорошо, пятерка, чтобы она передала домашним; и пусть не беспокоятся — она вернется поздно.

В половине пятого она села в автобус и поехала.

Станкостроительный завод — конечная остановка автобуса номер два. Юлька сошла на площади перед заводом. Площадь очень большая, залита асфальтом; посредине — клумбы, скамейки фонтан.

Было жарко, и людей не много.

Юлька села на скамейку поближе к фонтану.

Вода била высоко прозрачным, вихрящимся столбом и не журчала, а шуршала, падая в бассейн. От нее распространялась прохлада.

«Вот этого ни за что не могло быть до революции, — подумала Юлька, — чтобы перед заводом устроили фонтан».

На клумбах работали женщины. Бережно ступая по нежной, взрыхленной граблями земле, они высаживали в нее цветочную рассаду. Пирамидкой стояли ящики от рассады.

«Львиный зев, — определяла Юлька. — Анютины глазки».

Вся середина площади будет в цветах.

Справа, в устье улицы, выстраивались в очередь пустые автобусы. Юлька сосчитала: семь штук. По другую сторону площади дожидались голубые трамвайные вагоны.

Первым из ворот проходной вышел парень в широчайших штанах, скрепленных у щиколоток зажимами, в тапочках и в берете. Волосы были гладко зачесаны и забраны под берет, как будто парень очень берег прическу.

Парень вел велосипед. Солнце блистало в спицах. Сделав шаг от ворот, парень занес ногу, поймал педаль и с места дал ходу, по-спортсменски пригнувшись и могуче работая ногами.

И сейчас же из всех проходных стали выходить люди, сперва с промежутками, а потом один за другим, один за другим, так часто, что сосчитать их было невозможно, только мелькали фигуры, отделяясь от ворот. Мгновенно площадь, только что пустынная, была запружена быстро движущейся, растекающейся толпой.

Кто спешил туда, где вереницей стояли длинные кремовые автобусы. Автобус в минуту наполнялся и уходил, громко сигналя, и другой становился на его место.

«Хорошо организовано», — подумала Юлька.

А кто устремлялся к трамвайной остановке,

и так же проворно, с нежным звоном, уходили переполненные голубые вагоны.

Иные расходились пешком, много было пар и компаний, которые шли разговаривая, смеясь и споря.

Потоки людей вливались в магазины, расположенные вокруг площади.

«Сколько же продуктов должно быть в магазинах, — подумала Юлька, — чтобы каждый купил, что ему требуется. Вот, например, этот — «Яйцо — птица»: сколько яиц надо и сколько птиц?»

Больше всего было в толпе молодых парней. Можно сказать, это главная была фигура на площади.

Многие парни проходили мимо Юльки, и те, что шли в одиночку, бросали на нее замедленные взгляды, а шедшие группами взглядывали быстро и быстро проходили, нарочно громко разговаривая и толкая друг дружку.

Юлька сидела, облокотясь о спинку скамьи, поджав ноги в коричневых полуботинках, принимая все взгляды и не отвечая ни на один.

Но вот она улыбнулась, встала и пошла навстречу Андрею.

Он тоже был в берете и с велосипедом.

— Ну, как? — спросил он, подходя.

— Пять.

— Поздравляю.

Они поздоровались за руку.

— Подержи, — сказал он, отдавая ей велосипед.

Он достал из кармана зажимы и укрепил штаны у щиколоток.

— Влезай.

Она села боком на раму, он вскочил на седло позади нее, и поехали.

— Все-таки я куплю тебе велосипед, — сказал он.

— Ни за что! — сказала она.

— На день рождения.

— Андрюша, я категорически говорю — тогда всему конец.

— Ну почему?

— Конечно, если ты начнешь делать наперекор.

— Знаешь, сколько у меня на книжке?

— Ну и очень хорошо.

— Можно купить совсем недорого.

— Андрюша, я уже сказала.

Он замолчал.

Он ехал неторопливо, весь осторожность и внимание, и ей было приятно, что он так ее бережет.

Стоило немножко повернуть голову, и она

близко видела его лицо и глаза, устремленные вперед на дорогу.

Его руки лежали на руле, Юлька была словно зажата между ними; и она чувствовала себя защищенной со всех сторон этими сильными молодыми руками, открытыми до локтя, в золотистых волосиках и желтых крапинках веснушек по розовой коже.

Плыли мимо дома, деревья вдоль тротуаров, прохожие, киоски, маленькая девочка в красном платьице, прыгающая через веревку («хорошо прыгает!»), милиционер, дирижирующий палочкой («жарко ему в перчатках!»). Шумно проехала, обгоняя велосипед, пятитонка, долго мелькал рядом ее длинный борт, нагретым железом и бензином дышало в лицо.

Это был новый район, со дня закладки первых домов не истекло и четверти века. Кончились дома — асфальтовая дорога протянулась в зеленый простор.

— Здесь будет наша улица, — сказал Андрей.

В отдалении вырисовывались на небе высокие краны. Юлька посмотрела на один кран — он повел рукой в лазури; посмотрела на другой — и тот торжественно отвел руку, будто приглашая приблизиться.

— Который отсюда наш кран? — спросила Юлька.

— У нас уже нет крана, — ответил Андрей с гордостью. — У нас уже идут внутренние работы.

Асфальтовая дорога скрестилась с грунтовой. Послышался гул. Резко закричал сигнальный рожок. Колонна машин двигалась наперерез. Андрей соскочил и остановил велосипед.

Пламенно запахло смолой. Машины прошли с рокотом и грохотом, и там, где они прошли, осталась блестящая черная гладь, пышущая жаром. Как будто конец черной ленты приложили к серой ленте, подумала Юлька. И такая же лента стала разворачиваться там, куда пошли машины. Две асфальтовые трассы скрестились среди трав.

— Силища! — сказал Андрей.

Поехали дальше. Чем ближе к стройке, тем больше разных вещей на дороге и по сторонам ее.

Чернел котлован, около него навалены металлические конструкции, доски, балки, серые плиты.

За котлованом сарайчик, у сарайчика машина с железным грузом.

Барак с вывеской: «Столовая».

Трансформаторная будка с черепом.

И еще штабеля серых плит разных форм и размеров; красной краской на плитах крупно написаны цифры.

Уже хорошо видно, что делают люди на доме, который строится подальше котлована, и что делает кран.

Кран низко опускал трос; человек, стоявший на земле, прикреплял к тросу плиту с красной цифрой; трос укорачивался, плита уходила вверх, висела, примеряясь, и осторожно опускалась на стену строящегося дома, а там люди руками помогали ей стать как нужно.

В плитах прорезаны окна, с рамами, только без стекол.

Было три этажа, три ряда окон, и уже — окно за окном — четвертый нарастает этаж. И высоко стоят строители.

— Как будто из кубиков складывают, — сказала Юлька.

Один из строителей в ожидании крана похаживал по стене и покуривал. Он был совсем молодой, моложе Андрея. И крановщица в будке молоденькая, и тот парень в майке, что прикреплял плиту к тросу. Сзади из выреза майки выползал синий краб.

Неподалеку прогуливалась, спотыкаясь о коч-

ки, девушка под клетчатым зонтиком.

«Тоже пришла посмотреть, как мы», — подумала Юлька.

Прогуливаясь, девушка с зонтиком подошла к татуированному парню и что-то ему стала говорить. И крановщица что-то сказала, высунувшись из будки, и дала девушке с зонтиком бутерброд, с колбасой, кажется.

— Она тоже здешняя, — сказала Юлька, оглядываясь на них. — Как она называется? Прораб?

— Вряд ли, — сказал Андрей. — На прораба не похожа. Вот наш дом.

Они приехали.

Юлька сошла наземь и одернула юбочку.

Их дом был построен, восемь ярусов окон смотрели на них мутными, еще немытыми стеклами.

Где-то за домом, невидимая, ужасным голосом завизжала электрическая пила. А когда она замолчала, из дома стало слышно звонкое постукивание молотка по металлу.

— Я думаю, нам тут будет хорошо, — сказал Андрей.

— Конечно, хорошо. А ты уверен, что именно этот дом?

— Определенно. Специально молодежный дом.

— Интересно, которое наше будет окно.

— Интересно.

Их пальцы соединились на секунду и разжались снова.

— Я тебя люблю, — сказал он.

— Тшшш… — шепнула она. — Андрюша, а войти туда можно? Здесь нигде не написано, что вход воспрещается.

— Войдем, — сказал он, ставя велосипед к стене.

Они несмело вошли. Светлая лестница была густо заляпана сырым мелом. Наверху ударил по металлу молоток, звук сгустился, разросся и заполнил дом.

— Паровое отопление налаживают, — сказал Андрей.

Он не был в этом убежден, но как можно упустить такой случай показать свою мужскую осведомленность.

— Не поскользнись, — предупредил он, придерживая Юльку под руку.

Вверху ходили ноги и гулко раздавались голоса. Лестница усиливала звуки, как рупор. Львиный бас звал: «Фесенко! Фесенко!» И опять, после паузы: «Фесенко!» Звонкий тенор закричал изо всей силы: «Да где ж Фесенко?!» — словно у него наконец лопнуло терпение. По перилам сидя

скатился подросток в кепке, надетой козырьком назад. Юлька подумала, что он и есть Фесенко. Но это оказалось не так, потому что подросток, выскочив на улицу, засвистал в два пальца и тоже стал кричать: «Фесенко! Фесенко!»

— Ось Фесенко! — радостно зарокотал бас наверху.

— Вот Фесенко! — отозвались другие голоса — будто эхо покатилось.

— А пошлите его ко мне, — раздельно и ядовито сказал звонкий тенор. — Дайте-ка сюда Фесенко!

— Пошли назад! — быстро сказал Андрей.

— Почему? — удивилась Юлька.

— Сейчас они будут ругать Фесенко, — сказал он и, держа ее под руку, помчал вниз. Домчавшись, Юлька рассердилась:

— Что с тобой? Кого ты испугался?

— Видишь ли, — сказал он, — тебе совершенно ни к чему слушать то, что они приготовили для Фесенко. Он слишком долго не шел, и слишком тут мощная акустика.

Стоявший на улице подросток в кепке козырьком назад снова свистнул и заорал, призывая Фесенко.

— Фесенко нашелся, — сказала ему Юлька, верная своим тимуровским принципам. — Да, да.

Он уже там.

— Ничего, — сказал Андрей. — Мы придем сюда, когда внутренние работы будут кончены. Юлька, ну скажи мне…

— Что?

— Ты знаешь.

— Андрюша, сколько можно?

— Ты давно не говорила.

И опять пальцы встретились и разлучились.

— Больше всех, — сказала Юлька, глядя узкими глазами вверх, на медленно поворачивающуюся в небесах руку крана. — Больше всех и на всю жизнь.

— Да, уж пожалуйста, на всю жизнь! — сказал Андрей. — Иначе это лишено всякого смысла.

Вернувшись в город, они заехали в общежитие, где жил Андрей; Юлька подождала в вестибюле, пока Андрей переодевался, а потом поехали на трамвае в парк культуры и отдыха.

— Прежде всего в ресторан, — сказал Андрей. — Ты, наверно, умираешь от голода, я тоже.

— Я бы поела, — сказала Юлька, — только, конечно, не в ресторане.

— А где?

— В обыкновенной столовой.

— Тут нет столовой.

— Ну, в буфете.

— Как в буфете?

Человек надел выходной костюм и новый галстук, гуляет с невестой, на сберкнижке у него тысячи, а ему предлагают идти в буфет!

— Там же только сосиски, — сказал он сдержанно, — а остальное все холодное. Я хочу поесть по-человечески.

Юлька ни разу не была в ресторане, она видела его только издали, когда бывала в Доме культуры.

— Но танцевать и пить вино ты не будешь! — сказала она. — Иначе я встану и уйду.

— Да сейчас и музыки нет, — сказал он, — что ж я, больной, что ли, — танцевать без музыки… Там одни дети, вот смотри!

Действительно, на террасе ресторана сидели дети с матерями и пили кефир.

— Ну, хорошо, — сказала Юлька, всходя на террасу.

Они заняли столик у балюстрады, откуда был вид на зеленую лужайку, окруженную деревьями, и на пруд с лодочкой.

— Выбирай, — сказал Андрей, открывая перед Юлькой меню.

Юлька прочла меню — все ей показалось безум-

но дорого.

— Возьмем биточки в сметане, — сказала она.

— Мы возьмем вот что, — сказал Андрей. — Мы возьмем борщ флотский, возьмем котлеты киевские, возьмем салат из свежих огурцов и потом пломбир.

— А что за котлеты киевские?

— А кто их знает. Наверно, что-нибудь выдающееся, если дороже ничего нет.

— Ты сошел с ума! — сказала Юлька. — Нет, давай есть биточки.

— Значит, — сказал он, — мы так и уйдем, не узнав, что такое киевские котлеты?

Она заколебалась. А пока она колебалась, подошла официантка в шелковом фартучке, и препираться стало невозможно.

В ресторане было в этот час пусто. Дети и матери выпили свой кефир и ушли, на террасе остались только Юлька с Андреем, да человека три сидели в зале за разными столиками. Но, видимо, там предполагался большой банкет, потому что у одной стены был красиво накрыт длинный стол, на нем стояло много блестящей посуды, цветы и серебряные ведерки с бутылками.

— Расскажи, как там на экзамене, — сказал Андрей.

Юлька рассказала, какой она вытянула легкий билет, и ее спросили еще из Некрасова, как раз то, что она повторяла, «Выдь на Волгу», так удачно; и как поразительно отвечала Тамара, и как ходили все вместе есть мороженое на радостях.

— Слава богу, два экзамена позади, — сказал Андрей отеческим тоном.

— А впереди девять, — вздохнула Юлька и задумалась. — Все-таки странно, — сказала она потом.

— Что странно?

— Что конец.

— Не понимаю.

— Как же не понимаешь? — спросила она укоризненно и кротко. — Всю жизнь я ходила в школу. Ты подумай: всю жизнь. И вдруг не надо больше. Ведь странно.

— Не будет школы — будет другое.

— Ты думаешь, я жалею? Нам всем надоело до ужаса. Но ты понимаешь — вот стоит дом. Пройдет пятьдесят лет, я зажмурю глаза (Юлька зажмурила глаза) — и я его увижу, каждый кирпичик, и голубую доску… Десять лет ходила, во всякую погоду. У меня там была своя парта… учителя… И вдруг ничего моего нет, со мной — всё. А дом стоит, где стоял.

— Если в жизни не происходит перемен, — сказал Андрей, — это не жизнь.

— Как обижались на Конкордию Власьевну, — сказала Юлька, — даже хотели ставить вопрос, что у нее эта возмутительная привычка говорить «дети». Даже в десятом классе не могла перестать, говорила: «дети». А теперь никто никогда не назовет…

— Юлька, — сказал он, бережно накрывая рукой ее маленькую руку, — у меня, кажется, тоже надвигаются перемены.

Выражение ее лица изменилось мгновенно, рассеянной задумчивости как не бывало, она подалась к нему:

— Какие?

— Предполагаю, что важные.

— Что же ты молчал?

— Да, видишь ли, ничего не было определенного. Только сегодня прояснилось, но приказа еще нет… Началось с того, что третьего дня меня вызвали в отдел кадров. Всего-то разговора было на пять минут, просто уточнили кое-что, насчет ученья в частности…

— Ну?

— А сегодня работаю, вдруг подходит мастер и велит срочно идти в экспериментальный, к

начальнику сборки…

Он спохватился, что Юлька неясно представляет себе, что такое экспериментальный цех и сборка, и стал рассказывать подробно, продолжая нежно придерживать на столе ее руку своей теплой большой ладонью. Этот цех, Юлька, чтоб ты знала, — гордость завода, он живет на пятилетку впереди всех цехов. Там конструируют новые станки — автоматы и полуавтоматы. По заводу об этих станках ходят разговоры, и другие цеха проводят экскурсии в экспериментальный, чтоб быть в курсе перспектив… По сути дела, это целый завод, там есть и механический участок, и электромонтажный, и лаборатории, где сидят инженеры и при помощи чертовски тонких приборов определяют качество обработки, зернистость металла и прочую штуку. Во всем цехе стены выкрашены белой краской, и везде цветы — на окнах и на подставках между станками. Белые верстаки, белые табуретки, инженеры в белых халатах, как доктора, так что в промасленной робе туда не сунешься, а наденешь то же самое белый халат либо культурную спецовочку с белой строчкой и хорошую рубашку с галстуком, так там рабочие и ходят… А самый главный и самый большой участок — сборка. Какие станки

оттуда выходят, Юлька! Эх, ты бы видела: это изящество, и точность, и ум…

— А зачем тебя звали туда? — спросила Юлька, внимательно выслушав.

Он не слышал вопроса, увлеченный своим рассказом:

— Вот тебе еще один штрих. Сейчас я получаю чертеж — куда я с ним иду? Хорошо, если мастера нет в конторке — приткнешься у него за столом. А чаще всего — на окошке или на верстаке… А в экспериментальном специально поставлены письменные столы, прямо среди станков. Настольные лампы с абажурами, книги, пособия, наточенные карандаши в стаканчиках. И не только для мастеров и бригадиров — все рабочие изучают чертежи за столом.

— Тебя зовут туда работать, да? — спросила Юлька.

— Да, — ответил он. — Но я еще не дал согласия. Хочу знать твое мнение.

— Но ведь тебе хочется, правда?

— Еще бы!

— Значит, надо идти.

— Нет, ты послушай. Есть одно обстоятельство. Там, знаешь, всем нравится, да не все согласны там работать.

— Почему?

— Заработок ниже. Начальник сборки прямо мне сказал: имейте в виду, ваших грандиозных получек здесь нет. У них ведь не серийное производство. Ну конечно, есть премиальные.

— Я не понимаю, зачем ты об этом говоришь, — сказала она. — Ты не будешь сидеть голодный? Будешь есть биточки вместо киевских котлет, только и всего?

Он обиделся.

— Пожалуйста, не делай из меня шкурника! А вот получим комнату — что-то надо в нее поставить, или будем тянуть с мамы и с папы, как Геннадий?

— Не будем тянуть ни с кого, а купим все на те деньги, что у тебя на книжке. И помни, что я сказала про велосипед.

— Знаешь, — сказал он, — если я проработаю там два-три года, я буду инженером-практиком, ни больше ни меньше. А если приложить специальное образование пусть заочное…

— Ну конечно! Об этом нужно думать, а не о том, где больше дадут рублей. Ты завтра же с утра пойдешь и скажешь, что согласен.

— Я хотел исполнять малейшие твои желания, — пробормотал он, озабоченно хмурясь. —

Малейшие твои капризы.

Она засмеялась:

— Когда ты видел, чтобы я капризничала? У меня не бывает капризов.

— А вдруг появятся.

— Не появятся, — сказала Юлька.

К их разговору с сочувственным интересом прислушивался гражданин, усевшийся за соседним столиком. Он был молодой, голубоглазый, ничего себе наружностью и очень общительный. Садясь, он дружелюбно улыбнулся Юльке — она вскользь отметила эту улыбку, занятая разговором. Когда она сказала, что у нее не бывает капризов, он опять усмехнулся и многозначительно двинул бровями — вверх и вниз. Она взглянула ему в глаза недоуменно-строго — что вам надо, гражданин, и на каком основании вы мне подаете какие-то знаки? Он сделал успокоительный жест рукой: мол, порядок, гражданочка, можете рассчитывать на полное мое уважение. После этого она должна была собрать всю свою волю, чтобы не смотреть на него.

Официантка принесла Юльке и Андрею борщ, открыла бутылку с фруктовой водой и перешла к соседнему столику. Гражданин и ей улыбнулся так же дружественно, как улыбался Юльке.

— Что, борщ у вас хороший, а? — спросил он.

— Хороший, — с патриотической гордостью сказала официантка. — Вот товарищи кушают…

— Извиняюсь, товарищ, как борщ, ничего? — спросил гражданин, уже прямо обращаясь к Юльке. Та ответила сухо:

— Да. Ничего.

— Мировой, — подтвердил Андрей, не оборачиваясь.

Официантка ушла, приняв заказ. Юлька чинно ела жгучий борщ, запивая его сладкой водичкой, и напрягала волю, чтобы не обращать внимания на общительного гражданина.

А он достал из кармана красивый синий платок, развернул его, держа за уголки, и показал Юльке; потом размахнулся и бросил платок на пол к своим ногам; и пальцем указал на него Юльке: дескать, смотри. Юлька решила, что он сумасшедший или пьяный. Но с платком на полу стало делаться необыкновенное: он подпрыгнул раз, подпрыгнул два, один его угол поднялся и завязался в узелок. Завязался сам, совершенно так, как тетя Фаля завязывала углы своих платков, чтобы не забыть купить спички или примусную иголку.

Андрей взглянул на Юльку и удивился счастью,

сиявшему на ее лице.

— Андрюша, посмотри! — сказала она с восторгом.

И уже прямо, с верой и ожиданием устремила взор на гражданина, совершившего это чудо. «А можешь ты сделать так, чтобы он развязался? — спрашивал ее взгляд. — Если можешь — о, пусть он еще и развяжется!»

Гражданин услышал крик ее души. Узелок развязался.

— Здорово! — сказал Андрей. — Чисто сделано. Вы должно быть, артистом работаете?

— Да, я артист, — ответил гражданин. — Ага, вот и мне несут первое, а вам второе.

Платок взмахнул крыльями и взлетел к нему в руки, и Юлька разочаровалась, увидев нитки, с помощью которых все это происходило.

— Ешь, — сказала она Андрею, потускнев. — Остынет.

А артист, показав свое искусство, перестал набиваться на знакомство. Может быть, он загордился, а может быть, ему очень хотелось есть, но только он всецело занялся обедом. «Вот я ем, — говорил его вид, — и здесь исключительно для этого, видите, как тщательно я отрезал этот кусочек и как продуманно смазал его горчицей, так и

нужно поступать, и дело это нешуточное. А если вы хотите, чтобы я вас еще чем-нибудь поразил, вам придется попросить хорошенько, вы будете прямо-таки валяться у меня в ногах, прежде чем я соглашусь!» И так как они были воспитанные ребята, то не попросили его ни о чем.

На террасу, разговаривая и смеясь, поднялась компания мужчин и женщин. Впереди шел очень смешной человек с лицом как у щуки — будто кто-то взял в горсть его нос и губы и вытянул вперед. Компания прошла прямо в зал и расселась вокруг длинного стола с бутылками и цветами. Очевидно, этот стол был приготовлен для нее.

В зале зажглись люстры, забегали официантки, послышались звуки настраиваемых инструментов.

— Ешь скорей, — сказала Юлька.

Они покончили с обедом как раз к тому моменту, когда в зале грянула бойкая музыка и мужской голос запел: «Однажды вечером, вечером, вечером…» Они расплатились и ушли, издали вежливо сказав артисту: «До свиданья». А он ответил серьезно и задумчиво:

— Прощайте, друзья.

Они спустились в прохладный темнеющий парк и забыли этого артиста, запомнили только

платок на полу и узелок, который сам завязывался и развязывался.

Пройдясь, взяли лодку и поехали кататься по пруду. Вода была от заката розовая, Юлькино коричневое платье отражалось в ней и белый воротничок, а с весел стекали серебряные капли. Вода погасла, деревья вокруг пруда почернели, Юлька озябла, и Андрей закутал ее в свой пиджак. Играла музыка, и вдруг взлетела в небо светлая комета с узким хвостом, остановилась, будто на что-то наткнувшись, и рассыпалась искрами. И одна за другой стали летать кометы — фейерверк! — и лодка плыла по пруду, закиданному звездами.

Глава восьмая. День забот. Дела моральные

Исключается из партии некто Редьковский, не оправдавший доверия и запятнавший звание коммуниста.

Бюро горкома заседает в небольшом зале, где светлым деревом обшиты стены и в три ряда, в шахматном порядке, стоят маленькие, светлого дерева, столы. Золотой летний день, вливаясь в окна сквозь тонкие шторы бронзового шелка, окрашивает горячим янтарным цветом стены и столы, натертые плиты паркета и каждый предмет в зале. И на лицах людей лежит этот живой оттенок темного янтаря. Но лица нахмурены и невеселы, и совсем потерянное лицо у Редьковского, который сидит сбоку, один, отщепенцем — как-то сама образовалась вокруг него ужасная пустота.

Со своего председательского места, прищуренным взглядом обводя собрание, Ряженцев взглядывает мельком и на Редьковского… Взвесил ли наконец человек свои поступки, понял ли, на какую чечевичную похлебку променял свою

партийную совесть, свое пребывание в великой партии, творящей историю? Или ничего у него нет в душе, кроме сожаления о должности и страха перед судом?

Но на правильном, благообразном, в нормальном состоянии многозначительно-серьезном лице Редьковского, — на этом солидном лице с солидными очками выражается в данный момент такая мешанина переживаний, что даже Ряженцеву, уж на что физиономист, не разобраться…

Растеряв всю солидность и значительность, Редьковский сидит ничтожный, безмолвный, с отвисшей губой, стертый в порошок презрением бывших товарищей, раздавленный пустотой, возникшей возле него…

Это, так сказать, главный персонаж. А вот второстепенные персонажи — бывший секретарь Куйбышевского райкома Голованов и редактор газеты Бучко.

Что с вами случилось, товарищ Голованов? Были вы характера веселого и скромного, хорошо работали, хорошо выполняли партийные поручения. Выбрали вас в районный комитет, стали вы первым секретарем… И словно подменили вас. Такую изобразили важность в лице и обхождение, что к вам и не подступись. Пешком перестали

ходить, иначе как в машине люди вас не видели. Неделями не могли попасть к вам на прием: под маркой изучения опыта, коллегиальности и тому подобное — заседали вы там в райкоме с утра до ночи, срывали людей с работы для этих заседаний, выдавали это за живое руководство, а если откровенно — просто вам понравилось восседать на главном месте, делать глубокомысленное лицо, изрекать афоризмы и упиваться людским уважением. Вы не поняли, что уважают партию, а лично вам в качестве руководителя еще надо заработать уважение. Ничего не поняли, и ничего не заработали, и в кратчайший срок растеряли то, что имели: авторитет и доверие. На каждом шагу сыпали словами: «организовать», «мобилизовать», «ориентировать», а когда из горкома вам позвонили насчет живого человека, коммуниста Жихарева, и его живой судьбы — вы что ответили первоначально? «Мы с этим разберемся, вот только поосвободимся немножко». От чего освободимся? От забот, что ли, которых становится все больше? Этакое бездумье…

Сейчас у Голованова унылый и виноватый вид. Он уже знает все факты, которые перечисляет докладчик, и горестно-утвердительно кивает головой, как бы поддакивая: да-да-да, истинная

правда, так оно и было… Только позавчера его сняли, и сановность как смыло с него: не бог Саваоф сидит, а обыкновенный человек средних лет и средней наружности, добродушный и пристыженный. Полные щеки отекли от бессонницы, брови сошлись опрокинутой ижицей. Он будет отчаянно признавать свою ошибку, каяться — и, надо думать, он действительно кается…

Редактор Бучко — совсем другого рисунка. Поглядеть на него — сокол ясный, лихач-кудрявич, рубаха-парень, но душа у него юркая и холодная. Ледяными, настороженными глазами он неотрывно смотрит в лицо докладчику, ловит каждую деталь, которую можно с выгодой использовать в выступлении… Было так: Жихарев, уволенный Редьковским, прорвался на прием к Голованову; Голованов выслушал Жихарева, обещал расследовать — и «расследовал» до тех пор, пока не раздался звонок из горкома. Бучко получил письмо рабочего о незаконном увольнении Жихарева, позвонил Голованову, узнал, что тот «в курсе» и «расследует», и положил письмо под сукно. Когда Голованова сняли, Бучко струхнул; но не подал и виду, а стал сочинять развернутую принципиальную речь для выступления на бюро горкома; сочинил и теперь мысленно редактирует свою

речь, придает ей окончательную шлифовку. Вот сейчас Бучко, получив слово, бодро выйдет вперед, непринужденно пригладит кудри рукой и начнет говорить как обвинитель. О письме, положенном под сукно, скажет между прочим, и покается между прочим, и так же между прочим свалит вину на заведующего отделом писем и сообщит попутно, что виновный уже уволен… С благородным возмущением упомянет о порочном стиле работы Куйбышевского райкома при Голованове и выразит удовлетворение снятием Голованова. «Товарищ Голованов, — скажет он рокочущим голосом, — приходится признать, что вы не созрели для руководства; вам будет полезно поработать на заводе, поучиться и… подумать». И Голованов под прицелом этих синих ледяных глаз даже не пикнет… Затем Бучко скажет: «Перехожу, товарищи, к существу вопроса», — и отделает Редьковского разными словами. Слова будут громкие, красивые и литературные: Бучко — мужчина начитанный. Со всей силой щедринских громов рухнет он на Редьковского, переберет все эпитеты, какие можно приложить к Редьковскому, выразит гнев, презрение — все что надо выразит. И уйдет на место геройской походкой, встряхивая кудрями…

Брезгливо морщась в ожидании речи Бучко, Ряженцев переводит взгляд на Акиндинова… Директор станкостроительного сидит прямо, заложив толстые руки за спинку стула. Его громадная грудь под светлым чесучовым пиджаком ходит, как мехи. Монгольское лицо лоснится потом (летом Акиндинову всегда жарко). Отвернувшись, он смотрит в сторону бешеными и страдальческими глазами. Страдает он и бесится от мерзости разбираемого дела. Есть у Акиндинова крупные недостатки, обвиняют его и в барстве, и в зазнайстве, и в капризах, но ни за что он не станет фабриковать за счет государства личное благоденствие, как делал Редьковский. С размахом человек, но его размах в ином: Акиндинов построит лучшую баню и лучший Дворец культуры, все сердце вложит в то, чтобы построить как можно великолепней, и будет заглядывать людям в глаза: ну как, нравится? — потому что он до смерти любит похвалы, восторги, признание его талантов, и если его уж очень хвалят, то у него голова ходит ходуном… Он чуть не заболел от досады, когда конструирование оптико-копировальных станков министерство хотело поручить другому заводу. Если бы он мог, он забрал бы к себе на завод всех изобретателей и новаторов и

все самые сложные и передовые эксперименты… Он может щедрой рукой швырнуть средства на устройство выдающегося детского утренника, — но на себя не истратит копейки сверх того, что ему положено за работу.

Что, кроме гадливости, может чувствовать этот упоенный делом своей жизни человек к ничтожному стяжателю Редьковскому? Он и губ не разомкнет по этому поводу: молча поднимет толстую руку — вон из партии!

Чуркин тоже ничего не скажет. Подперев взлохмаченную голову, он грустно водит карандашом по блокноту, бессознательно что-то чертя… Не многим известно, что практичный и прижимистый Чуркин на самом деле романтик и мечтатель, — но Ряженцев это знает. Слово «коммунизм» Чуркин произносит как очень дорогое, почти интимное; когда при нем пускаются в разговоры об устройстве жизни при коммунизме, он слушает молча, с глубокой заинтересованностью, а то усмехается и крутит головой в знак несогласия, то глаза у него светлеют от волнения… Плохие люди огорчают его и изумляют: он искренне не может понять, какого черта они поступают дурно, когда так просто и удобно поступать хорошо. Он признавался Ряженцеву,

что самое трудное для него — это когда является полковник, начальник милиции, с докладом о преступлении…

…Редьковский управлял стройтрестом номер четыре. Трест построил два дома, и за это же время появилась у Редьковского за городом собственная дача на имя тещи. Трест разрабатывал каменные карьеры, и вокруг дачи Редьковского вырос каменный забор в полтора человеческих роста. Строили дачу и забор лучшие рабочие треста; оплачивал им эту работу трест — из расчета среднего заработка; строительные материалы тоже оплачивал трест. Табельщица и счетовод высказали свои сомнения — их уволили, придравшись к мелким погрешностям. Каменщик Руденко отказался строить гараж управляющему, сказав: «Я по среднему работать не буду, и я не на барщину сюда пришел», — Руденко уволили, обвинив в шкурничестве. Коммунист Жихарев, штукатур, восстал против незаконного использования рабочей силы — Редьковский уволил и Жихарева как склочника и дезорганизатора работы. Жихарев кинулся в райком, к Голованову, и не нашел поддержки. Рабочий написал в газету — не помогло… Сейчас дело идет к естественному концу.

Комиссия, выделенная горкомом для обследования парторганизации стройтреста номер четыре, заканчивает доклад. Досказываются обстоятельства пребывания Редьковского на посту управляющего: о присвоении им трестовской машины в нераздельное личное пользование (жену возили на базар), о пирушках на даче за непроницаемым забором, о том, как поблажками и незаконными премиями Редьковский покупал молчание членов партбюро и постройкома, которые обязаны были призвать его к порядку.

В зале много коммунистов из треста номер четыре. Они сидят не вместе. Произошло естественное разделение — те, кто кутил на даче у Редьковского, расселись вразброд, остальные сгруппировались вокруг Жихарева... Вот кто переживает большие дни своей жизни — этот чернявый двадцативосьмилетний парень в вышитой украинской рубашке под пиджаком, скуластый и курносый, с угольно-черными умными глазами.

Он, молодой коммунист, восстал за дисциплину, за законность, за партийную этику — его выгнали, наплевали ему в душу, райком его не поддержал. Теперь Жихарев восстановлен на работе, его, видимо, изберут секретарем партийной

организации треста — во всяком случае, горком будет рекомендовать… Жихарев сидит чинно, но его угольные глаза горят, и на молодом лице удовлетворенное, даже горделивое выражение. Вот он поднял голову, взглядом знатока-специалиста оглядел потолок, задержался на лепке карниза… Вот взгляд спустился, помрачнел, погас (Жихарев посмотрел на Редьковского) — и снова просветлел и зажегся, поднявшись к портрету Ленина… И каждое жихаревское движение, и все шквалы, которые бушевали в этом неискушенном сердце, и эта заря чистого торжества — все понятно Ряженцеву, солдату партии, поседевшему на бессрочной службе. (Седины не замечают, потому что Ряженцев белокур. Его светлые, невьющиеся волосы, гладко зачесанные назад, отливают спокойным блеском. Лицо почти без морщин, широкое и белое, тоже спокойно, он выработал это спокойствие за многие годы.)

Тихо открывается дверь в конце зала. Тихо ступая по плюшевой дорожке, входит Степан Борташевич. Он опоздал, и выражение у него, как всегда у опоздавших, озабоченное — дескать, дел выше головы, потому и опоздал. Усевшись и перестав быть предметом внимания, он скидывает с лица это условное выражение и оглядывает

собрание со свойственным ему веселым благодушием. О деле Редьковского он, разумеется, знает, и оно его не волнует, он такие вещи видел. Не далее как минувшей зимой он, заведующий горторгом, снял с работы и отдал под суд группу работников торговой сети. С жизненным опытом товарищ, седые виски и скептическая усмешинка в глазах, не удивишь его мелким мазуриком Редьковским…

Докладчик дочитывает предложение комиссии:

«Провести перевыборы бюро партийной организации стройтреста номер четыре…»

Движение среди людей, окружающих Жихарева…

«Дело о хищениях передать следственным органам…»

Редьковский снимает очки и для чего-то начинает старательно протирать их платком…

— Слово товарищу Жихареву, — говорит Рященцев.

Но Жихарев отказывается от слова. Встав, он объясняет: все изложено в материалах комиссии, ему добавить нечего.

— Как нечего? — мягко спрашивает Борташевич. — А ваше отношение, личная ваша оценка?

— Я свое личное отношение уже выразил, за что меня и выгнали с работы, — медленно отвечает Жихарев и улыбается доверчивой улыбкой.

— Хорошо отвечено! — говорит Бучко — негромко, но, однако, так, чтобы все услышали.

Другие коммунисты из стройтреста желают высказаться. Один повторяет уже известные факты, другие признают свои ошибки… Акиндинов вынимает из кармана часы — именные, наградные, он всегда их носит — и раздраженно щелкает крышкой: все ясно, о чем еще говорить!..

Но выходит с покаянной речью Голованов. «Мы не учли, — говорит он, — мы упустили, мы самоуспокоились…» Ряженцев не выдерживает:

— Говорите о себе. Почему — «мы»? Вы не Николай Второй. Вам не грех сказать «я».

А за Голованом встает Бучко и точь-в-точь так, как предвидел Ряженцев, приглаживает рукой лихие кудри и произносит совершенно то самое, чего Ряженцев от него ожидал.

— Короче! — говорит Ряженцев.

Бучко на секунду срывается.

— Виноват, — говорит он, — такой вопрос… — и продолжает речь в ускоренном темпе. Ряженцев поднимается, слушает стоя, не скрывая нетерпения. И, не дождавшись конца, обрывает этот

поток хорошо отредактированных фраз:

— Ясно, я думаю, товарищи. Есть еще желающие?

Бучко возвращается на место без всякого геройства. Блистательное выступление не имело успеха. «Не обойдется без выговора», — думает он, и что-то отвратительно дрожит у него под ложечкой.

— Нет желающих.

— Несколько слов, — мягким домашним голосом говорит Борташевич, — несколько слов, которые никто не сказал, а надо бы, разрешите.

— Прошу, — говорит Ряженцев.

Легким широким шагом Борташевич выходит вперед. Он стоит у столика, заменяющего трибуну, лицом к собранию, — это доброе, сейчас немного грустное лицо пожилого человека, расположенного к людям. У Борташевича осанистая фигура и благородная голова с седыми висками.

— У кого же, товарищи, язык повернется — защищать разложенца, нарушителя наших моральных устоев…

Он говорит задумчиво, все тем же негромким уверенным голосом, и как бы взвешивает в спокойной руке тяжесть проступков Редьковского.

— Я только хочу обратить внимание бюро на

обстоятельство, о котором здесь, правда, говорилось, но говорилось попутно, а я считаю, что это обстоятельство должно быть выделено особо, так как в нем заключается главное преступление, большее, на мой взгляд, чем даже воровство из государственной кассы…

Зал слушает и смотрит на белую руку, беспристрастную, как чаша весов.

— Из выступлений товарищей рисуется такая картина, что Редьковский подбирал аппарат по принципу приятельских отношений, старого кумовства и так далее. А те, с кем не было приятельских отношений и старого кумовства, вербовались, так сказать, как новобранцы, бесстыдно задаривались за государственный счет, — во всяком случае, их изо всех сил старались купить и растлить… И в этом я, товарищи, вижу главное преступление!

Борташевич медленно опускает руку на стол. (Чаша весов опустилась под тяжестью гирь.)

— Верно, Степан! — громко говорит с места Чуркин, а Ряженцев слегка ударяет по стакану карандашом…

— Я слушал, и мысль моя была не о материальных хищениях — это все у него обратно заберем, товарищи! — мысль моя была о людях, кото-

рым он прививал свою чуму. Были люди как люди, чистые перед партией и перед народом, и вот — глядите: сидят как в воду опущенные, потерявшие доверие, с выговорами, со строгими выговорами, — а кто отвечает? Редьковский отвечает! Это он их сбивал, что называется, с катушек, он тащил их на путь, по которому сам катился — и докатился! И вот за это моральное обворовывание партии и общества мы должны спросить с него еще суровее, чем за материальное!

Если бы на деловых заседаниях были приняты аплодисменты, Борташевичу хлопали бы. Даже окаменевший в сумрачном высокомерии Акиндинов провожает его благосклонным взглядом. Бучко терзают запоздалые сожаления: как это он, Бучко, не сообразил сказать о моральном обворовывании общества…

Ряженцеву остается добавить немного.

…Редьковский покидает зал. Он идет торопливой и неверной походкой, пригнувшись, как беглец, и у выхода спотыкается, зацепившись за ковровую дорожку. Никто не смотрит ему вслед, только Борташевич оглянулся на мгновение…

Повестка исчерпана, Ряженцев закрывает заседание, предложив остаться Жихареву и еще нескольким товарищам из стройтреста. Осталь-

ные расходятся.

— Хорошо сказал, Степан! — говорит Чуркин, выходя с Борташевичем. Они приятели — в гражданскую вместе воевали, и уже второй раз им доводится работать вместе, в одном городе.

— Да-а! — говорит Бучко, присоединяясь к ним. — Бледный был вид у молодчика.

Чуркин поворачивает голову и меряет его скучным, печальным взглядом. Бучко стушевывается. Они спускаются по лестнице.

— Жихареву придется поработать, — говорит Чуркин Борташевичу. — Там все заново надо перепахивать.

— Ничего, — отвечает Борташевич с усталой улыбкой. — Ряженцев ему объяснит, как это делается.

Они выходят на улицу. У подъезда ждут машины. Дневная жара спала, солнце двинулось к западу. Перед зданием, где помещаются обком и горком, лежит большая спокойная площадь Коммуны, на одной ее стороне асфальт светлый, на другой черный и блестящий — только что его полили. Мимо здания, оглядываясь на выходящих оттуда людей, прошла продавщица цветов с корзиной свежих пионов. И невольно глаза этих людей, занятых совсем другими делами и

мыслями, задержались на цветах…

Громадный в своем чесучовом костюме, выходит из подъезда Акиндинов. Он идет пешком — доктор велел ходить для моциона — и изредка вздыхает тяжкими, слоновьими вздохами. История Редьковского рассердила его чрезвычайно. До чего же глупо и низко: забор… базар… Ах, боже ты мой! На такую дрянь разменять свою жизнь! Одну-единственную…

И он думает о собственной жизни, тоже одной-единственной, такой дорогой ему, — да, это он, молодой и красивый, летел на коне перед полком, играя над головой шашкой, а сзади неслось, настигая и оглушая, «ура», а впереди за тучей пыли утекали беляки… Он тогда пил люто, был такой грех. И его ранили, чуть было не срезали на корню его великолепную жизнь, на волоске висело все, что с ним было потом… Судьба пожалела — подослала Марусю. Маруся, добрый гений! Выходила, вынянчила, отучила от водки, друг мой ненаглядный, товарищ, жена и любовь! Чего только не пережили вместе — и голодали, и скитались, у Маруси рубашки не было, мои носила… Первая девочка умерла, даже назвать не успели, а потом я привел Марусе мальчишку из асфальтового котла, Маруся его отмыла, вывела

вшей и привязалась, а он тоже умер, от сыпняка… А эти наши, Галька и Томка, разве они ценят мать? Разъехались — свои мужья, свои дети, свои занятия, письмо матери и то написать некогда. Пошлешь денег — внукам на гостинцы, ну, дочкам совестно станет, напишут. Маруся гордая, говорит — это в порядке вещей, но я же понимаю, каково ей! Я же понимаю, ах-ха!.. Да, вот ты так все понимаешь и чувствуешь, до слез, а какая-нибудь мразь ни черта и понимать не хочет, кроме своей вонючей выгоды. Ты обнимаешь мыслью высоты и глубины, а она тянет, что плохо лежит… Маруся без рубашек ходила, Костька помер от сыпняка, они и тогда тащили — ого!.. И ведь под самым носом орудуют. Вот я иду, и дьявол его знает — может, именно сейчас какому-нибудь моему начцеха рабочие… это самое… какие-нибудь работы на дому… с оплатой по среднему за государственный счет… Ну, это я загнул. Не те у нас люди. Я свои кадры, слава богу, знаю…

Он идет, настроенный на грустно-торжественный лад, отбирая из воспоминаний все невзгоды и гордясь ими, и за ним вдоль тротуара тихо движется его серый автомобиль, а по тротуару плетется Бучко.

— А вы слышали, — внезапно спрашивает Буч-

ко, выбегая вперед, — как он споткнулся, уходя?.. Я слышал.

Акиндинов отвечает не сразу.

— Вот что, товарищ Бучко, — говорит он, — когда вас снимут с газеты, проситесь ко мне, я вас возьму в многотиражку.

Бучко не находит, что ответить на это неожиданное предложение, высказанное столь категорически.

— Секретарем, — рассеянно продолжает Акиндинов, — у вас слог ничего… Нашему заводу требуется хороший литературный слог.

— Да, конечно, — испуганно отвечает Бучко.

«Вы думаете, меня непременно снимут?» — хочется ему спросить, но сразу неудобно, и он осторожно продолжает разговор:

— Я, собственно, не журналист, я окончил филологический…

Но Акиндинов останавливается. Он стоит посреди тротуара, глаза его сузились, лицо как грозовая туча… В недоумении останавливается и Бучко. Останавливается и машина.

Перед ними Дом техники. Он сияет свежей кремовой окраской. Кремовые брызги и потоки на тротуаре — видно, только что убрали заградительную веревку… Дверь Дома распахнута — обе

створки настежь, — и там тоже брызги, стремянки, веселый, своеобразно и сыро пахнущий хаос ремонта… Из распахнутой двери, отработав смену, выходят маляры. На маляров-то и смотрит Акиндинов, наливаясь гневом.

Это *его* маляры! Позавчера он видел их во Дворце культуры, они работали там… Он, может быть, не обратил бы сейчас внимания, прошел мимо, но вон та подсобница, толстуха с темно-красным цветом волос, уникальные волосы и уникальная толщина… По ней он признал остальных. И где-то здесь, по-видимому, должен находиться Федор Ильич, бригадир…

— Федор Ильич! — громко кричит Акиндинов, едва появляется в дверях старичок в кепчонке, заляпанный красками с головы до ног, как все остальные.

Федор Ильич дотрагивается до кепчонки и пожимает директорскую руку.

— Федор Ильич, это что, а?.. Что вы тут делаете?

— Мы-то? — переспрашивает Федор Ильич тонким беззаботным голоском. — Косметику наводим.

— А Дворец?

— А во Дворце приостановили на недельку,

поскольку, Георгий Алексеевич, нельзя и тут и там…

— Давно это?

— Со вчерашнего дня.

— Кто распорядился? — спрашивает Акиндинов так тяжко и грозно, что у маляров, стоящих кругом, сразу делаются серьезные лица.

— Товарищ Косых приказал… Звонили ему, говорят, из горисполкома.

— Так… — говорит Акиндинов. — А платить вам кто будет?

— Сказал товарищ Косых — вы, мол, рассчитаетесь, по среднему.

— По среднему? — повторяет Акиндинов, задохнувшись. — Заводскими, значит, деньгами?.. Понятно! Во Дворце приостановили… несрочное дело… дисциплину к дьяволу… Прораб!!

— Нет его тут…

— Федор Ильич, я тебе приказываю, — бригада, слушай! Завтра с утра идете работать во Дворец.

— Георгий Алексеевич, — испуганно говорит Федор Ильич, — слушай меня, никак нельзя, еще денька два хоть…

— Два часа не разрешаю!

— Слушай меня, мы грунт положили, плафон закончить!..

— Один плафон только лишь! — музыкальным меццосопрано говорит красноволосая толстуха, в надежде силой женских чар утишить разгневанного директора. Он ее не замечает:

— Бригада, всем ясно? С утра — во Дворец. Федор Ильич, все. Про плафон забудь. Проверю лично… Едем, довезу. По среднему, а? С-сукины дети!..

И, пропустив вперед старика бригадира, начисто забыв о Бучко, задыхаясь от ярости, директор станкостроительного садится в машину, хлопает дверцей с исчезает в солнечной дали улицы.

Глава девятая. Из дневника Сережи Борташевича

2/I.

Прочел «Гамлета». Очень слабая пьеса. Я уже не говорю об идеологии, это XVII в. Но просто написано плохо. Сумасшествие Офелии не мотивировано, ее взаимоотношения с Гамлетом неясны. Есть элемент ложной занимательности (см. историю с призраком). Шекспир вообще страдает этим недостатком (ср. с ведьмами в «Макбете»). Очень примитивна история с актерами. Пятый акт, где все друг друга убивают, невозможно читать, до того нежизненно.

С коньками пока не получается. Падал, разбил колено. Там многие учатся и падают, так что ничего. Катя заметила по моей походке, что у меня болит нога, и всполошилась. Я просил ее молчать, чтобы избежать дурацких разговоров в доме.

3/I.

Без разговоров не обошлось. Марго тоже заметила и сказала маме. Мама сказала, что нельзя кататься на коньках, не спросив у профессора. Я сказал, что больше не пойду ни к каким профес-

сорам. Она сказала: «Ты отдашь мне коньки». Я сказал: «Нет». Она сказала: «Да». Тут ей позвонили по телефону, и она забыла. Я запер коньки в шкаф и ключ ношу в кармане. На всякий случай запер и гантели.

4/I

Екатерина меня возмущает. Меньше всего она думает о науке. Спорт — прекрасная вещь, но нельзя же предаваться односторонне. Ей пора думать о теме дипломной работы, а она пропадает на тренировках.

5/I.

С коньками налаживается. Падал всего два раза.

6/I.

Не падал ни разу.

8/I.

Полная победа. Катаюсь как бог, только корпусу неловко от наклона все время вправо.

На катке была очень красивая девочка. Она катается лучше всех.

10/I.

9 января 1905 г. по старому стилю в России, в городе Санкт-Петербурге, царская жандармерия

расстреляла рабочих, шедших к царю с петицией.

9 января 1950 г. по новому стилю в Италии, в городе Модеме, фашистская полиция расстреляла мирную рабочую демонстрацию.

Интересно, обратил ли кто-нибудь внимание на это совпадение в числах? И не будет ли 9 января 1950 г. для итальянцев такой же исторической датой, какой для нас является 9 января 1905 г.?

12/I.

Незнакомка опять была на катке. Мальчишки перед нею крутятся. Она ни на кого не обращает внимания.

13/I.

Я катался и остановился отдохнуть. Незнакомка бежала мимо и посмотрела на меня. Наши глаза встретились. Я нарочно остался стоять и дал ей пробежать еще раз, и она опять посмотрела.

Я думаю, что женщина может, в принципе, полюбить человека с физическим недостатком. Но вот проблема: может ли она его любить без унижающего мужчину чувства жалости? Если нет, то между нами все кончено. У нее белая шапочка с длинными ушами.

16/I.

Было очень бурное собрание. Райком комсомола и Ив. Евгр. обязательно добивались выговора Шугаринову. Мы не хотели голосовать за выговор, т. к. хотя Шугаринов бузотер и срывщик дисциплины, но из нас тоже почти каждый знает за собой что-нибудь, так что я, напр., просто не мог голосовать против Шугаринова. Два раза переголосовывали. В промежутках Ив. Евгр. объяснял, почему Шугаринову надо вынести выговор. Он весь в поту был (Ив. Евгр.). Наконец он сказал, что если не дать выговор, то Шугаринов окончательно собьется с пути. После этого мы проголосовали за выговор, но без занесения в личное дело.

Шугаринов хорошо держался, со спокойным достоинством.

17/I.

Незнакомка не появляется четвертый день. Что случилось? Болезнь? Или она почему-нибудь переменила каток?

18/I.

Незнакомки все нет. Был на катке «Динамо». Белых шапочек было три, но все не те. М. б., она уехала из города насовсем?

19/I.

Был на катке водников. Плохой каток. Водники,

а не могут устроить как следует.

20/I.

Хватил грипп и лежу. Приходили ребята. Играл в шахматы.

21/I.

Он полюбил ее, а она взяла и исчезла.

Она даже не знала, что он не может без нее жить.

22/I.

Мне ставили банки. Какая-то средневековая процедура. Я весь в черных кругах. Больно лечь на спину. Как это я когда-то лежал по полгода, привязанный к доске? Здорово мне достается от медицины.

25/I.

Воспаления легких не произошло. Мне уже лучше, но ребят еще не пускают. Сегодня все ушли, а Марго сидела со мной. Я читал, а она возле лампы штопала. Я посмотрел на нее и поразился, какая она уже старая. Я спросил, сколько лет она у нас живет. Потому что сколько я помню себя, столько и ее. Она сказала, что скоро уже семнадцать лет. Я сказал, что, значит, ей у нас хорошо? Она сказала, что не очень, т. к. у мамы тяжелый характер, но

что она привыкла. Она говорит, что если бы у нее с мужем были нормальные отношения, то она жила бы не хуже нас. Но у них ненормальные отношения. Она рассказала мне целый роман, что когда-то ему было очень плохо, и он должен был уехать на очень долго, а она его безумно любила и ждала, как Сольвейг ждала Пер Гюнта, но он ничего не оценил, и другие женщины ходят в чернобурках, а ей он дает только двести рублей в месяц. — Ну, это уже не похоже на Сольвейг. — Она говорит, что одна ее знакомая работает в Госстрахе, страхует от смерти и от пожара и зарабатывает тысячу рублей в месяц, а она, т. е. Марго, по сути дела домработница: когда приходят гости, то все сидят и разговаривают, а она подает и принимает. И хоть она привыкла, но ей тяжело, т. к. она училась в гимназии. Я сказал, что это от нее зависит. В наше время женщине открыты все дороги. Я ей привел в пример разные имена, Лидию Корабельникову и др. Она сказала, что ничего этого не может. В это время пришел папа, и я попросил его, чтобы он поговорил с мамой, чтобы Марго тоже сидела с гостями. Но Марго стала плакать и сказала, что больше никогда в жизни не будет со мной откровенна. Она успокоилась только тогда, когда мы дали честное

слово, что ничего не скажем маме. В общем, я отступаюсь от этой истории. Если рабу нравится влачить свои цепи…

Папа посидел со мной, и мы поговорили на международные темы.

Ужасно люблю папу.

Маму тоже, конечно, люблю, но она совершенно не признает прав личности. Она в душе какой-то неограниченный монарх. Марго глупа и полна пережитков, но нельзя же так угнетать, как мама ее угнетает. А самое главное, у мамы узкие горизонты. В общем, при ней я не могу дышать полной грудью.

Катя говорит, что у нее по отношению к маме дух противоречия. Если мама что-нибудь делает, Кате хочется делать наоборот. Я это понимаю. Я бы предпочел иметь такую мать, какая была у Павла Власова.

Мне пришло в голову, что если бы мы жили в XVII в. и мама сделала с папой то самое, что королева, мать Гамлета, сделала с его отцом, то я, м. б., тоже сошел бы с ума, как Гамлет. Возможно, Шекспир проводил именно эту идею.

27/I.

Ребята принесли новости: райком комсомола не утвердил наше решение и вынес Шугарино-

ву выговор с занесением в личное дело. Наших комитетчиков вызывают в райком, а Ив. Евгр. ходит как туча и всем катает тройки.

Да, дела.

31/I.

Познакомился с интересным человеком. Сегодня Ив. Евгр. выгнал меня из класса за то, что я подсказал Заку. Я вышел в коридор. Какая странная тишина, когда идут занятия. Она наводит на разные мысли. Я походил и сел на окно. Вдруг входит какой-то человек с ключами. Спрашивает: «Ты что сидишь?» Я говорю: «Так». Он говорит: «Тебе надо быть в классе». Я говорю: «Меня выгнали». Он говорит: «А!» Потом спрашивает: «А стыдно?» Я говорю: «Да нет». Он спрашивает: «Почему?» Я ему объяснил, что это условность, отживший воспитательный прием, и что только досадно, что Ив. Евгр. испортил себе настроение. Он говорит: «Ты Ив. Евгр. не обижай, он святой человек». Я согласился, с оговоркой, что это очень плохо для Ив. Евгр., т. к. благодаря его святости мы все сели ему на шею. Он повторил: «Нет, ты его не трожь, он мне жизнь спас». И рассказал, что они вместе были на войне и Ив. Евгр. вытащил его раненого из-под огня. А теперь он сюда приехал жить, и Ив. Евгр. временно устроил его завхозом в

школу. Я спросил: «Почему временно?» Он сказал: «Ну, а что мне школа? Я могу поважнее что-либо делать. Как подвернется работа с площадью, так и уйду».

Он рассказал мне вкратце свою жизнь. Больше всего он любит путешествовать. Поживет два месяца на одном месте, и уже у него тоска. Он исколесил весь Советский Союз и переменил массу профессий. В том числе был рабочим в шести геологических экспедициях. Это, по его словам, самое интересное дело. В китобойной флотилии ему тоже нравилось. А самое противное, он говорит, это быть надзирателем в сухумском обезьяньем питомнике. Мартышек надо водить гулять, чтоб они были здоровы. Он их водил, как полагалось, по десять штук сразу, на цепочках: пять цепочек в одной руке и пять в другой. А мартышки ссорились и дрались и не хотели гулять на цепочках, и кусали его за ноги. Он посмотрел-посмотрел на них, нанялся на пароход и уехал из Сухуми.

Теперь он женился. Жена не хочет так жить, а хочет оседло. Ив. Евгр. обещал им помочь, и они приехали устраиваться. Закончив рассказ, т. Федорчук — так зовут моего нового знакомого — вздохнул и сказал: «Любовь зла».

Во время рассказа подошел Санников. Я думал, его тоже выперли, но он, оказывается, сам отпросился и пошел меня искать. Потом на немецком мы с ним разговаривали на такую тему: какая большая наша страна и как бы хорошо объездить ее всю, как Федорчук. Санников говорит, что для этого нужны три вещи: 1) здоровье, 2) безразличие к жизненным удобствам и 3) отсутствие честолюбия. Видимо, все эти качества есть у Федорчука. Федорчук, конечно, бродяга по натуре, Санников прав. Но, с другой стороны, если бы таких бродяг не было, то кто бы водил гулять сухумских обезьян? Никто ведь не согласится делать это всю жизнь.

Санников после средней школы пойдет в лётную. Ему хочется на реактивный самолет. Конечно, при современных скоростях он повидает все на свете. Меня не примут в лётную из-за проклятой ноги. Об нее разбиваются все мои планы.

1/II

Стыд и позор предаваться таким мыслям, когда написаны книги о Корчагине и Мересьеве!

2/II.

+ 3°. Идет дождь. Катки закрыты. Прямо неизвестно, что делать. Катя уехала в дом отдыха.

Дома скука зеленая: каждый вечер гости. Сижу в своей комнате или удираю с ребятами.

3/II.

Нина Серг. на меня обиделась. Я сказал, что при гуманитарном направлении ума совершенно ни к чему все эти косинусы. Она сказала: «Значит, ты зачеркиваешь мою деятельность?» Я сказал, что не зачеркиваю деятельность, но что, окончив школу, в первую очередь постараюсь забыть тригонометрию, чтобы расчистить в мозгу место для более нужных вещей. Она пожаловалась Ив. Евгр. Он со мной беседовал. Как будто я не понимаю, что тригонометрия необходима тем, кто пойдет по технике. Но филологу, напр., она не нужна. Ив. Евгр. утверждает, будто она необходима для общего развития. Я с этим никак не согласен. Он спросил, а как же я отношусь к алгебре. Я сказал, что алгебра действительно необходима для общего развития, т. к. она учит абстрактному мышлению. Он сказал, что Нина Серг. прекрасный, знающий педагог и что я должен перед ней извиниться. Я ему обещал. На перемене я нашел ее и сказал: «Я прошу извинения, хотя, на мой взгляд, это для вас гораздо более оскорбительно, чем то, что я говорил на уроке». Она покраснела и сказала: «Ты хочешь быть умнее всех. Иди!»

Я вовсе не хочу быть умнее всех. Я просто сказал то, что подумал. В самом деле: что такое мое извинение в данном случае? Не что иное, как мужское снисхождение к ее женской мелочности. Она не смогла это понять. Тем хуже для нее.

4/II.

Замечательно рассказывал Федорчук о китобойном промысле. Мы заслушались. Санников говорит, что он, м. б., еще передумает насчет лётной школы и пойдет в китобои.

5/II.

О, женщины! Сегодня в кино, уже собирались тушить свет, как вдруг вошла *она* в своей белой шапке и под руку с мальчишкой. Билетерша показала им места, и они так и бежали по проходу за руку. Когда кончился сеанс, я их больше не видел и очень рад.

Прочь, прочь, слеза позорная!
Кипи, душа моя!
Твоя измена черная
Понятна мне, змея!

Прекрасный урок для идиотов, которые шляются по каткам и чуть не наживают воспаление легких.

Вырвать из сердца раз и навсегда!

9/II.

Федорчук познакомил нас со своей женой, меня и Санникова. У них довольно славная комнатка около раздевалки. Жена хочет устроиться у нас в школе уборщицей, но нет вакантного места. Федорчук говорит, чтобы она не устраивалась, т. к. они все равно уйдут. Ему обещают место в порту, там, он говорит, ему больше по характеру, чем в учебном заведении. Мы с Санниковым немножко у них посидели после занятий. Они нас угощали водкой и винегретом. Я выпил мало: я не люблю водку. Федорчук сначала обиделся, т. к., оказывается, она именинница, и он хотел, чтобы я пил за ее здоровье. Но она сказала: «Не обращай внимания, он подшофе». Я не знал такого выражения. Это, должно быть, фольклор. Потом Федорчук стал нас хвалить и говорить: «Эти умнейшие ребята, золотые друзья. Я еще, пожалуй, останусь здесь до каникул, потому что я полюбил ваш разговор. Одно плохо, что в бога не веруете. А впрочем, если вдуматься, то и это хорошо». Завязался разговор на эту тему. Федорчук говорит, что раньше он тоже не веровал, а стал верить после того, как повстречался в тайге с медведем, который чуть его не задрал. Я не думал,

что так бывает. Я думал, бывает только так, что человек сперва верит в бога, а потом перестает. Непонятно также, как может медведь воздействовать с религиозной стороны. Санников говорит, что это вообще ерунда все. Но мне кажется, что если речь идет о мировоззрении, то нельзя так отмахиваться.

Санников хочет записаться в общество охотников, и ему купят на рождение охотничье ружье. Мне ни черта такого не купят. Меня держат под стеклянным колпаком.

11/II.

Нина Серг. продолжает дуться на меня, и наши взаимоотношения становятся все напряженнее. Сегодня вызвала, и, пока я решал, она смотрела на доску через плечо, чтобы показать, что от меня нельзя ждать толкового. И влепила мне двойку, а ребята считают, что я безусловно отвечал на тройку.

Ребята считают, что у меня к ней нет подхода. Они говорят, чтоб я нажал немножко на тригонометрию и отношения наладятся, потому что она вообще добрая. Но я не хочу, чтобы она думала, что я заискиваю. Нет так нет.

Федорчук говорит про учителей: «Это разве люди. Это великомученики, их надо на небо побрать

живыми». Федорчук — мистик.

Ночь с 14 на 15/II.

Только что сообщило радио. Событие исторического значения: заключен договор между СССР и Китайской Народной Республикой.

Между прочим, мы будем снабжать их оборудованием для заводов, рельсами и т. п., чтобы они могли поднять свою разоренную страну.

Отметим кстати, что когда образовалось в свое время наше Советское государство, то нам не только никто не давал оборудование, но еще со всех сторон лезли интервенты. Наш народ всего добился сам. Нам было гораздо труднее, но именно мы проложили для человечества этот путь, в этом особенная красота и гордость. Хотя я лично еще ничего не сделал, но, напр., мой отец сделал много.

17/II

Произошел тяжелый и дикий случай, похожий на сон. Он настолько неприятен, что у меня был припадок, по счастью тогда, когда все кончилось и я вернулся домой, так что обошлось без посторонних наблюдателей и сочувствующих. Я уже думал, что припадков больше не будет, но вот — увы! — третий день меня держат в постели и

поят всякой дрянью.

Но вернемся к событию. Я хочу записать его подробно, т. к. я не мог сказать в милиции, за что я избил Федорчука, и у них впечатление, что я ни за что ни про что оскорбил хорошего человека. Федорчук тоже не сказал. Наверно, он побоялся, что его отдадут под суд за клевету. Ведь он знал отлично с самого начала, что это клевета. Я его презираю! На вопросы он отвечал: «Пусть он сам скажет», — учитывая, что у меня язык не повернется сказать такое. В общем, им не удалось добиться истины. Для них я остался хулиганом, которого отпустили только из уважения к его отцу и к состоянию здоровья (о здоровье говорила мама, она особенно упирала на нервные припадки, м. б. поэтому и был припадок). Пусть же истина будет запечатлена в этой тетради, которая никем не может быть прочитана ранее моей смерти. Пусть нас с Федорчуком рассудят потомки. Постараюсь восстановить все детали инцидента.

Итак: 15 февраля я пришел ко второму уроку (на первом была физкультура, от которой я освобожден). Только вошел в раздевалку, как мне навстречу Федорчук в пальто. Я спрашиваю: «Куда вы?» — т. к. было еще рано, и я захотел

немножко его проводить и поговорить о Китае, чем ждать в пустом классе. И пошел с ним. Он сказал, что идет договариваться насчет какого-то ремонта, но что это ему некстати, т. к. он лучше хотел бы быть в суде на утреннем заседании, а вчера он был на вечернем. Я спросил, а что там такое. Он ответил: «А то, что я первый раз вижу, как судят крупных жуликов». И объяснил, что идет процесс расхитителей и спекулянтов из торговой сети. Он сказал: «Кого обкрадывали, на ком наживались: на народе. Это же растление душ полное, ты как мыслишь?» Я согласился и сказал, что их, наверно, приговорят строго. Он сказал: «Я бы этих гнид уничтожил». Я возразил, что ведь можно перевоспитать и сделать полезными членами общества, и привел в пример «Педагогическую поэму» и «Флаги на башнях». На что Федорчук сказал: «При чем это? Там дети, а тут закоренелые негодяи». Я стал доказывать, что и закоренелых можно перевоспитать трудом, а он перебил и говорит: «Слушай, Сергей, а ведь это твоего батьки кадры». Я говорю: «Я не знаю». Он говорит: «Хочу тебя предупредить дружески: в народе есть суждение, что у него у самого руки нечисты. Чересчур, говорят, хорошо живете». Я не могу выразить пером, что со мной случилось,

когда я понял смысл этих слов. Помню, меня поразило, что он произнес их без злости, а только строго и как будто задумчиво. Я, если не ошибаюсь, не сразу остановился, а еще прошел рядом с ним несколько шагов, а потом, кажется, заплакал, и тогда уже кинулся на него. Он большой, но я ударил его так, что он качнулся. Не знаю, сколько раз я успел ударить, пока он не схватил меня за руки. Схватил и стиснул, как железом, и говорит: «Ты что? Ты что?» И тут подходит милиционер и спрашивает: «В чем дело?» Федорчук говорит: «Его спросите». Милиционер обращается уже ко мне персонально. Я говорю: «Ни в чем. Составляйте протокол, если вам нужно». Федорчук говорит: «Об чем протокол. Это взаимная критика». Я не выдержал и крикнул: «Это критика?» И стал от него вырываться. Милиционер говорит: «Кончайте ваш базар. Зайдем в отделение». И говорит Федорчуку: «Пустите его», а сам берет меня за руку, как маленького. Я говорю: «Не беспокойтесь, я бежать не намерен», а кругом нас уже толпа. Милиционер велел им разойтись, и мы вошли в милицию. Мы, оказывается, были от нее в двух шагах.

М. б., я не все вспомнил и записал, но общие контуры таковы.

Дальнейшее не так важно. Ни я, ни Федорчук, как уже отмечено выше, не сказали, что было причиной драки. Федорчука вскоре отпустили, т. к. он предъявил служебное удостоверение, а меня задержали, пока не пришла мама. Дежурный читал мне нотации. А маме он сказал, как же она меня так воспитала. Они все добивались, и мама, и папа, и даже Марго, кто такой Федорчук и что произошло между нами. Только когда сделался припадок, они оставили меня в покое и больше не спрашивают, даже не намекают, как будто ничего не было.

Я еще раз оценил Катино благородство: она знает, кто такой Федорчук, я ей рассказывал, но, видя, что я не хочу им говорить, она тоже не сказала ни слова.

Но как я разочаровался в Федорчуке! При всех его заблуждениях он казался мне человеком благородным и волевым. А он просто обыватель, злопыхатель и клеветник. Мне тошно и кости болят при мысли, как я пойду в школу и увижу его. Наверно, из милиции звонили Ив. Евгр.

18/II, утро.

Пока не ликвидированы до конца пережитки капитализма в сознании, всегда могут найтись мерзавцы. И всегда из-за мерзавцев падает тень

на честных людей. Когда в третьем классе у Санникова пропал задачник, то некоторые думали на Горбунова, а украл второгодник Лисухин. Маркс или, кажется, Энгельс говорит: «Иди своей дорогой, не обращая внимания на то, что скажут люди». Пушкин говорит: «Ты сам свой высший суд». Если у человека чиста совесть перед родиной, то плевал он на федорчуков.

18/II, вечер.

Можем ли мы, однако, принять это безоговорочно? Пушкин и Маркс жили до Октябрьской революции. Для нас же, мне кажется, исключительно важно, что о нас скажут в народе, потому что мы служим народу и представляем с ним целое. Надо жить так, чтобы никто ничего не мог сказать плохого и чтобы каждому хотелось взять пример.

Но народ одно, а Федорчук другое. Федорчук — не народ.

19/II.

Папа сидел около кровати и рассказывал разное смешное, а я смотрел, сколько у него седых волос, и едва удержался, чтобы не заплакать при нем. Лучше бы он ушел из горторга. Но как я дам ему такой совет? Он потребует объяснений. Я не

могу его оскорбить.

20/II.

Мы были с Катей вдвоем, и она сказала: «Ты не все говоришь. М. б., мне ты скажешь все?» Я ответил: «Екатерина! Есть вещи, в которые не надо вмешиваться женщинам. Я наказал негодяя. И больше ни слова». Она сказала: «Ну хорошо» — и сидела грустная, потом засмеялась и говорит: «Знаешь, как это называется, что ты был в милиции? Привод. У тебя уже есть один привод». И опять стала грустная. А мне все равно. Привод так привод.

22/II.

Приходили ребята из школы и рассказали, что Федорчук уволился из школы.

Санников очень жалеет.

24/II.

Первый раз был в школе после припадка. Поднимаюсь по лестнице — там стоит Ив. Евгр. Остановил меня и спрашивает: «Ну как, выздоровел?» Я говорю: «Да, спасибо». Он говорит: «Ну, иди. На Шипке все спокойно». Я вздрогнул от неожиданности и не придумал, что сказать. Но он отвернулся к другим ребятам. Что он знает? Только то, что могли сообщить из милиции и из

дому, или Федорчук осмелился сказать ему *все?*

До чего по-дурацки устроена человеческая натура. Я шел в школу, и мне было легко, что ниоткуда на меня не выйдет Федорчук. А когда вошел в раздевалку и увидел ту дверь, где он жил и где нас угощали, мне стало грустно. Я подумал, не был ли он в то утро просто подшофе.

(После этого в дневнике долго нет записей. Они возобновляются через два с лишним месяца.)

3/V.

Имел серьезный разговор с Катей. В наше время позор не получать стипендию. Передовой человек обязан сочетать и спорт, и науку, и общественную деятельность. Я раскритиковал ее без малейшего снисхождения.

В частности, мы говорили об ее будущей дипломной работе. Ее интересует росянка, смущает только, что росянка не имеет практического значения, это, она говорит, чистая наука. Но с другой стороны, у нас такое хозяйство и такой размах, что все нужно, может понадобиться и росянка. Это во 1-х. Во 2-х, человек лучше всего делает то, к чему его влечет. В 3-х, Екатерина разгильдяйка, и если ее заставить делать не то, что ей хочется, то она будет отлынивать и сделает как попало. Учитывая все это, я рекомендовал ей посвятить

дипломную работу росянке.

6/V.

На большой перемене играли во дворе в волейбол, а мы с Заком сидели на скамейке. Вдруг подходит Нина Серг. и садится с нами. Я сразу понял, что она хочет мириться, но мне не захотелось мириться. Она говорит: «Хорошая погода». Зак молчит. Я подождал и отвечаю, что да, хорошая. Она достала кошелек и говорит: «Вот было бы хорошо, ребята, если бы вы сходили в буфет и принесли мне пару пирожков». А меня вдруг бес толкнул в ребро, и я таким любезным тоном отвечаю: «Да, хорошо было бы», а сам смотрю на волейбол и ни с места. И Зак ни с места. Она посидела, встала и ушла. Зак мне говорит: «Как ты можешь так невежливо». Я отвечаю: «А ты где был? Она к нам обоим обращалась». Он говорит: «Я нарочно предоставил всю инициативу тебе. Она с тобой мирилась, а не со мной. Это хамство с твоей стороны». И тоже ушел… Действительно, вышло не очень-то красиво. Мелочная месть, недостойная мужчины. И что меня дернуло?

8/V.

Интересно: каким будет Цимлянское море? Безусловно, оно сейчас же войдет в контакт с луной,

будут отливы и приливы. Но будет оно спокойным или бурным? Какого цвета будет вода, такая ли синяя, как в Черном море? Будут ли на нем свирепствовать штормы?

Вырастут ли морские водоросли, и если вырастут, то как скоро? Катя считает, что скоро.

9/V.

Кате повезло: ее руководитель сказал, что росянка имеет отношение к важнейшим проблемам биологии, и одобрил этот выбор. Катя кружилась по комнате и пела: «Я умная, умная, умная!» Я рад, что она стала серьезнее. Одно время я подозревал, что она влюбилась: подруги дразнили ее каким-то капитаном.

12/V.

Удивительно, сколько слов человечество тратит зря. Если подсчитать в человеко-часах во всемирном масштабе, получится потрясающая цифра: не часы, а человеко-годы, человеко-жизни и человеко-эпохи. С середины апреля каждый день за обедом говорят о даче. Она отремонтирована и приготовлена, но дело не в этом. Дело в том, что, кроме папы, который приезжает только на ночь и на воскресенье, никто не хочет там жить. Мама едет в Сочи, в августе к ней туда

поедет папа, и вообще она говорит, что на даче скука. Катин курс после сессии уезжает на практику в лесхоз, а потом в колхоз на уборочную, так что Катя вернется только в конце августа. Марго признавалась мне, что она на даче устает еще больше, чем в городе, т. к. все время надо чистить грибы, и варить варенье, и доставать творог и сметану, она сбивается с ног. Что касается меня, то я ненавижу дачу. Там все время говорят об еде, точно умирающие от голода. Мама и Марго гоняют шофера в город за покупками, а потом говорят между собой, что, наверно, шофер их обсчитал. А если мы с Катей возмущаемся, мама говорит: «Не вы зарабатываете эти деньги».

Или целую неделю крутят пластинку про сарафаны: у кого лучше сарафан, у соседки или у мамы. Марго божится, что мамин лучше. Мама ей не верит и говорит: «Надо было сделать глубокий клеш». Они говорят про этот клеш за завтраком, за обедом и за ужином.

Я заметил, что все стоящие парни увиливают от дачи и норовят устроиться в туристскую группу, или в пионерлагерь вожатыми, или на строительство колхозной ГЭС, а на даче, как правило, живут парни второго сорта или же такие, как я, которых почему-либо не принимают ни в

вожатые, ни в туристы.

15/V.

Я попросил Нину Серг. вызвать меня еще раз, чтобы исправить двойку. Она сказала: «Ты этого не стоишь, Борташевич». Я, конечно, отошел: что же мне, умолять ее? По-человечески я ее понимаю. Это возмездие за хамство. Если ты осознал свою вину, надо принять и возмездие.

На экзамене я это исправлю, но противно, если будет двойка в четверти. В конце концов, вступая в комсомол, ты берешь на себя обязательства и должен их выполнять, иначе какая же тебе цена?

18/V.

Нина Серг. победила: у меня в четверти по тригонометрии двойка! Борьба была неравной, Сергей Борташевич!!!

И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

19/V.

Итак, экзамены.

Завтра пишем сочинение. Санников бегает по школам и узнает через знакомых, какие темы спущены из министерства. В ноль часов класс

соберется под репродуктором на площади Коммуны, и Санников проинформирует.

28/V.

Черта с два я поеду на дачу. Я мечтаю пожить дома в одиночестве. Придется выдержать бессмысленные разговоры, но уж без этого нельзя.

2/ VI.

Катя ездила куда-то на болото и привезла росянку. Откровенно — я разочаровался. Я думал, она хоть чем-нибудь напоминает те тропические насекомоядные растения, о которых я читал. А это дрянной сорняк, такой крошечный, что без лупы трудно рассмотреть. Ему даже комара съесть не под силу, только самую маленькую мошку. Катя набрала в коробку 8 растений, выкопанных с землей. Все вместе это похоже на кучку трухи. Но Катя в восторге, она говорит, что найти их страшно трудно. Она излазила все болото.

13/VI.

Позавчера после футбола автобуса ждали тысячи, мы пошли пешком с ребятами. Сначала шли в сплошной толпе, а потом свернули в переулок и вышли на Печорский бульвар. И вдруг вижу, на скамейке сидит та девочка и читает книгу. Я ее сразу узнал, хотя она была в летнем платье. Но вот

что странно — я не ощутил никакого волнения. Сердце не забилось, и дух не перехватило, и не потемнело в глазах, короче говоря, не произошло ни-че-го! Я посмотрел и прошел мимо.

Она тоже, должно быть, узнала. Меня запоминают по хромоте. Ну и прекрасно, сделайте одолжение. Я констатирую, что без шапочки, с волосами, она тоже ничего себе. Но это все, что я могу сказать.

И вот об этом написано столько романов, поэм и пьес?

Я хотел бы получить ответы на след. вопросы:

1) Это всегда проходит так скоро?

2) Если да, то зачем же оно приходит?

3) Почему оно приходит?

4) И что же оно такое?

16/VI.

Катя кормит росянку белком от крутого яйца. В институте у нее большой стол и микроскоп. Росянка живет в ящиках на столе. Катя все время ищет по болотам, и у нее уже много росянок. Я предложил присмотреть в ее отсутствие. Она приняла предложение, но придется перенести ящики домой, т. к. в лабораторию посторонних не пускают.

29/VI.

Народная армия наступает. Ура!
Да здравствует свободная Корея!

4/VII.

Как хорошо без женщин. Тетя Поля не в счет: она не вмешивается в мою жизнь.

Папа ночует на даче. Большинство ребят разъехалось, но кое-кто еще в городе. Они приходят каждый день, и мы сидим где хотим, а не только в моей комнате. Вчера они привели Воробьева из 17-й школы, он дал нам сеанс одновременной игры на шести досках. Днем ходим купаться, а 7-го поедем с ночи на рыбную ловлю.

5/VII.

С росянками никакой мороки. Одного крутого яйца хватает на завтрак нам всем, мне и росянкам. Я раздаю им по крошечке, буквально с булавочную головку. Интересно: положишь крошку на листок, а немного погодя посмотришь — листок уже начал съеживаться. А через два дня там ничего нет, все всосалось, только если на белке пленка, то пленка остается.

Я подхожу к ним с лупой, как часовщик.

6/VII.

Идет сбор подписей под Стокгольмским воззванием. Все спрашивают друг у друга: «Вы уже

подписались?» Происходит обычная история: не достигших 16 лет не допускают подписываться. Когда стоит вопрос о дисциплине, то нам напоминают, что мы уже взрослые, а когда о Стокгольмском воззвании, то мы пацаны. Санников возмущен, я же лично привык к такому положению вещей и отношусь философски.

10/ VII.

Ребят становится все меньше, разъезжаются кто куда. Послезавтра уезжает Санников, досадно.

Кажется, я скоро останусь один.

18/VII.

Интересная штука — улицы. Сколько встречаешь разных людей! Наверно, сотни тысяч. Логически рассуждая, запомнить немыслимо. И тем не менее я различаю много знакомых лиц. Одного старика с портфелем, напр., я встречаю очень часто. Это не тот, который даже в морозы ходит с непокрытой головой и купается в проруби, того все знают. Этот, с портфелем, носит шляпу, у него большие седые брови и седая бородка. Еще одна женщина постоянно попадается мне в самых разных местах, я про нее знаю, как она одета зимой и как летом, а в дождь она надевает голубой плащ с капюшоном. И она меня

знает. И так многие. Я уже столько раз их видел, что однажды нечаянно сказал старику с портфелем: «Здравствуйте». Иногда я начинаю про них придумывать, кто они, где работают, как живут и т. д. На одного человека можно насочинить сколько угодно биографий. И по какой бы улице я ни пошел, я почти обязательно встречаю моих знакомых незнакомцев, так что иногда даже смешно.

А иногда не смешно, а, наоборот, начинает казаться, что в конце концов я познакомлюсь с этими людьми и узнаю о них все и они, м. б., сыграют в моей жизни важную роль.

И в то же время многих, которые живут в Энске и ходят по этим самым улицам, никогда не встречаешь нигде, даже на стадионе. Ни разу, напр., я не встретил Ф. или его жену. Также ни разу не встретил того парня, который приходил в милицию с секретным делом и не знал, государственное оно или же нет. Я его с тех пор не видел. А в сущности, и он, как любой из сотен тысяч, может выйти из-за любого угла…

Глава десятая. Знакомства

Они встретились в кино, у билетной кассы.

Саша нагнулся к окошечку и не обратил внимания, кто там подошел и стал сзади; а когда отвернулся от окошечка, то увидел Сережу. Они переглянулись быстро и заинтересованно, как тогда в милиции.

Саша прошел в фойе. Он обошел витрины с фотографиями, и следом за ним, на расстоянии, хромал от витрины к витрине Сережа. Сережа купил мороженое. Саша тоже купил. Сесть было некуда, все диваны и стулья заняты. Посетители в ожидании сеанса гуляли по фойе, держась правой стороны и образовав плотное движущееся кольцо. Саша и Сережа двигались в кольце, встречались и расходились.

Но в зале они очутились рядом, и тут уж одно из двух — либо знакомиться, либо показать, что мы не имеем отношения друг к другу, у тебя билет за три пятьдесят и у меня за три пятьдесят, вот и вся база для знакомства, мало ли с кем приходится сидеть в кино… Сережа покрутился на стуле и сказал:

— Мы, кажется, встречались.

— Было дело, — снисходительно подтвердил Саша. Они замолчали. Еще горел свет; кругом, рассаживаясь, шумела публика.

— Фу, жара, — сказал Сережа.

— Что? — спросил Саша, не расслышав.

— Я говорю: жарко очень.

— Лето, что сделаешь.

Свет погас, на экране замигали скучные улицы итальянского города, города похитителей велосипедов.

Свет зажегся и осветил суровые и расстроенные лица мальчиков.

Они поднялись, пряча друг от друга глаза, и вышли молча, плечом к плечу в толпе, выносившей их из зала.

После освещенных электричеством душных переходов предвечерняя улица показалась прохладной. Приветливо гудели, пролетая, автомобили. Небо было родное и нежное.

Охваченные единым чувством, они медленно пошли рядом, не разговаривая, остро ощущая, что чувство их едино, и дорожа этим скорбным и светлым, одновременно, чувством.

— А ведь правда, — сказал Сережа дрогнувшим голосом, — когда видишь ту жизнь, то правда же, только тогда как следует понимаешь, что такое

наша жизнь, вы согласны?

— Угу, — ответил Саша.

— Когда у них будет как у нас, — сказал Сережа через квартал, — он, может быть, уже будет взрослым. — Сережа имел в виду мальчика, героя фильма. — Может быть, политическим деятелем будет, вот он вспомнит…

— Страшная вещь — быть без работы, — сказал Саша. Он понимал это, хотя ему не довелось ни лично испытать, ни видеть безработицу.

Они проходили мимо пивного ларька.

— Пиво пьешь? — спросил Саша.

Сережа за свою жизнь раза два пробовал пиво, оно ему не нравилось, и уж во всяком случае ему не приходилось пить на улице; но он ответил небрежно:

— Да, с удовольствием.

«Я ему вы, а он мне ты, — подумал он. — Вот он увидит, я тоже пью пиво, и мне нипочем».

Продавщица налила им две маленькие кружки — Сережа обрадовался, что не большие; они выпили и побрели дальше.

— Ты еще в школе или окончил? — спросил Сережа.

Саша ответил, и Сережа проникся уважением к нему.

— Здорово! — сказал он. — И сколько человек у вас, у тебя в бригаде?

Ему захотелось посмотреть, как складывают дома из блоков, захотелось повести Сашу к себе и сразиться с ним в шахматы. Это было настоящее знакомство — самостоятельный человек, бригадир.

От шахмат Саша отказался.

— С категорниками не сажусь, — сказал он. — Категорники меня бьют. Я ведь шахматами занимаюсь не специально.

Но выяснилось, что у Сережи есть приемник «Нева», и Саша согласился зайти.

— Тогда нам обратно, — взволновался Сережа. — Мы идем совсем в другую сторону.

Они повернули и пошли обратно.

— Я хочу задать один вопрос, — сказал Сережа. — Если нельзя, можешь не отвечать. Что же оказалось тогда в милиции — личное дело или не личное?

— Давай так, — сказал Саша, подумав. — Я отвечу в двух словах. Не личное. Без подробностей, ясно?

— Понимаю, — значительно ответил Сережа. И хотя он не понимал ровно ничего, но его фантазия мгновенно сработала десяток романтических

историй, и ему страшно захотелось узнать хоть немного подробностей.

— Я, — сказал Саша, — не задаю тебе вопросов.

— Я тоже мог бы ответить только в двух словах, — сказал Сережа. — Не больше.

— Ну и все, — сказал Саша.

Они подошли к серому дому старой постройки и поднялись на третий этаж. Сережа отворил дверь своим ключом, и они вошли в большую переднюю с большим красивым окном, фрамуга которого была сложена из разноцветных стекол. В передней было уже не очень светло — день кончался — и все было сдвинуто с места: и зеркало со столиком, и стоячая вешалка, и стулья с резными высокими спинками, — а посредине в сумерках танцевал полотер. Долговязый и худой, он танцевал неустанно и однообразно, его длинные ноги ритмично сгибались в коленях. При входе мальчиков он не прекратил танца, только сказал неодобрительно: «Ходи стороной» — и, танцуя, ушел за зеркало.

— Сюда! — сказал Сережа и повел Сашу по коридору. Навстречу показалась женщина в переднике.

— Я пришел! — на ходу сказал ей Сережа. — Дайте нам чаю, пожалуйста!

Коридор был устлан ковровой дорожкой. В комнатах мебель стояла в чехлах; скатанные ковры лежали у стен, как серые трубы, и вместо них по натертому паркету тоже расстелена дорожка. Видно, здесь любили чистоту и берегли ее.

— А где приемник? — спросил Саша.

— В моей комнате, — быстро ответил Сережа, который боялся, что Саше станет скучно и он уйдет. — Пошли.

Саша не собирался уходить. Ему нравился этот живой парнишка с резким блеском в черных глазах. Он развитой, и с ним интересно. У него вторая категория по шахматам, — для Саши это значило почти то же, что звание гроссмейстера. И было еще в парнишке что-то притягательное — нежное и беззащитное, при всей его видимой независимости.

В его комнате был страшный беспорядок. Везде разбросаны книги, в шкафу они стоят вразвалку или свалены кипами. На полу валяются гантели. Посреди комнаты некрасивый кухонный стол, и на нем ящики с мелкой травкой — не разберешь, с какой. Приемник, роскошный приемник «Нева», о котором мечтал Саша, был еле виден за грудами книг.

— Я не позволяю убирать в моей комнате, —

сказал Сережа, подводя Сашу к письменному столу. — Они всё путают и нарушают мой порядок. После них ничего не найдешь.

С этими словами он движением руки спихнул на пол высокую стопку книг и открыл доступ к приемнику.

— Мировая штука, — сказал Саша.

Он так и не купил себе приемника: мать уговаривала одеться как следует, и он поддался на уговоры, потому что надоело ходить плохо одетым; одной обуви купили три пары, и плащ, и пальто, и костюм, и шелковые рубашки, а на «Неву» денег не осталось.

Он сел и с наслаждением стал ловить волну за волной, ни на одной не останавливаясь, радуясь самому процессу охоты за звуками, которыми полон эфир. Обрывки симфоний, песен и разноязычных речей, вперемежку с грозовыми разрядами, забушевали в комнате. Сережа отступил, смеясь и зажимая ладонями уши. Саша и не заметил этого, оглушенный и увлеченный. Собственный радиоприемник нужно иметь именно для того, чтобы хозяйской рукой шарить в эфире и поднимать такой шум. «Придется купить хоть маленький, — думал Саша, любовно клоня ухо к источнику шума. — От репродуктора никакого

удовольствия».

Сережа тронул его за плечо, он выключил приемник. В дверях, улыбаясь, стояла женщина в переднике.

— Тетя Поля зовет чай пить, — сказал Сережа. — Пошли в столовую.

— Да я сыт, — сказал Саша. Он стеснялся есть в гостях.

— А чаю и сытому выпить можно, чай не еда, — радушно сказала тетя Поля.

— Пошли, пошли! — теребил Сережа.

Долго отказываться тоже было неловко; подумают, что ломаешься. Саша встал нехотя… И вдруг новое впечатление, неожиданное и могучее, ударило его: прямо на него, смеясь, смотрели черные блестящие глаза, похожие на Сережины, но полные радости и счастья. На уровне Сашиного лица, над столом, небрежно приколотый кнопками к стене, висел портрет. Саша только что его увидел. Это было прекрасное лицо, юное, гордое и открытое, — должно быть, смуглое, должно быть, румяное, — смуглость и румяность угадывались даже на фотографии, лишенной красок. Пятнышки света лежали на щеках и на смеющихся губах, — лицо сияло. Все черты выражали силу: и горделиво выгнутая округлая,

стройная шея, и длинные узенькие ноздри, и распахнутые брови, густые у переносья и тонкие у висков… Саша спросил:

— Это кто?

Он спросил нечаянно, он не думал спрашивать.

— Моя сестра Катя, — ответил Сережа. — Вон еще ее карточка. Она чемпион города по метанию диска.

Другая карточка была маленькая и висела пониже первой. На ней был снят во весь рост дискобол и момент броска. Лицо нельзя было рассмотреть; на сером поле выделялась тонкая фигура с длинными ногами и откинутой рукой. Фигура была темная, только на диске белело солнце. На дискоболе были трусики, майка и ленточка в волосах; и больше ничего; и так как это был не какой-то дискобол, а Сережина сестра Катя, смотревшая с верхней фотографии горячими глазами, то Саше стало стыдно разглядывать. Он отвернулся и стал слушать, что говорит Сережа.

— …Причем любопытно, — говорил тот, — что вместо живых организмов они довольствуются крутым белком из куриного яйца, я их кормлю. Великолепно развиваются! Вот посмотри в лупу. — Саша посмотрел в лупу на паршивень-

кую травку, растущую в ящике, и увидел что-то красное и мохнатое. — Настоящие кровожадные хищники, с ними не шути. Но что самое любопытное, это некоторые свойства, которые связаны с проблемой клетки, ты можешь себе представить — Дарвин этого не знал.

— Чай стынет, профессор, — сказала тетя Поля.

— Да, пошли. И вот, как видишь, — сказал Сережа, — я и вожусь с ними, пока ее нет.

— Кого? — спросил Саша.

— Да Кати, это же ее росянки.

Так Катя не здесь! Неизвестно почему, Саша почувствовал неимоверное облегчение. Как будто большая опасность пронеслась мимо. Нет, ему совсем не надо было, чтобы из какой-нибудь комнаты этой незнакомой квартиры вышла Катя.

Но тут же он пожалел, что невнимательно слушал о травке, которая, оказывается, принадлежит Кате. Он не понял, что за травка и для чего нужна Кате.

А Сережа, решив, что росянки гостю неинтересны, завел разговор о Волго-Донском канале, потом перешел на батисферу и говорящих рыб. Он все читал, и до всего ему было дело. Саша разговаривал и пил чай с клубничным вареньем и в то же время вспоминал: «Ну да, в газете было,

ну да, точно, первое место по метанию диска заняла Екатерина Борташевич». (Метанием диска Саша до сих пор не интересовался и сообщение это прочел когда-то мельком, между прочим, но сейчас вспомнил.) «Екатерина Борташевич, вот она, значит, кто, — Катя, Сережина сестра…» И все показалось ему удивительным: и то, что он помнит эти мельком прочитанные газетные строчки, и то, что чемпионка Екатерина Борташевич — сестра мальчика, с которым он случайно познакомился, и то, что она живет в этих комнатах и сидит за этим столом…

Громкий властный звонок прервал его мысли.

— Папа! — воскликнул Сережа, срываясь со стула. Он было сделал шаг, но смутился своего порыва («что за детство!») и уселся снова, говоря:

— Тетя Поля пошла отворять.

Было слышно, как отворили дверь и мужской голос спросил: «Сергей дома?», а голос тети Поли ответил: «Дома, дома». И другой мужской голос что-то сказал, и мужчины засмеялись.

— Кирилл Матвеич, если не ошибаюсь, — сказал Сережа, вслушиваясь, но не двигаясь с места.

Плотный человек хорошего роста, с веселым лицом и седыми висками, широким шагом вошел в столовую. Он поцеловал Сережу, сказал

Саше: «Сидите, сидите», бросил на буфет легкий плоский портфель, снял свой светло-серый пиджак и повесил его на спинку стула. Движения у него были уверенные, хозяйские. Лицо выражало доброту и важность.

— Поля, — сказал он, — быстренько — приготовьте Кириллу Матвеичу душ. А может, ванну тебе, Кирилл? — крикнул он.

— Полюшка, — стонущим голосом сказал Чуркин, входя и тоже стягивая пиджак, — что хотите, душ, ванну, грязному все едино. Все мои Нины разъехались, в квартире ремонт, пожалейте хоть вы.

— А пока она приготовит, давай чайку выпьем, — сказал Борташевич.

— Я лучше потом пивца холодного, — сказал Чуркин. — Будет пиво, Поля?.. А сейчас я бы побрился. Хочу быть красивым.

— Знакомьтесь, — сказал Сережа. — Это мой новый знакомый, бригадир Любимов.

— Ну-ну, — сказал Чуркин. — Здравствуйте. Я вас где-то видел. Видел, а? На постройке. А на какой?

Тетя Поля налила в чашку горячей воды и увела его бриться. Видимо, председатель горисполкома был в этой семье близким человеком.

— Вы на постройке работаете? — спросил Борташевич. На Сашу посмотрели рассеянные глаза с усталой смешинкой. Саша с грустью подумал, что, не будь войны, его отец вот так же приходил бы после работы домой и садился на главном месте, и мать наливала бы ему чай. И было бы с кем поговорить дома, не было бы в помине никакого Геннадия.

— Почему ты не на даче? — спросил Сережа.

— Задержался, совещание, — ответил отец. — Не захотелось ехать на ночь глядя… Ну, а помимо того, мне же все-таки интересно, как ты тут существуешь. Звоню днем — тебя нет.

— Мы, помнится, условились, — сказал Сережа, — что я не отчитываюсь в своих поступках, хотя бы в период июль — август.

— Да боже сохрани! — сказал Борташевич, смеясь глазами. — Разве я отчета требую. Просто интересуюсь по-отцовски, по праву, так сказать, родительского чувства.

— У меня все хорошо, я здоров, — сказал Сережа. — Как тебе нравятся корейские сообщения?

Они заговорили о войне в Корее. Собственно, говорил Сережа, а отец — Саша заметил — только поддерживал разговор и любовался сыном. За круглым столом было светло и уютно. «Хорошая,

должно быть, семья, — думал Саша. — Прекрасная семья!» И ему было грустно и приятно смотреть на них.

— Непременно пойди на «Похитителей велосипедов»! — с жаром говорил отцу Сережа. — Мы сегодня были. Пойди непременно!

Саша допил чай и подумал: пора уходить. Сережа проводил его до угла и взял с него слово, что он придет завтра.

Вечер был жаркий. Из городского сада доносилась музыка. Саша шел, а перед ним то и дело всплывало женское лицо с блестящими черными глазами и светлым пятнышком на смеющихся губах. И хромой мальчик, которому до всего на свете есть дело, и его добрый седой отец, и чужая большая квартира со сдвинутой мебелью, с травкой в ящиках, и этот душный вечер, и фонари — все приобретало особенный, высший смысл, потому что на все светило это лицо. «Первое место по метанию диска заняла Екатерина Борташевич». Почему эти слова наполняли Сашу гордостью, что ему?.. Они сливались с музыкой, доносившейся из сада. Музыка играла все одно и то же: «Первое место по метанию диска заняла Екатерина Борташевич»... Круглые матовые фонари горели жемчужным светом. Звонил за

углом трамвай. В темной впадине ворот смеялся кто-то — будто ворковал — тихо и сладко.

Геннадий шел от Цыцаркина. Фонари расплывались в большие мутные пятна. Мостовая качалась, как палуба: Геннадий выпил.

Он шел медленно, желая привести себя в порядок и собраться с мыслями. Скверная произошла история… Черт ее возьми, лучше бы не было этой истории…

Он сунул руку за борт пиджака, ощупал внутренний карман: вот они, деньги, всучил-таки ему деньги Цыцаркин…

С Цыцаркиным знакомство было устоявшееся, прочное. Цыцаркин обласкал Геннадия с первой встречи. «Что за юноша, ах, что за юноша! — сказал он. — Всю жизнь мечтал иметь такого сына!» Геннадий, только что рассорившийся с семьей и отлученный от дома, выслушал это не без удовольствия.

— Дорофея Николавна Куприянова — ваша маман? — спросил Цыцаркин. — Встречались когда-то… на заре туманной юности… Но — разошлись, как в море корабли… Захаживайте, милости прошу. Заграничными пластинками интересуетесь?..

У него было вольно, никто не навязывал Ген-

надию никаких правил и взглядов. Не хочешь работать — не работай, твое личное дело. Хочешь пить — пей. Выпивка всегда самая лучшая. Хочешь ухаживать за женщинами — ухаживай. Женщины у Цыцаркина бывали разряженные, смешливые, необидчивые. Там играли в преферанс по крупной, небрежно записывая сотенные ремизы. Играть Геннадий не решался, но смотреть — нравилось…

Как-то зимой Геннадий зашел и рассказал, что у них в квартире выиграли по займу десять тысяч. Цыцаркин отвел Геннадия в сторону и сказал, что купил бы выигравшую облигацию. Геннадий разинул было рот, вроде Саши, но Цыцаркин сказал внушительно: «Получишь комиссию; только антр-ну, и меня там не называть, я зайду инкогнито». Геннадий сообразил, что дело выгодное, и решил осчастливить Зину и ее вислоухого мальчишку. Мальчишка смотрит на него как на трутня. Так вот на же тебе!..

Было ясно, что Цыцаркин занимается какими-то делами, за которые не гладят по головке. За глаза Геннадий презрительно называл его: «тип», но… вина у «типа» были хорошие, пластинки самые что ни на есть заграничные, а главное — «тип» относился к Геннадию с уважительным

интересом, даже с любованием, даже хамить разрешал, пожалуйста. «Черт с ними, я не следователь. Кому надо его ловить, те пусть и ловят». Саша заявил в милицию о продаже облигации; Геннадий очень испугался, что в милиции записана его фамилия, и побежал к Цыцаркину. Тот отнесся к сообщению хладнокровно.

— Дурачок, — сказал он про Сашу. — И ты-то хорош. Я был в уверенности, что эти лишние пять тысяч тебе пойдут, что ж ты это так сплоховал?.. Ты, я вижу, тоже… идеалист.

— Я махинациями не занимаюсь, — свысока сказал Геннадий. — Что теперь делать будем?

— А ничего не будем делать. Подумаешь, мальчик заявил. Где факты? Где свидетели? Это же недоказуемо, как миф. Я той облигации в глаза не видал и у тебя не был сроду. Понадобится — полдюжины свидетелей приведу, что я в тот вечер был в кино. Гуляй, Геня, спокойно.

— А если найдут у вас облигацию?.. — спросил Геннадий.

— Ей-богу, — сказал Цыцаркин, — ты меня принимаешь за ребенка.

Все-таки с месяц Геннадий нервничал, что вот-вот придет повестка — явиться в милицию. Потом стал нервничать, что повестку не несут:

спросили бы, он бы заявил, что знать ничего не знает, и конец делу… Дальше страхи прошли, происшествие забылось.

А Цыцаркин стал с ним еще ласковей и, так сказать, родственней. Устроил его, как обещал, в автопарк на промтоварную базу и по временам осведомлялся с заботой:

— Денег не надо ли, Геня? Антр-ну, ведь дело молодое, того хочется, этого хочется… Говори прямо.

— Да нет, спасибо, — отвечал Геннадий.

Ему хотелось этого и того, но брать у Цыцаркина он боялся. Возьмешь, а там, чего доброго, угодишь в неприятности…

В описываемый вечер он провел у Цыцаркина часа два. Накануне, на работе, Цыцаркин заглянул к нему и сказал: «Заходи вечерком, приобрел пластинки Лещенко[1] нечто из ряда вон…» Кроме Геннадия, были всего два гостя. Одного Геннадий и раньше видел — тот служит под начальством Цыцаркина на базе, на какой-то пустяковой должности. Его кличут Малюткой, потому что он маленький и узкоплечий, как восьмилетний мальчик; маленькое, без растительности,

---

[1] Сноски: 1

Имеется в виду Лещенко П. К. (1898–1956). — *Ред.*

мертвенное лицо; вечно в грязной вышитой косоворотке, на голове старая, затасканная тюбетейка; кажется, под тюбетейкой тоже никакой растительности… Рука, которую он подал Геннадию, была неправдоподобно крошечная и холодная как лед. Голос слабый, писклявый…

— Изумрудов! — шумно выдохнул, знакомясь, второй мужчина, и от его движения по комнате прошла волна парикмахерских ароматов. Этот был щеголеватый, отлично выбритый, отлично откормленный, даже на взгляд весь мягкий, как тесто: мягко вываливался живот поверх кожаного пояса; мягко круглились под трикотажной рубашкой пухлые женские плечи; мягко шлепали одна о другую мокрые толстые губы; и глаза, очень большие и очень выпуклые, в частых, прямых, как у теленка, ресницах, казались двумя мягкими пузырями… Ему было жарко, он таял, как конфета, сидел раскисший, томный, а чуть двинется — по комнате разливалось густое одеколонное благоухание, и Малютка тонко чихал: ти! ти!

Геннадий выпил коньяку, послушал песни Лещенко — загрустил… Цыцаркин стал говорить, что как это, право, так распорядились, что единственный сын брошен на произвол судьбы, а

чужая женщина — кому она нужна — оставлена в семье. И мягкий Изумрудов говорил что-то сочувственное, шлепая губами и редко, медленно помаргивая телячьими ресницами. Геннадий выпил еще рюмку и стал куражиться, заявляя, что плевал на всех, кто его не ценит, пусть они провалятся. Цыцаркин говорил: «Правильно!» — и гладил его по спине, как кошку. А Малютка ничего не говорил, но неотступно смотрел на Геннадия, все время Геннадий ловил этот тусклый, ничего не выражающий взгляд…

Пили, говорили… «Что, хорош у меня сынок?» — восхищенно спрашивал Цыцаркин.

— Хорош, — слабым голосом пискнул Малютка.

— Хорош! — томно улыбаясь, прошлепал губами Изумрудов.

— То-то!

…Как вышло, что он взял у Цыцаркина деньги? На что он их взял? Как будто на поездку на теплоходе? Или еще на что-нибудь?.. Боялся, боялся, а тут выпил и взял, да еще при этих рожах… О, дурак, ведь он и расписку выдал Цыцаркину!..

При воспоминании о расписке хмель соскочил с Геннадия; голова перестала кружиться, фонари приняли нормальный вид и стали на свои места.

«Вернуть, вернуть! И пусть отдает расписку, старый навозный жук!..» Он оглянулся, свернул на бульвар, прошел мимо парочек, шептавшихся под вязами, опустился на свободную скамью и, достав деньги, пересчитал их…

«Вернуть, конечно… Но, собственно, обязательно ли сейчас возвращать? — мелькнула мыслишка. — Будет случай — верну, безусловно, какой может быть разговор… Почему непременно сейчас? Цыцаркин вон каким орлом держится, разве он так держался бы, если бы с ним было… неблагополучно…»

Он встал и в раздумье зашагал дальше.

«…Безусловно, он держался бы иначе… Я трушу неизвестно чего…»

«…На теплоходе проехаться — это, в общем, мысль…»

«…А может, в Крым? Не в санаторий, а так… зажиточным туристом…»

«…Не дадут отпуск, недавно поступил… Ну, пусть дают без сохранения содержания…»

«…И я вот что сделаю — я матери куплю хороший подарок…»

Он увидел улыбку матери и услышал ее голос. И обнаружил, что стоит на Разъезжей, неподалеку от родного дома. Вон куда забрел — машинально,

по старой привычке…

С Нового года он не был тут, предпочитал заходить к матери в горисполком. Повидаешься, поговоришь и уйдешь. Меньше укоров, меньше неприятных слов, не испытываешь неловких встреч с Ларисой.

Как ни убежден человек в праве своего сердца любить и не любить, а есть неловкость в этих встречах.

«Да нет, Лариса ничего, — подумалось сейчас, в минуту сомнения и робости. — Славная, преданная… Самые близкие люди ссорятся… потом мирятся…»

Он войдет, они все за ужином. Он спросит: «Ну, как вы тут?» Они станут его ласкать, угощать. Мать от радости будет бегать, как девочка.

Засидятся, он соберется уходить, они погрустнеют, и мать скажет: «Да ночуй, Геня. Куда так поздно? Трамвая уже нет». Пожалуй, он останется, поживет с ними… под материнским крылом…

Он увидел дом издали. Окошки освещены, все дома, никто не спит — у нас всегда ложились поздно.

Как в прошлый свой приезд, он подошел и заглянул в окно. Никого. Значит, ужинают на веранде. Он толкнул калитку и вошел в темный

двор. На веранде света нет. Невозможно знакомо щелкнула щеколда калитки. Темнота пахла цветами табака.

Ни голосов, ни шагов. Между белеющими впотьмах табачными звездами он прошел дорожкой к задней двери. Она была не заперта. Но только он ступил на веранду, как голос тетки Евфалии закричал из комнат:

— Кто там?

— Я, я, — сказал, входя, Геннадий.

Тетка Евфалия подметала в столовой.

— О-о, где ж ты раньше был! — горестно сказала она, не дав ему поздороваться. — Только что уехала.

— Мать уехала? — переспросил он.

— Я же тебе говорю: только-только уехала.

— Надолго?

Евфалия бросила веник, распрямилась и подбоченилась.

— На курсы Цека Ве-Ка-Пе-бе, в Москву, — ответила она степенно. — А сколь там придется задержаться, дело покажет. Здравствуй, Геня.

Она поцеловалась с ним.

— Ох, какой стал мужчина!.. Давно я тебя не видала. Не бываешь, отвык… Покушать дать? А девочки провожают… Я тебе яишенку сделаю, со

шпигом или без?

— Когда уходит поезд? — спросил Геннадий.

— Говорили что-то — в ноль часов сколько-то минут. Да не успеешь! Они машиной поехали…

Но он уже сбегал с крыльца.

Он не мог бы ответить — почему, но он должен был увидеть мать перед ее отъездом!

Он шел под крыло, а крыло ускользало…

Он мчался со всех ног. На Октябрьской посчастливилось поймать такси. Поезд уходил в ноль сорок. Геннадий выбежал на перрон за шесть минут до отхода.

И почти сразу увидел мать. Она стояла у вагона с букетом цветов и счастливо улыбалась ему: она его тоже увидела сразу.

— Вот он! — с торжеством воскликнула она, свободной рукой обвила его шею, притянула и поцеловала. — Я говорила — он придет! Я тебя все время жду.

Он поцеловал ее горячо, по-настоящему тронутый. Она была приподнятая, праздничная, благодарная ему за то, что своим приходом, своим поцелуем он избавил ее от огорчения, от грустных мыслей… «Знаете что? — говорило ее воинствующе-энергичное лицо, — давайте-ка нынче без неприятностей, я вот в Москву еду и ра-

да, мне, видите, какие цветы принесли, — не хочу на сегодняшний день неприятностей, и все!»

— Мальчик, родной, ненаглядный мой, — быстро прошептала она ему в ухо, целуя.

— Молодец, Геня, что приехал проводить, — стальным голоском сказала Юлька. — Как твои дела? Все в порядке? Ну, хорошо…

Юлька, Лариса, Андрей, еще какие-то люди — должно быть, сослуживцы матери — стояли рядом. Геннадий поздоровался. «Мой сын!» — радостно говорила мать, представляя его незнакомым… Рука Ларисы была отчужденная, боязливая. Он слегка сжал ее пальцы; они неприязненно отдернулись…

Посадка кончилась, отъезжающие входили в вагоны, какой-то гражданин с чемоданом выскочил как ошпаренный из здания вокзала и мчался вдоль поезда. Мать взяла Геннадия за руку и крепко сжала.

— Нагнись, — сказала она. — Геничка, я устала, что ты на отшибе. В одном городе и врозь, зачем, с какой стати? Лариса, возможно, выйдет замуж. Нагнись. Он хороший человек…

— Внимание! — сказало радио и отдало предотъездные распоряжения.

— А ты будешь с нами. И все войдет в нор-

му, — властно сказала мать, быстро простилась с провожающими и вошла в вагон.

В освещенные, с полуопущенными рамами окна было видно, как она прошла по вагонному коридору, заглянула в купе и положила букет на столик. Потом подошла к окну, поднялась на цыпочки, и поверх рамы взглянули ее счастливые глаза.

— Вот как я вас вижу хорошо, — сказала она.

— Ты пиши, — сказала Юлька. — А то у тебя привычка: уедешь, и ничего даже не известно, как ты и что.

Свистнул паровоз, поезд тронулся.

— Папе передавайте привет, — сказала мать.

Провожающие пошли рядом с вагоном. Мать махала рукой, поезд пошел быстрей, рука исчезла.

— Все! Проводили! — сказал Андрей и взял Юльку под руку.

А Лариса взяла под руку незнакомого человека, некрасивого, с морщинами на лбу и с озабоченным выражением лица. «Уж не за этого ли собирается? — подумал Геннадий. — Убила бобра...»

— Геня! — окликнула Юлька.

Ей стало его жалко, что он один, когда они все

вместе. Он нехотя приблизился к ней.

— Пойдем с нами, — сказала она. — Расскажи, как ты поживаешь.

— Да ничего, — пробормотал он, — а ты как?

— У меня экзамены с первого, — сказала Юлька. — Я подала в учительский. Не знаю, как будет. В этом году колоссальный конкурс.

Геннадия не волновали ее заботы. Возбуждение его улеглось, на смену пришла усталость, захотелось спать. Он смотрел на Ларису, как независимо она идет впереди об руку с незнакомым ему человеком, и думал: «А как страдала, когда я разлюбил. Говорила — жить не хочется».

— Я на трамвай, — сказал он. — Пока.

Они стояли на привокзальной площади.

— Ты приходи, Геня, — сказала Юлька.

— А то ты без меня скучаешь, — поддел он.

Она прямо посмотрела ему в глаза.

— Нет, не скучаю, — сказала она. — Но мама и папа скучают. И ты с этим обязан считаться.

Трамвай только что отошел, на остановке у фонаря никого не было. Перейдя площадь, Юлька оглянулась. В ней теснились неясные, расслабляющие чувства; она старалась победить их доводами разума. И уж вовсе неразумной была боль, уколовшая ее, когда, оглянувшись, Юлька

увидела на ночной площади, под фонарем, высокую фигуру брата.

Глава одиннадцатая. Пожар

Хоронили полковника милиции.

Павел Петрович не любил похорон и остановился у края тротуара только потому, что погребальная процессия преградила ему дорогу. Потом он догадался, что хоронят того человека, о смерти которого ему рассказывал его сосед Войнаровский. Павел Петрович поискал Войнаровского среди людей, шедших за гробом; но его там не было.

Гроб стоял на грузовике, убранном красными полотнищами с черной каймой, и весь был закрыт венками. Грузовик двигался очень медленно. Впереди шли милиционеры с медными трубами. Они играли траурный марш Шопена. Сзади шли милиционеры без труб, правильными рядами, в ногу, хоть и медленно. Ноги в сапогах поднимались враз и глухо опускались в такт маршу.

За милиционерами, отступя, шла небольшая горсточка штатских, а в хвосте тащились легковые машины.

Трамваи остановились, из них смотрели люди.

Павел Петрович постоял на краю тротуара,

пока длинная процессия с музыкой и высоко поднятым гробом в цветах не проплыла мимо; тогда он перешел улицу и пошел домой.

Он жил неподалеку, в новом доме, в одной квартире с Войнаровским.

У них было по комнате в этой двухкомнатной квартире, а передняя и кухня общие. Павел Петрович получил ордер почти одновременно с Войнаровским. Они познакомились и сдружились, насколько возможна дружба между людьми, которые мало бывают дома.

Войнаровский был идеальным соседом. Он был холостяк, как и Павел Петрович, но заботливо относился к быту, а все маленькие удобства, которые скрашивают холостяцкое существование, были введены по его инициативе. Он приобрел штопор, консервный нож, электрический чайник и электрический утюг и предложил Павлу Петровичу пользоваться этими важными предметами. Он научил Павла Петровича гладить и внушил ему, что при любых обстоятельствах уважающий себя мужчина обязан выходить из дому со складкой на брюках; и они по очереди гладили брюки на кухонном столе, подстелив одеяло, которое купил для этой цели Павел Петрович. Время от времени в их квартире появлялась дворничиха;

она мыла пол и вытирала пыль. Она же стирала им белье. Оба были чистоплотны и брезгливы, как старые девы.

Павел Петрович чувствовал к Войнаровскому приязнь и интерес не только потому, что тот помог ему благоустроить быт. Войнаровский был человек занятный. Хотя Павел Петрович не наблюдал Войнаровского в его служебной деятельности, но понимал, что эта деятельность требует смелости, решительности и подвижности ума. У Войнаровского были порывы: так, например, под Новый год, когда они только что перебрались в эту квартиру и у них даже мебели еще не было, Войнаровский вдруг объявил, что без елки нельзя, как же без елки, бросился на ночь глядя искать по городу и принес большое некрасивое дерево. Оно стояло в его комнате, он повесил какие то шарики и говорил: «А все ж таки приятно». А потом дворничиха уволокла дерево, засыпав лестницу хвоей.

Кроме того, у Войнаровского была биография, которую нельзя не уважать. Во время войны он по поручению партии работал в тылу врага, руководил партизанским отрядом. Павел Петрович, человек книжный и умозрительный (он самокритично считал себя таким), слушал вдохновенно,

когда Войнаровский с беззаботной легкостью рассказывал ему эпизоды своей военной жизни.

Павел Петрович вошел в свою комнату и положил на стол тетради, которые принес с собой. Не у всех его учеников в вечерней школе с русским языком обстояло блестяще, и он занимался с ними на каникулах.

Затем Павел Петрович взял мохнатое полотенце, отправился в кухню и смыл с себя пыль и пот летнего городского дня. Для этой процедуры Войнаровский приспособил резиновый душевой аппарат, похожий по конструкции на клистирный.

Надев чистую рубашку и расчесав мокрые волосы детским гребешочком, Павел Петрович, помолодевший и похорошевший, уселся за свой стол и открыл том Ушинского. Он готовил кандидатскую диссертацию о вечерних школах.

Его жизнь была строгой и целеустремленной. Когда-то, студентом, он был жестоко влюблен; девушка предпочла другого, футболиста с могучими ногами. Она вышла замуж за футболиста, хотя он только и умел, что гонять мяч по полю.

Когда-то Павел Петрович писал стихи и даже напечатал несколько. По молодости ему казалось, что у него талант: удивительно легко приходили

рифмы… Став старше, понял, что нового слова в поэзии сказать не может. Тогда он запретил себе рифмовать: он слишком любил поэзию, чтобы оскорблять ее версификаторством.

(Впрочем, он поощрял стихотворные занятия своих учеников, считая, что это способствует их эстетическому развитию, и сам руководил молодежным литературным кружком.)

Серьезно относясь к жизни и к себе, он соглашался только на полноценные вещи, что бы то ни было — работа или чувства. После той юношеской любовной неудачи его ни разу не посетила любовь всепоглощающая; а всякая другая казалась ему, воспитанному на высоких литературных образцах, не стоящей того, чтобы ей отдаваться.

У Куприяновых он бывал потому, что ни в одном из знакомых семейств его не встречали так душевно и не были к нему так внимательны; а человек бессемейный ценит эти вещи. Там его окружали симпатичные лица. Там Павел Петрович, освоясь, говорил на любимые темы — об искусстве, о воспитании, и его внимательно слушали. С Ларисой Павел Петрович ощущал себя как со своими учениками: очень взрослым. Ее суждения о поэзии были ребяческие, школьные. Ее влюбленности он не замечал. Он проводил в

этой семье час-полтора, пил чай и уходил к своей диссертации. И в этот вечер он занимался ею.

Он читал, думал и делал выписки, а тем временем день догорал, по стене кирпичного дома, что напротив, все выше поднималась вечерняя тень, огненный кирпич становился серым, ярус за ярусом потухали окна, воспламененные закатным солнцем, и наконец оно ушло за ту крышу, под которой сидел Павел Петрович. Читать стало темно. Не отрывая глаз от книги, он протянул руку и зажег настольную лампу под зеленым абажуром.

Хлопнула входная дверь — это Войнаровский, сосед. «Больше не придется работать», — подумал Павел Петрович. Когда Войнаровский бывал вечером дома, они чаевничали вместе.

И действительно, Войнаровский вскоре постучался и вошел, говоря:

— Кушать подано.

В одной руке у него был огурец, и он с хрустом грыз его белыми зубами. Лицо у него молодое, голубоглазое, ясное, с девичьим румянцем.

— Идем, идем… пастырь. Есть хочется зверски…

— Почему пастырь? — спросил Павел Петрович, прибирая свои бумаги.

— А чем не пастырь? Ну, сеятель, если вам

больше нравится. Сеете разумное, доброе… Чистенький: боретесь с пережитками высокими словами высокой литературы; а мы засуча рукава это дерьмо вычерпываем, пережитки… в их вещественных проявлениях. Как у Маяковского? «Я, ассенизатор…»

— «И водовоз».

— Вот-вот. Именно. Это про меня.

Они перешли в кухню.

— Это по какому же поводу? — спросил Павел Петрович, увидев великолепие стола.

На хирургически чистой клеенке было наставлено множество яств: копченый сиг, холодное мясо, холодные цыплята, кильки, огурцы, клубника. Все было аккуратно разложено по тарелкам, хлеб нарезан ломтиками. В центре стояла бутылка водки.

— По одной для начала, — сказал Войнаровский, наполняя рюмки. — Сига особенно рекомендую, упоительная рыбка.

— Да что такое? — допытывался Павел Петрович. — Вы именинник?

— Поводов много, не знаю, с какого начать. Повышение по службе получил — раз. В звании повышение выходит — два.

— Значит, будете майором?

— Значит, майором.

— Большое звание для вашего возраста, — заметил Павел Петрович, который только к концу войны, после безупречной политотдельской службы, дослужился до лейтенанта.

— Да должность такая, что капитану занимать неудобно, вот и представили. Назначен на место, которое покойный полковник занимал, видите, какой поворот.

— Не вздумайте уверять меня, — сказал Павел Петрович, — что вам это не нравится. Вам все это очень нравится — и звание, и место. За дальнейшие ваши успехи.

Они чокнулись.

— Приглашаю вас на новоселье, — сказал Войнаровский.

Павел Петрович глотнул и даже забыл закусить.

— Как на новоселье?

— Переезжать придется, — сказал Войнаровский. — По должности положена и квартира. Здесь мне теперь жить нельзя.

— И скоро переезжаете?

— Завтра утром приедут за вещами. Секретарь сказала, в восемь утра, — у меня теперь свой секретарь.

Он оглядел маленькую кухню, остановил взгляд на душевом агрегате и на расписном украинском кувшинчике — глечике, стоящем на полке.

— Душ я вам оставлю. А хотите глечик? На память. Учтите — он с Сорочинской ярмарки. Я к вам привык, вы знаете?

— Неожиданная новость, — сказал Павел Петрович.

Он имел в виду не то, что Войнаровский к нему привык, и не то, что глечик с Сорочинской ярмарки, а то, что им приходится разлучаться, когда они так прекрасно устроились вдвоем и живут душа в душу.

И он подумал, что у него вряд ли будет другой такой сосед, как Войнаровский, и как много значит для холостяка иметь по соседству, в квартире, подходящего человека.

— Я и решил, — сказал Войнаровский, — что нам с вами надо на прощанье выпить. Вы не обижайтесь, я дам вам дружеский совет: вам следует жениться, Павел Петрович.

— А вам? — спросил Павел Петрович.

— Мне тоже, — серьезно ответил Войнаровский. — Но у меня неудачно складываются обстоятельства… — Он потер рукой лоб. — А у вас, я слышал, обстоятельства складываются удачно.

— Какие, с чего вы взяли?

— Вас видели в театре с женщиной. Женщина хорошая. Муж — дрянь, а она хорошая женщина.

Павел Петрович начал краснеть.

— Это совершенно не то… Совершенно не те отношения.

— Да? А вообще вы думали о женитьбе?

— Думал.

— И к какому пришли заключению?

— Я пришел к заключению, что жениться надо в том случае, если в человеке ощущаешь необходимость.

— Золотые слова, — сказал Войнаровский задумчиво.

— Если без какого-то человека не мыслишь себе существования. Тогда — да. Если же вы можете существовать без человека, а все-таки женитесь, то это обман, самообман, не стоит говорить.

— Ну, не стоит, так и не будем, — сказал Войнаровский. — Но жаль: я бы хотел вас выдать замуж. Вы засиделись в девушках.

— А вы?

— Я моложе вас. И у меня — особь статья, я уже сказал… Что же мы не пьем? Помянем моего полковника. Очень хороший был человек, хотя и бездарный в нашем деле.

— Почему бездарный? — спросил Павел Петрович, закусывая сигом.

— А почему люди бывают бездарные? Не на своем месте находился.

— Как же он держался?

— На помощниках, как все такие начальники держатся… Он по натуре сеятель был, как вы. Тоже, между прочим, лекции читал, у нас на курсах, сержантам, очень любил… И детей любил до чрезвычайности.

— А вы любите детей?

— Кто ж их не любит. Только я иначе, чем он. Без — как бы сказать — без слюнотечения. Я их уважаю.

— Конечно. И я уважаю.

— Опять-таки не так. Я за ними признаю ответственность. Понимаете, нормальный разумный мальчишка не должен чувствовать себя растением, которое поливают, укрывают рогожами и так далее. Вы и большинство педагогов стоите над ними как садовники. А он человек и должен чувствовать себя человеком. Он должен разговаривать с вами как мужчина с мужчиной.

— И девочки тоже. Девочку особенно полезно научить, чтобы она разговаривала с мужчиной как мужчина. Вообще говоря, это легко. Ребята

терпеть не могут, когда с ними обращаются как с детьми.

— Ну, это как когда. Они народ хитрый. Сплошь и рядом играют на своем возрасте, это я вам говорю из личной практики.

— У вас очень однобокая практика.

— Какая есть, Павел Петрович… Да, так вот к покойному полковнику они в таких случаях и обращались. Прорвется к нему, бывало, шкет — они ведь к кому угодно прорвутся, — скажет детским голосишком: «Дяденька!» — у полковника сразу сердце тает: «Что тебе, детка?» А за деткой уже черт знает сколько приводов числится… Вы не обратили внимания — за гробом штатские шли. Такие приличные молодые граждане. Это вот они самые, которых он вернул на путь гражданства. Пришли воздать последний долг.

— А вы говорите — он был бездарен.

— Я вам сказал, что он был хороший человек и сеятель, а в нашем деле этого мало. Что детишки!.. Эх, Павел Петрович, вы не представляете, с каким навозом иной раз приходится дело иметь. Уж как я себя от чувствительности отучаю… и то шарахнулся, раскрывши одно… обстоятельство. Кстати, полковник, вполне вероятно, из-за этого обстоятельства и погиб. Разволновался, сосудики

и не выдержали. Ассенизаторам волноваться нельзя… А давайте выпьем за ассенизаторов!

На глазах у него показались слезы. Павел Петрович слегка удивился: он не замечал за Войнаровским сентиментальности.

— Когда-нибудь, — сказал Войнаровский, держа рюмку в руке, — нам скажут: ваши услуги больше не требуются; потрудитесь переквалифицироваться. Я стану врачом-психиатром… А может, и психиатры будут не нужны? Тогда я стану учителем литературы… или даже музыки. Садовником! Там посмотрим… Выпьем за то, чтобы это было поскорей!

И они выпили за то, чтобы это было поскорей.

— А пока что, — сказал Войнаровский, — будем делать наше дело. Когда меня назначили по этому ведомству, я, надо сказать, смалодушничал: отказывался, умолял, даже поплакал ночью — вот, мол, вся цена, какую я себе заработал…

— А теперь вам нравится.

Войнаровский ответил не тотчас. Он внимательно потрошил кильку, обдумывая ответ.

— Сосудики у меня, во всяком случае, не лопнут, — сказал он. — А насчет «нравится», так что ж, — человеку должна нравиться его работа, иначе это не жизнь… да и не работа. Полковник

нашу работу не любил — и работал худо, и жизнь была без сладости.

Он выпотрошил кильку, отрезал у нее голову и хвост и отодвинул их на край тарелки.

— Пришлось мне недавно беседовать еще с одним пастырем, — сказал он, — с пастырем совсем по другой части, с батюшкой… священником православной церкви. Передовой такой батюшка, на конференцию сторонников мира ездил, Энгельса читал, очень осуждает позицию Ватикана… Так он красиво выразился: «Я, говорит, сопровождаю уходящую из мира идею, в этом моя общественная функция…» Да. А я сопровождаю уходящий порок. Только он сопровождает с крестом, а я с метлой и шлангом. Ну и нравится! Ну и что? Ведь интересно! Вот, к примеру: один рабочий — ваш ученик, кстати, я у вас на столе тетрадку видел с его фамилией — выиграл он, значит, по займу. Некий Икс купил у него эту облигацию по черной таксе, за полуторную цену, — прием не то чтобы распространенный, но достаточно нам известный. Не оригинальный. Вы, конечно, ничего не понимаете.

— Ничего не понимаю.

— Вам и положено не понимать. Зачем вам понимать такую гадость. А дело примитивное.

Наворовал у государства, а тратить боится. Подозрения боится. Люди-то спросят: откуда вдруг такие средства? С чего?.. Он ведь не академик, не герой, а всего-навсего заведующий базой… Вот он и предъявит облигацию: дескать, выиграл десять тысяч. Звон поднимет на весь город! И под видом десяти реализует все пятьдесят, а то и больше, из того, что наворовал. Считать-то его расходы кто будет? Можно и сто тысяч под видом десяти реализовать умеючи… Ваш ученик заявил в органы.

Павел Петрович слушал, мучительно наморщив лоб.

— Наши сотрудники видели этого мальчугана, заходили к нему домой, — он в этой истории не запятнан, честь и хвала садовникам… Нашли мы его по описанию этого Икса. Тянули нитку и нашли… Полковник, горячая душа, хотел его взять сразу, но я не дал. Отговорил. Смысла не было: облигацию Икс припрятал, сидит тихо, как клоп в щели, да и облигация не улика, доказать тяжело… Шуму наделаешь, а доказательств настоящих нет — и ты с носом, а казнокрад гуляет на воле… И чуяло мое сердце, вот чуяло и чуяло, что нитке не конец! Нет, думаю, кроме Икса должен тут быть и Игрек. Непременно должен быть, не могло обойтись без Игрека! Стал тянуть дальше,

на свой страх и риск — полковник против был… Тянул, тянул…

— И что же? — спросил Павел Петрович.

— …и шарахнулся.

— Нашли Игрека?

— Потому и шарахнулся, что нашел.

С загоревшимися глазами Войнаровский поднял рюмку.

— Постойте! — сказал Павел Петрович. — Чем же кончилось?

— Еще не кончилось. Но будет конец. Личное счастье Гната Войнаровского горит как солома, но законность восторжествует. Да будет так.

— Горит личное счастье? — переспросил Павел Петрович. — Почему?

— Да будет так! — повторил Войнаровский, и они выпили.

— А откуда вы знаете, — спохватился Павел Петрович, — что я встретил похороны? Я вас там не видел.

— Я был.

— А я вас не видел.

— Я в форме был, вы не узнали.

В самом деле, когда Войнаровский надевал форму, Павел Петрович с трудом узнавал его. Все его движения менялись, менялась походка и даже

выражение лица.

— Вы тоже для нашего дела никуда не годитесь, — сказал Войнаровский. — Я бы вас и в секретари не взял… За ваше здоровье!

Павел Петрович выпил за свое здоровье, и ему показалось, что Войнаровский гордится перед ним и кокетничает, и захотелось сбить с него спесь и поставить на свое место.

— Вы преувеличиваете ваше значение, — сказал он, помрачнев, — а оно ничтожно, уверяю вас. Послушать вас — в вашем ведомстве решаются все вопросы гражданской морали. Глупости. Не вы устанавливаете законы. Не вы устанавливаете нравственные критерии. Подумаешь, десяток парней, идущих за гробом полковника! А десятки миллионов воспитываются помимо вас, без вашего участия.

— Да разве ж я… — начал Войнаровский.

— Их воспитывают садовники! — повысил голос Павел Петрович и даже встал со стула. — Сеятели, да! Великие и малые сеятели и садовники!.. Вы топчетесь на маленьком поле, маленьком, паршивом сорняковом поле. И все. Все, Войнаровский! Так что… Посмотрите, какое странное небо.

Увлекшись своим монологом, он не сразу за-

метил, как темное кухонное окошко побледнело, порозовело и стало наливаться малиновым светом. Он, собственно, и заметил, и смотрел на окошко, но не придал значения этим переменам, и вдруг они дошли до его сознания:

— Пожар!

Войнаровский обернулся, и в это время в его комнате зазвонил телефон. Войнаровский вскочил и побежал на звонок. Павел Петрович подошел к окошку. Малиновый свет густел, дыма не было видно — горело далеко, — и было тихо, только снизу, из темного двора, доносились встревоженные голоса людей. Войнаровский вбежал, на бегу натягивая плащ.

— Павел Петрович, выпивайте, закусывайте, я поехал, — сказал он, задыхаясь от возбуждения. — У меня вон какие дела, база горит, ловчат, сволочи. Спокойной ночи!

С этими словами он выскочил из квартиры. Павел Петрович не стал выпивать и закусывать. Он надел пиджак и пошел посмотреть на пожар. После войны он не видел пожаров.

Он не знал, что за база и где она находится. Дворничиха, дежурившая у ворот, объяснила, что это на берегу, против городской больницы.

На улицах кучками стояли люди и смотрели на

небо. Многие шли в ту же сторону, куда и Павел Петрович.

Пронеслась длинная пожарная машина. На красном небе заклубились, наваливаясь одна на другую, черные дымовые тучи. Потом они стали опадать, и красный свет стал опадать — пожар кончался. И так как Павел Петрович не сел на трамвай, а идти было далеко, то он прибыл на место происшествия, так сказать, к шапочному разбору.

По переулку, ведшему к реке, трудно было пройти, столько было людей. Здесь горько пахло дымом и щипало глаза. Люди говорили, что выгорела только середина здания и товары, а самое здание цело — старинное, толстостенное каменное здание. Много говорилось о том, какая тревога была в больнице, когда напротив вспыхнул пожар, но больше всего, как всегда в таких случаях, толковали о причинах пожара и высказывали разные предположения на этот счет.

У середины переулка люди стояли тесной толпой: дальше милиция никого не пускала. Павел Петрович постоял в толпе, но ничего не увидел, кроме больших темных деревьев больничного сада с правой стороны. По ту сторону милицейской цепи был Войнаровский, он что-то делал

там непонятное Павлу Петровичу и большинству людей… С той стороны послышалась хриплая сирена, толпа, сжавшись, раздалась надвое, и по узкому проходу выбралась, беспокойно сигналя, машина «скорой помощи». Опять послышалась сирена, уже с другой стороны, «победа» с брезентовым верхом проплыла к месту пожара, милиция ее пропустила, и чей-то голос сказал, что приехал Борташевич.

Павлу Петровичу стало скучно стоять в толпе и ничего не видеть. Он подумал, что лучше бы он поработал у себя за столом, чем ходить по пожарам. Он еще даже не заглянул в тетради, которые днем принес домой… Он представил себе светлые классы, где протекала его деятельность, лица своих учеников и учениц, их глаза, с доверием и ожиданием устремленные на него, — и от души пожалел Войнаровского. После того как он прошелся, ему больше не казалось, что Войнаровский перед ним гордится… Он выбрался из толпы и пошел прочь от переулка, пахнущего гарью и смрадом. Ни за что на свете он бы не хотел быть ассенизатором.

Леонид Никитич Куприянов шел со станции вместе с Квитченко.

Квитченко — его помощник и дорогой человек:

он научил Леонида Никитича петь. Пели русские и украинские песни; пытались, по выражению Квитченко, поднимать и оперные дуэты. Весной записались в хоровой кружок при железнодорожном Доме культуры. Леонид Никитич, идя записываться, беспокоился: Квитченко хорошо, тенора ценятся; а у Леонида Никитича баритон, самый распространенный среди железнодорожников голос; что, как не примут, скажут: «Нам баритонов девать некуда». Сошло — приняли. Леонид Никитич с увлечением посещал спевки… Летом кружок не работал, Квитченко приходил петь на Разъезжую. Дома было тихо. Юлька готовилась к экзаменам в институт. Лариса работала на практике в пригородном поселке. Дорофея после курсов прямо из Москвы поехала в Сочи, в отпуск, — дали путевку…

Так вот, в тот вечер, когда приключился пожар, Леонид Никитич, воротясь из рейса и приняв душ, шел домой. Вдруг небо осветилось, стало розово разгораться, люди заговорили у калиток и в окнах.

— Горит, — сказал Леонид Никитич.

— Где ж бы это горело? — спросил долговязый спокойный Квитченко.

— Не на товарной ли базе, — сказал Леонид

Никитич, всматриваясь в том направлении, где розовый цвет густел и переходил в багряный.

— Точно, база горит! — сказали у калитки.

Промчалась пожарная машина.

— Потушат, — сказал Квитченко.

— А ясно, потушат, — сказал Леонид Никитич.

— Ну, пока, — сказал Квитченко. Он дошел до своего переулка. Леонид Никитич зашагал дальше один и вспомнил, что рассказывала Дуся, — при товарной базе находится автотранспортная, где работает Геннадий. И увидел Леонид Никитич, что подходит к дому, где живет Геннадий. Дуся как-то показала ему этот дом, Леонид Никитич часто ходил мимо, но зайти не тянуло — сын совсем откололся, с отцом при встречах разговаривает обидно-насмешливо, женщина там неподходящего возраста, ну их к богу… Но сейчас Леонида Никитича что-то потянуло зайти: «Дуси нет, случись что с парнем — мы узнаем последние», — объяснил он свое желание увидеть сына и посмотреть на его житье-бытье. И, человек скорых решений, он подошел к воротам и спросил у стоявших там людей, где квартира Любимовой.

Отворила миловидная женщина в светлых локонах, привлекательно одетая, глянула ему в

лицо и испугалась. «Узнала: Генька-то на меня похож как вылитый».

— Геннадий дома?

Она молча отступила, он вошел за нею в переднюю. Испуганно глядя, женщина сказала:

— Его нет… — И, спохватившись: — Да вы зайдите… Зайдите, пожалуйста.

Она взяла кепку из его рук и ввела его в комнату. Тюлевые занавески. Вышитые подушечки. Бумажные розы на комоде. Домовито.

— Садитесь, пожалуйста. Вы Генин папа будете? — спросила женщина с нерешительной приветливостью, а голос ее дрожал от волнения.

«Любит, — определил Леонид Никитич. — Любит нашего оболтуса».

— Точно, папа, — подтвердил он. — Так нет его? Там у них, говорят, загорелось на базе, что ли, — добавил он нескладно, чувствуя неловкость оттого, что не шел, не шел к сыну и вдруг явился незваный и без всякого дела. Женщина взглянула на розовое окно и вскрикнула:

— Горит? На базе? Что вы говорите!.. Да Геня не там. В выходном костюме вышел — значит, в гости или в кино… А может, это и не на базе пожар. Может, знаете, какая-нибудь бочка с бензином, только и всего, — рассуждала она, не то занимая

Леонида Никитича, не то говоря что попало, чтобы унять свое волнение.

— Может, и бочка, — успокоительно сказал Леонид Никитич, видя, как высоко, толчками, поднимается ее грудь. «Боится, чтоб не увел от нее Геньку. За счастье свое дрожит...» — Извиняюсь, имя-отчество...

— Зинаида Ивановна.

— Будем знакомы, Зинаида Ивановна. Ну, как тут Геня живет?

— У него все благополучно, — заторопилась она. — Все слава богу. Думал вот на курорт съездить, да отпуска не дают, срок не вышел, недавно служит... Он, может, скоро придет, вы подождите... Чайку не желаете?

— Нет, благодарю, — сказал Леонид Никитич, который терпеть не мог пить чай в гостях, потому что там всегда давали жидкий.

— Может, желаете посмотреть Генину комнату?

— Ну, покажите, — согласился он, не зная, о чем с нею говорить.

Она отворила дверь в соседнюю комнату — там тоже были подушечки, занавесочки и бумажные розы — и сказала благоговейно:

— Вот тут Геня живет.

«Раба его, совершенная раба», — подумал Леонид Никитич. Вслух похвалил ласково:

— Хорошая комнатка, очень хорошая комнатка.

— Наша теневая, — говорила Зинаида Ивановна, — а эта, обратите внимание, на юго-запад, такая солнечная, сколько солнца в городе есть, оно все тут. Летом, конечно, не особенно приятно, я предлагала Гене поменяться временно, но ему в нашей неудобно, потому что возле кухни…

Ее, видимо, ободрил его ласковый тон, дыхание у нее стало ровнее, и она без умолку говорила о Геннадии. Леонид Никитич сидел против нее на диване и слушал, поддакивая: «А! Да? Ну-ну».

— Геня добивается, чтоб дали отпуск хотя бы без сохранения содержания.

(«Ясно, зачем содержание, Дуся семь шкур с себя снимет, только он ей намекни…»)

— Расстроен, что не дают. Очень хочется отдохнуть…

— Это от чего же отдохнуть? — сорвалось у Леонида Никитича.

Зинаида Ивановна умолкла, приоткрыв свой свежий рот, в котором поблескивал золотой зуб.

— С чего он так устал? — ворчливо допытывался Леонид Никитич.

То он было встревожился за сына, услыхав о пожаре на базе; а то стало досадно, что сын разгуливает где-то в выходном костюме, когда его предприятие, может быть, горит. И первое, и второе чувства были нелогичны, но когда же чувства бывают логичными.

— Переработался, что ли?

— Так ведь это, знаете, так говорится — отдохнуть, — сказала она растерянно. — Едет человек на курорт, говорят: поехал отдыхать.

Он коротко засмеялся:

— Так говорится… Ну-ну.

(«Славная баба, а дура. Окрутил ее Генька — лучше не надо».)

Стало ее жалко, решил поучить уму-разуму.

— Не меняется Геннадий, — сказал он, встав и похаживая по комнате. — Вижу, нисколько не меняется — каков был, таков и есть. Удивительно! Будь мы бывшие помещики или капиталисты, тогда бы понятно. А ведь я, чтоб вы знали, с четырнадцати лет в депо, мать его чернорабочая была, а он типичный эксплуататор, Зинаида Ивановна, по всем вашим высказываниям.

Она слушала со вниманием, ее небольшие серо-голубые глаза следили за ним неотступно, и на простоватом румяном лице выражалась

усердная работа мысли.

— Ну что вы, — сказала она, улыбнувшись. — Какой же он эксплуататор. Что ж тут плохого, если ему на курорт хочется? Это ведь всем хочется. Ничего в нем такого нет, — закончила она с горячностью.

— Добрая вы душа, Зинаида Ивановна. А вот я с ним ужиться не мог. Не смог перенести его эксплуататорской сущности! Попирает, понимаешь, мать, попирает жену и меня попирать норовит!.. Мы с ним разошлись… не совсем по-хорошему. Что поделаешь? В семье не без урода…

Зинаида Ивановна в изумлении всплеснула руками:

— Господи!.. Какой же он урод! Такой красавец!..

— Отношение его к людям уродливое.

— Какое особенное отношение?.. Жену каждый может разлюбить, вон сколько в газете объявлений о разводах, — сказала она и покраснела. — Немножечко эгоист он, это правда, так это от красоты: женщины избаловали. — Покраснела еще гуще и потупилась.

— Вот вы его этим еще хуже портите, — строго сказал Леонид Никитич, останавливаясь перед нею.

— Чем? — спросила она, подняв взгляд, полный тревоги.

— Этим самым. Защитой. Геннадий нуждается не в защите, а чтоб его держали в ежовых рукавицах, вот он в чем нуждается. Поскольку вы старше… («Ф-фу! Это не нужно было говорить!») — Попытался внести поправку: — Поскольку он моложе вас… — Серо-голубые глаза налились слезами, но Леониду Никитичу уже не было остановки: — Вы должны повлиять, чтобы он переменил свое поведение. В отношении семьи и так далее.

Леонид Никитич хотел сказать, что от нее зависит сделать Геннадия более внимательным к людям и что от этого ей же, Зинаиде Ивановне, в первую очередь будет польза. Но Зинаиде Ивановне подумалось, что от нее хотят, чтобы она уговорила Геннадия вернуться к жене. Эта молоденькая жена, существующая так близко под защитой его родных, была для Зинаиды Ивановны страшнее атомной бомбы. Зинаида Ивановна закрыла лицо руками; ее круглые плечи затряслись. Леонид Никитич расстроился и сказал:

— Напрасно вы расстраиваетесь, расстройством тут не поможешь.

Он увидел ее бурые от марганцовки и йода

пальцы с короткими ногтями, пальцы рабочего человека… «И чего я лезу, какой прок?..»

Она разняла пальцы, открыла мокрое, несчастное, враз поблекшее лицо, сказала с жаром:

— Чего вы хотите?! — и зарыдала в голос.

— Да Зинаида Ивановна, да голубушка, да хватит, честное слово! — взмолился Леонид Никитич. — Ну, я извиняюсь, ну, не будем больше на эту тему!

Она словно ждала, чтобы с нею заговорили ласково, перестала рыдать и высморкалась. Еще всхлипывая, достала из шкафа пузырек, накапала в рюмку валерьянки, выпила и улыбнулась Леониду Никитичу виновато и доверчиво, будто они отлично объяснились и между ними теперь полное понимание. Веселым голосом опять предложила чаю, потом спросила: «А может, желаете, я за водкой схожу?» Но ему было совестно, грустно, и он устал. Да и поздно было. Он ушел.

Пожар, как они с Квитченко предсказывали, уже потухал. Ничто не мешало Леониду Никитичу до самого дома думать о сыне, о Зинаиде Ивановне, жалеть ее, жалеть Ларису… Сумбурно и горестно было на сердце. Но вот он дома, он ложится на широкую постель с мягкими подушками. Хорошо! Законное дело — после дежурства

отдохнуть всласть!

Он спит ночь и утро — до полудня. Домашние стерегут его сон. Ставни в доме закрыты, в узких полосках света, врезающихся между створками ставен, ярко вырисованы — где лист фикуса, где тоненькие рюмочки, стайкой сгрудившиеся за буфетным стеклом. От рюмочек брызжут на стены радужные зайчики. Евфалия, разутая, ходит по прохладному полу, чуть поскрипывая половицами; осторожно двигает посудой в кухне. Стучит щеколда калитки, Евфалия спешит на веранду навстречу соседке, пришла соседка вернуть должок — стаканчик уксуса…

— Хозяин спит, — предупреждает Евфалия вполголоса, и они шепчутся на веранде. Из спальни слышится кашель. Юлька достает из буфета отцовскую большую чашку с коричневой трещиной и накладывает варенье в вазочку. Леонид Никитич выходит из спальни, благодушно спрашивая:

— Ну, что нового, семья?

Во дворе у крыльца уже шумит самовар с высокой трубой: дома Леонид Никитич не признает чая из чайника, чайник — это для рейса…

С годами, постепенно сложились привычки. Леонид Никитич требует, чтобы эти привычки

уважались. Глава, работник, кормилец любит чай из самовара, так потрудитесь, будьте любезны, обеспечить ему самоварчик!

Он пьет крепкий чай, закусывает вареньем, выходит во двор посмотреть, где что расцвело… Под вечер приходит Квитченко. Они садятся на заднем крылечке, в тени, над душистыми грядками с табаком и резедой, и поют: про гарбуз и дыню — гарбузову господыню, и про тройку удалую, и про дождик, — много хороших песен поют.

Глава двенадцатая. Я люблю, ты любишь, он любит

Катя Борташевич шла босиком по пыльной дороге, лицо ее горело от жары и негодования. Этот отвратительный агроном опять приехал к ним на участок, где в нем совершенно не нуждались, специально приехал, чтобы на прощание еще раз опоганить Катю своими взглядами и своим присутствием. Он давно повадился являться туда, где работала студенческая бригада, и хотя почти не разговаривал и стоял в стороне, но Катя, работая, всей кожей чувствовала, как по ней ползет его взгляд. И из себя выходила при мысли, что и другие это видят и связывают его с нею, — что за мерзость! Разумеется, она ни с кем на эту тему не говорила, и, когда ребята однажды стали подшучивать, что агроном в нее врезался, она закричала: «Я сию же минуту уезжаю, если не прекратится этот разговор!» Девчата вступились за нее, и разговор прекратился.

Сегодня вышло особенно гадко, потому что из-за жары они все разделись и работали налегке, в трусах и майках. Очень хорошо было от сознания,

что недаром провели здесь две недели и недаром ели колхозный хлеб, — сено убрано по-хозяйски, со знанием дела. На радостях запели «Широка страна моя родная», напрягая голоса изо всех сил, чтобы песня дальше неслась по простору; поднялся смех, веселье. Катя чуть не зарыдала от злости, когда из-за горки вдруг выехал на лошади агроном.

До сих пор она не находила в наготе ничего стыдного. Ей нужно, чтобы к ее коже прикасался ветер, солнце, вода; она без этого не может существовать. Ни зноя, ни холода не боится и привыкла ходить полуобнаженной по городу во время спортивных парадов. Бедняги, не участвующие в парадах, стоят шеренгами по краям тротуаров. Стоят со своими немощами, одышками, мозолями, флюсами и еще чем-то, о чем Катя не имеет представления; и смотрят на счастливцев, гордо несущих напоказ свои стальные, легкие, без единого изъяна тела. Катя знает, что ее тело прекрасно. Но никто не имеет права рассматривать ее такими глазами, как этот агроном. Он вообще омерзительный — старый, пухлый и дряблый, руки у него как подушки.

— Могу подвезти кого-нибудь, — сказал он неуверенно, когда студенты сложили последний

стог и собрались уходить. — Вы не устали, Катя?

Не наглость ли? Катя сделала вид, что не слышала, и повернулась к нему спиной. Юра Смолян, который из всего умеет сделать цирк, сказал:

— Я устал. Подвезите меня.

И расселся впереди агронома, а проезжая мимо Кати, подмигнул ей и оскалил зубы. Она засмеялась — она не умеет не смеяться, когда смешно, — но гнев клокотал в ней…

Пыль на дороге была глубокая, теплая, такая тонкая, что вздымалась при малейшем прикосновении, как серая кисея. Знойный воздух стоял недвижно. Солнце жгло. Студенты шли, скинув обувь и неся на плечах грабли. Агроном ехал рядом и придумывал, что бы сказать еще.

— Вовремя убрали, гроза будет, — сказал он, робко обращаясь к Кате. — У нас грозы грозные — как пойдет кататься Илья-пророк…

Какой еще Илья-пророк? Все это говорилось для того, чтобы оскорбить Катю.

Но тут все, кто шел пешком, то есть все, кроме агронома и Юры Смоляна, пустились бежать, и Катя с ними: завиднелись верхушки колхозного сада. Сад лежит в балке, с поля его не сразу увидишь; а внизу в балке бьет ключ — от него и название деревни: Ключ. Редко кто, идя этой

дорогой, не спустится в балку напиться, уж очень хороша вода: чистая как хрусталь, холодная как лед, — говорят, целебная.

Только вошли в сад и стали спускаться по склону — исчезла духота, жар стал легок: хоть не много тени давали яблони, густо облепленные плодами, а все же тень; а главное — прекрасный холодок, которым тянуло снизу, от ключа.

Яблони сходят вниз правильными рядами, стволы их ярко выбелены, широкие междурядья расчищены; но кругом ключа траву не косят, она растет там путанно и буйно, защищая источник от солнца; такая в ней сила, что и не вытопчешь ее, — примятая, распрямляется и растет себе дальше.

Сделали несколько шагов по этой мокрой, холодной, могучей траве — сразу ноги, покрытые пылью, отмылись добела. С шумом раздвинулись громадные, изорванные по краям листья лопуха, и вот он ключ: бежит из-под пышного бузинного куста по беленькому песку и, торопливо журча, устремляется в каменный желобок.

— Прелесть какая! — сказала Катя, вставая с колен с мокрым лицом. — До чего вкусно, просто после такой воды газированную с сиропом противно вспомнить…

Они пошли дальше через сад, и уже ничто не портило Кате настроения — в агрономе, по-видимому, взыграла здоровая амбиция, он поехал полем.

Деревня была пуста, все на работе. Жена агронома развешивала на плетне агрономовы рубашки, вышитые крестиком. Она была некрасивая, старая. «Несчастная женщина! — подумала Катя. — Стирать рубашки уроду и развратнику!..» Она поклонилась жене агронома с подчеркнутым уважением, показывая свою женскую солидарность и сочувствие.

— Что рано с работы нынче? — спросила жена агронома.

— Закончили! — хором ответили студенты. — Уезжаем!

— Вот как, — сказала жена агронома и посмотрела на Катю. — Мало погостили у нас.

— Мы еще приедем! — пообещали студенты. — Мы девчат к вам пришлем лен трепать.

— Присылайте, — сказала жена агронома, улыбаясь неживой, насильственной улыбкой, и опять посмотрела на Катю.

«Она еще ревнует, — брезгливо думала Катя, идя по улице с граблями на плече. — Хорошо, что мы уезжаем».

Если бы не эта мелкая история, все было бы прекрасно. Сколько светлых картин увезет отсюда Катя, картин на всю жизнь! Эти теплые вечера с колхозными девчатами на клубном дворе, волейбол, гармошка, песни (здесь «Туманы мои, растуманы» поют еще лучше, чем хор Пятницкого); эти свежие ночи на сене… И сознание, что ты не лишняя во всенародной страде, любую можешь осилить работу и любому с гордостью показать свои руки…

Но даже последний вечер был отравлен бестактной, назойливой влюбленностью агронома. Когда в школе, где жили студенты, собралась молодежь из разных деревень и пришли председатель колхоза, и бригадир, и инструктор райкома партии, — агроном оказался тут как тут, без него не обошлось: явился и пристроился рядом с Катей. Тоже что-то говорил о колхозном производстве, но Кате казалось, что все понимают, что он пришел смотреть на нее и торчать возле нее, и стыдятся за них обоих. Ей стало досадно, что она разрядилась в шелковое платье и лакированные туфли: еще вообразит, что ради него… Чтобы уйти от агронома, она предложила сыграть прощальную партию в волейбол. А тем временем к школе подали грузовики со скамья-

ми. Студенты покидали туда свои заплечные мешки и, простясь, стали рассаживаться. И тут очутился у колеса агроном, он смотрел на Катю своими бесстыжими, жалкими, отчаянными глазами и протягивал руку, чтобы помочь ей. Она взялась за борт кузова, подпрыгнула, коснулась колеса лакированной туфелькой и взлетела в кузов, не дотронувшись до протянутой ей руки. Грузовик двинулся, пыль взвилась за ним облаком, закрыла все.

«Две недели мы здесь были, — думала Катя, глядя на поля, медленно плывущие мимо в сумерках, — а какое все уже знакомое и близкое, и те три дороги, что расходятся как пальцы, и горка, и силосные башни на горизонте, а вон той дорогой мы ходили на клевер. И вот уезжаем, и эта жизнь будет продолжаться без нас. Через три часа будем дома». И она подумала о том, что вот уже две недели не видела газету «Советский спорт» — сберег ли для нее Сережа эти номера, — и как она, приехав, первым долгом примет душ, — и о капитане Войнаровском, которого она встречала у Наташи Штейнбух и который оказывал ей внимание. В последнюю очередь она подумала о своих росянках, Drosera rotundifolia, за которыми смотрел Сережа. Не то чтобы она

не интересовалась ими, разумеется, интересовалась, она ведь сама искала их на болотах под весенними дождями, и высаживала в ящики, и кормила, и делала те опыты, которые лягут в основу ее дипломной работы. Но дипломная работа не была для Кати главной целью, как для некоторых ее товарищей. Достаточно сказать, что каждую сессию она хватала тройки то по одной дисциплине, то по другой, потому что ее отвлекали тренировки и соревнования. Стипендию она не получала, но так как родители не огорчались этим и тоже больше интересовались ее спортивными успехами, чем научными, то и Катя не обращала внимания на эти мелочи жизни. Ее занимало множество вещей, среди которых был и спорт, и предстоящая почти через два года («о, далеко еще!») защита диплома, и поездки на практику, которые Катя принимала как очередное развлечение, потому что чувствовала себя в своем коллективе как рыба в воде и из всего извлекала живую радость. Составными частями этой увлекательной жизни были и другие вещи — наряды, театр, обожание Лемешева, почетное положение отца, приятельские отношения с Сережей, и даже мамины странности, вызывавшие в Кате дух противоречия, и даже глупость Марго,

потому что из всего этого слагалась привычная и комфортабельная обстановка, в которой активно, весело и независимо, в вечном предвкушении новых радостей и удач, существовала Катя.

Вскакивая в грузовик, она оцарапала о железку руку повыше локтя; из царапины текла кровь. Девчата, заметив, хотели перевязать, но Катя отмахнулась: глупости, на ней все заживает в пять минут! Чтобы унять кровь, она взяла ранку в рот; вкус был соленый, острый.

«Наташа Штейнбух еще в Мисхоре, — думала она, — значит, с Войнаровским скоро встретиться не удастся. Если бы дать ему знать, что я приехала, он бы придумал способ встретиться, но как дать знать?.. Какие у нас есть общие знакомые? Кажется, Маринка — телефона у Маринки нет — я вот как сделаю: возьму билеты на вахтанговские гастроли — что бы посмотреть? — да что угодно — и пошлю Маринке открытку по почте, предложу идти вместе… И вот увидите, он узнает и придет в театр», — подумала Катя и улыбнулась. Она была капризница, никому не позволяла ухаживать за собой; но этот голубоглазый капитан, с лицом то ребячески-простодушным, то резко нахмуренным, нравился ей. Почему? А кто знает…

Две недели назад, после практики в лесхозе,

она четыре дня прожила дома, в Энске, но его не встретила. «Возможно, он в отъезде, сейчас ведь самое отпускное время…»

Темно-лиловая, как чернила, туча лежала за силосными башнями, низко у горизонта. В туче взблескивали молнии, сжатые поля озарялись на миг бледным светом и опять становились серыми, слабо погромыхивал запоздалый гром… «Гроза идет, Илья-пророк. Далеко еще, нас не застигнет. Ночью разразится, а то и стороной пройдет».

И, посасывая свою соленую кровь, она представила себе, как над этими полями в ночном мраке прыгают длинные молнии и страшно грохочет гром, и свирепый ливень сечет землю, а потом гром уходит, вода стоит в канавах, всходит умытое солнце, а в балках громко поют птицы.

И представила себе эти поля под другим дождем, осенним, беззвучным, беспросветным: как тут голо тогда и скучно, и одна сидит в избе некрасивая старая женщина, пока ее муж в тяжелых от грязи сапогах ходит по этим дорогам…

И, уезжая от них, она простила этой женщине ее обидную ревность и простила ее мужу его обидную страсть.

Поля и небо проплывали, как на экране, и Катя

приехала на станцию, где над входом горел старинный граненый фонарь и женщина поливала платформу из большой садовой лейки. Студенты набились в дачный вагон, пахнущий вымытым полом, и с песнями поехали в Энск.

Гроза разразилась, когда они были в дороге, и окончилась как по заказу, когда приехали.

Где-то она еще погромыхивала, удаляясь победоносно, но дождь перестал, только по мостовым бежали широкие потоки.

Близился рассвет, но Сережа еще не ложился: у него ночевали застигнутые грозой Саша и Валентин, и все трое они были увлечены беседой.

Саша лежал, укрытый простыней, на диване. Для Валентина Сережа притащил кушетку из Катиной комнаты. Сам он сидел между приятелями, на краешке Сашиной постели, и с жаром раздувал волновавший его разговор, не давая ему погаснуть.

— Да постой, при чем здесь ребенок?! — кричал он. — При чем ребенок, если ты ее любишь?!

— Ну, как при чем! — расстроенно отвечал Валентин, которому нравилось, что к его сердечным делам проявляют такой интерес, и хотелось, чтобы обсуждение длилось подольше.

После долгих колебаний между архитекторшей

Лидией Антоновной и крановщицей Клавой он наконец понял, что любит Клаву. (В значительной степени его выбор объяснялся тем, что Лидию Антоновну перевели на другой объект, ухаживать за нею стало трудно из-за дальности расстояния…) В прошлый выходной он гулял с Клавой по набережной, они зашли далеко, на иевлевскую лестницу, и там, сидя на каменной ступеньке под вазой с настурциями, Валентин сделал Клаве предложение. Он считал, что поскольку он больше не водится с блатными, работает, получает зарплату и даже занимается в кружке, то почему бы ему не жениться на хорошей девушке, тогда он окончательно станет положительной личностью. К тому же ему до смерти надоело жить у сестры, очень уж она заботилась об его поведении… Но Клава отнеслась к делу серьезно, даже всплакнула. Она сказала, что в принципе ничего не имеет против замужества, но что она разочарована в любви. Три года назад ей вот так же сделали предложение, она была девочка и чересчур доверилась, и как было не довериться — он пришел с войны и имел медаль. В результате смылся без регистрации, а у нее Шурик. Спасибо, мама отнеслась как советский человек, и в ясли сходит за Шуриком, и выкупает,

а то бы очень трудно… Но главное, конечно, — моральная сторона, моральное самочувствие было ужасное; но это может понять только девушка. Теперь, сказала Клава, всплакнув в свой газовый платок, ты должен решить, будешь ли ты настоящим отцом Шурику. А если нет, то ничего, Валечка, не надо… Валентин мрачно сидел под настурциями. Он, разумеется, знал про Шурика, но не придавал значения… во всяком случае, не предвидел, что на него сразу будут смотреть как на отца. Он не ожидал, что хохотушка Клава будет плакать; он думал, она будет смеяться и кокетничать, потом они станут страстно целоваться, а потом поженятся. Но она ни разу не поцеловала его, а сам он постеснялся сунуться после ее слез. Она достала из сумочки пудреницу с зеркальцем, заботливо попудрила нос и сказала: «Ты подумай и реши». «Хорошо, подумаю», — пробормотал Валентин. Она поднялась и пошла с заплаканными глазами, ему стало жаль ее и жаль себя, такого молодого и такого влюбленного, он взял ее под руку и сказал: «Ну, ничего, это все пустяки». А она сказала: «Что значит пустяки, когда личная жизнь испорчена».

Теперь он терзался. То ему казалось, что Клава его жестоко оскорбила, поставив Шурика выше

него; то казалось, что она прекрасна и без нее невозможно жить. Он не считал нужным держать при себе свои переживания, о них узнала бригада и узнал Сережа, который, познакомясь с Валентином через Сашу, за две встречи сошелся с ним на короткую ногу и даже сфотографировал его со всей татуировкой, спереди и сзади, как давно мечталось Валентину.

В ночной час, предназначенный для задушевных бесед, они разбирались в Валентиновой любовной истории. Сережа горой стоял за чувство и против предрассудков.

— Любовь выше мелочей, — убеждал он пылко. — Ребенок — ну и что, пусть два ребенка, пусть хоть дюжина, какое это имеет отношение…

— Сергей, — отвечал Валентин, — ты настоящий друг, ты прямо в душу смотришь, но если ребенок у нее на первом плане?

— Ребенок обязан быть на первом плане! — сурово сказал Саша.

Он лежал на спине, заложив руки за голову, и выглядел под простыней ужасно длинным и солидным. Приятели умолкли и ждали с уважением, что он скажет еще.

— Если ребенок не на первом плане, — продолжал Саша, — то нет ни семьи, ничего… Это она

правильно ставит вопрос. Можешь побыть на втором, пока он вырастет, ничего тебе не сделается. И не в этом дело.

Он не сочувствовал затеваемому браку. Пара казалась ему неподходящей, он уважал Клаву за отличную работу и желал ей лучшего мужа, чем Валентин. Его беспокоило, что Валентин опять пил водку и читал антиобщественные стихи: «Я одну мечту, скрывая, нежу, что я сердцем чист. Но и я кого-нибудь зарежу под осенний свист». Саша считал своим комсомольским и бригадирским долгом ликвидировать эти настроения.

— Дело в том, — сказал он, — что ты не имеешь права жениться, пока не переделаешь свой характер. Разве ты можешь с таким характером воспитывать ребенка? Ты не можешь воспитывать ребенка. На этой почве у вас будут сплошные недоразумения.

— Саша, — ответил Валентин, — ты друг из друзей, я понимаю, что ты прав, как бог, но тогда посоветуй! Нет, слушай, тогда давай совет: а куда же девать любовь?!

Неизвестно, на чем бы они порешили, но тут дверь отворилась и вошла Катя, босая, с рюкзаком за плечами и с туфлями в руке.

— Ой, — сказала она, — извините, не знала, что

вас так много и вы в постелях. Сережа, ну как ты тут? — Она бегло и нежно оглядела его прищуренными глазами. — Зеленый и желтый, бог знает что, я тебя вытащу на дачу… Как росянки?

Она ушла с Сережей к столу, и между ними начался научный разговор. Саша в ужасе закрыл глаза и запоздало притворился спящим. Страдали и его стыдливость, и мужское достоинство. Никак он не предполагал, что придется знакомиться с Катей в такой позе, лежа перед нею под простыней. Сколько перебрал в уме разных вариантов знакомства, а этого варианта не предвидел. Недаром он боялся встретиться с нею. Когда она приезжала прошлый раз с практики, он был предупрежден об ее приезде и не зашел ни разу, пока Сережа сам не явился на стройку и не сказал, что Катя уже уехала… «Какое у нее теперь может быть обо мне представление!» — безнадежно думал он, лежа с закрытыми глазами и слушая ее голос.

— Ребята, спокойной ночи, — сказал Сережа. — Мне надо поговорить с Катей. — И они ушли, причем Саша так и не разомкнул глаз и даже не заметил, что Сережа выключил свет.

— Что вообще нового? — спрашивала Катя, готовясь идти в ванную и доставая из шкафа белье. — Когда уехал папа?

— Да, ты знаешь, как я прогадал? — отвечал Сережа. — Они с мамой из Сочи поехали на теплоходе! Если бы я заранее знал про теплоход, я бы поехал с папой.

— Ничего, успеешь проехаться на теплоходе, — сказала Катя. — Пусть старики без нас отдохнут хорошенько.

— Пожалуй: они от нас тоже, наверно, устали, — сказал Сережа. — Да, знаешь, на той неделе громадный был пожар.

— Что ты говоришь, где?

— На берегу, какой-то склад, и понимаешь, я спал и даже не знал, а потом уже, конечно, неинтересно смотреть…

— Выглядишь ты отвратительно! — сказала Катя. — Со мной ты поживешь на даче, я надеюсь? («Непременно приглашу на дачу Войнаровского!») Марго поставим условие, чтоб она нас не донимала. — И Катя пошла купаться.

А Саша лежал не шевелясь и видел ее — как она вошла и стоит в комнате, загорелая и румяная, в платье огненных цветов, вся пестрая, как жар-птица…

— Интересная девчонка! — многозначительно сказал Валентин в темноте.

Саше захотелось дать ему хорошенько… Но он

смолчал, не в его характере было драться, — и где повод для драки? Просто ему не понравилось, что Валентин назвал Катю девчонкой.

При всем том он довольно скоро уснул, и рядом, на кушетке, так же сладко спал влюбленный Валентин.

Утром они поднялись тихо, чтобы никого не разбудить, и поехали на работу.

И все-таки Саша пришел опять, хоть и боялся Кати.

Боялся и тянулся в глубь открытой им страны, где все было неизведанно и удивительно, хоть и стыдно.

То он видел Катю разряженную, ослепительную, — надменно щурясь, она смотрелась в высокое зеркало, и он с особенной отчетливостью понимал свое место в ее жизни, место ничем не замечательного парня, которому только что исполнилось восемнадцать лет.

То она предстала совсем в другом виде — в капотике, с мокрыми после душа волосами, она поила их с Сережей чаем и, пока они пили, читала книгу, став коленками на стул и рассеянно отвечая на Сережины вопросы. Лицо у нее, когда она читала, было ясное, ласковое. Домашняя туфля со смешным меховым помпоном упала с ноги.

Саша все это видел, и не то что мечта — отдаленное, неосознанное предвкушение мечты смутно бродило в нем…

То, одетая в футболку, с крошечным чемоданчиком в руке, она торопилась на тренировку и была деловая, резкая, шумная: мальчишка-приятель, понятный и свой.

А то Саша застал ее в передней, она сама отворила ему на звонок, он вздрогнул — она была в трусиках и майке, волосы подвязаны ленточкой — такая, как на маленькой фотографии. «Сережа у себя, иди», — сказала она небрежно и продолжала свое дело — она занималась гимнастикой. И он прошел, не поднимая глаз.

А потом она уехала с Сережей на дачу до конца каникул. Саша знал дорогу на дачу, он был там один раз с Сережей и его отцом, и Сережа звал его приезжать по воскресеньям, но Саша не поехал: Сережа сказал, что она пригласила кучу гостей; Саша не хотел торчать среди тех, которые что-то значат для нее.

Перед отъездом на дачу Катя, по намеченному плану, побывала с Маринкой в театре.

Она была бесшабашно уверена, что Войнаровский тоже очутится в театре в этот вечер и подойдет к ней, и она пригласит его, — была

уверена, потому что жизнь всегда разыгрывала, как по нотам, все, что хотелось Кате. Но на этот раз жизнь отказалась играть по нотам, Войнаровского в театре не было, пьеса была скучная, в зале жарко, у Маринки болел зуб, и она весь вечер ныла, — Катя пришла домой сердитая и закричала на Сережу: «Мне надоело смотреть на твою зеленую физиономию, завтра же на дачу!» — так что Сережа удивился и спросил: «Что у тебя случилось, Екатерина?»

«Очень нужно, подумаешь!» — мысленно сказала Катя Войнаровскому.

И уехала в отвратительном настроении, причина которого возмущала ее. «Какой-то капитан, служит в милиции. Встретимся, я прищурю глаза и скажу: “Простите, — ах, если не ошибаюсь, капитан… капитан… забыла фамилию…”»

Был самый жаркий день в году, тридцать два градуса в тени. Энск обомлел от зноя. Среди раскаленного камня центральных улиц нечем было дышать. Войнаровский сидел в своем кабинете, расстегнув ворот рубашки, пил воду со льдом и допрашивал знакомого домушника, взятого на мелком деле. С обоих пот лил градом.

— Ну, уговаривали, — вяло говорил Войнаровский. — А своя-то голова на плечах есть?

Домушник не был в этом уверен и промолчал.

— Ведь вот они гуляют, — продолжал Войнаровский, — а в тюрьму сядешь ты.

— Ага, — невыразительно подтвердил домушник, глядя на графин с водой. Это был молодой парень, невзрачный, с мелким лицом в неровных пятнах загара. Войнаровский вздохнул, отдуваясь, и нажал кнопку.

— Стакан, — сказал он вошедшей секретарше. Налил воды в принесенный стакан и дал домушнику напиться. — Из-за трусости сядешь! — продолжал он, повышая голос. — Трусость до добра не доводит. Испугался! Здоровый такой парень, красивый (домушник приосанился), испугался кучки шпаны… Почему не работал, когда полковник тебя устроил? Почему ушел с завода?

— Они сказали.

— Что сказали?

— Одним словом, или обратно иди до нас, или, одним словом…

— Ну, и трус! — сказал Войнаровский, обтирая лицо платком.

Зазвонил телефон, и голос Маши Рыбниковой сказал, что товарищ Войнаровский может идти, все уехали за город, дома одна работница.

— Хорошо, — ответил Войнаровский. — Ты

обдумай, что тебе выгоднее, — сказал он домушнику, нажимая кнопку. — Если ты мне назовешь всю братию, то отсидеть тебе придется — ну, годик. А если будешь со мной ваньку валять, то я тебе гарантирую шесть лет как минимум.

— За такое дело шесть лет? — спросил домушник, вставая, так как вошел милиционер.

— Да, шесть, — повторил Войнаровский, кивком показывая, что разговор окончен.

Он заперся на ключ, открыл стенной шкаф и переоделся. Натянул бумажные брюки того неопределенного серо-черного цвета, который продавцы называют «маренго», надел синюю трикотажную бобочку, кепку не первой свежести и взял деревянный чемоданчик. В таком виде он покинул свой кабинет, прошел мимо безмолвной секретарши и вышел на раскаленную улицу.

День объял его своим пламенем. Тротуар был горяч, как печной под, когда печь только что истопили. Каблуки погружались в асфальт. Люди шли по своим делам сквозь пекло.

У магазина хозяйственных товаров Войнаровскому мелькнула знакомая светлая головка с курносеньким профилем и косичками, сколотыми на затылке. Он улыбнулся, он вспомнил эту девочку — однажды он обедал в ресторане парка

культуры, а за соседним столиком обедала она со своим женихом, они были трогательны… Она вошла в магазин, не заметив Войнаровского. Он дошел до серого дома старой постройки и поднялся на третий этаж.

— Кто там? — спросила из-за двери тетя Поля.

— Монтер горэнерго, — ответил Войнаровский.

Тетя Поля отворила, не снимая цепочки, и оглядела его.

— Ваше удостоверение личности, — сказала она степенно.

«Вымуштровали», — подумал он.

Тетя Поля впустила его. Со странным чувством он вступил в переднюю, где от разноцветных стекол фрамуги лежали красные, желтые, синие светы.

— Как у вас с проводкой? — спросил он, озирая потолок. — Утечки нет? Жучков нет?

— У нас проводка в аккурате, — сказала тетя Поля.

— В аккурате, в аккурате! — сказал Войнаровский. — На промбазе тоже было в аккурате, а загорелось от проводов.

Испугавшись, тетя Поля повела его в комнаты. Он прошелся по квартире и осмотрел все, что требовалось осмотреть.

Безлюдная большая квартира, с закрытыми от жары окнами, с мебелью в чехлах, со скатанными в трубы коврами и дорожками на натертом полу, дышала благообразием, комфортом, обеспеченностью, раз навсегда принятым жизненным порядком. Должно быть, очень здесь уютно, когда с кресел и абажуров снимают чехлы, на окна вешают занавеси, а по полу раскидывают эти большие ковры… И все-таки квартира показалась Войнаровскому мертвой, и он шел по ней, как по кладбищу.

В одной из комнат висел над столом Катин портрет и ниже маленькая карточка — дискобол. Он остро взглянул на фотографии, они воскресили лицо, которое он полюбил, и тот весенний праздник на стадионе, когда он увидел ее и потом стал искать, где познакомиться… Было холодно и ветрено, на трибунах сидели в теплых пальто, а она выбежала почти нагая, точеная и легкая, с ленточкой в волосах…

Последняя комната была Катина. Он угадал это потому, что ни одна из виденных им ранее комнат не могла быть Катиной, там не было ее примет. Здесь же были неоспоримые приметы: трапеция, подвешенная к потолку, книги по биологии в шкафчике, ваза с цветами, уже на-

чинавшими увядать, — забыла или пожалела их выбросить, уезжая на дачу… Остальное было закрыто чехлами и газетами, и он не смог заглянуть дальше в ее домашний мирок, куда зашел в первый и последний раз… «Да, Екатерина Степановна, этого вы мне не простите, — подумал он с безнадежной улыбкой, — с этим вы меня не примете. Бессмысленно добиваться, бессмысленно видеться…»

И вдруг, когда он на мгновение оглянулся, уходя, ему с абсолютной, железной реальностью представился он сам, рассказывающий Кате об этом дне, — как он решил не встречаться с нею и как пришел по обязанностям службы в квартиру ее отца, и видел ее карточки, и стоял в ее комнате, и что при этом чувствовал и думал.

Этот день пройдет, а где-то впереди тот другой, и он об этом минувшем рассказывает Кате.

— Порядок! — сказал Войнаровский тете Поле. — Все как полагается.

И вышел в пламень дня из обреченного дома, где он собирался весь этот уют и комфорт пустить под откос к чертовой матери, как пускал, бывало, вражьи поезда.

Юлька шла по раскаленной улице. В обеих руках она несла по вязаной сумке, набитой покуп-

ками. Сумки раздулись, как футбольные мячи, и резали руки.

У витрины мебельного магазина Юлька замедлила шаг. В витрине выставлены стулья, обитые черной клеенкой, куцая цветастая тахта с толстыми валиками, белесый буфет и — дыбом — пружинный матрац, такой же цветастый, как тахта.

«Сколько всего еще покупать», — подумала Юлька.

Она зашла в магазин, осмотрела ярлыки с ценами, задумчиво постояла перед некрасивым буфетом, заглянула за буфет — там было царство матрацев, один стоял горизонтально, а другие вертикально, но все, как один, в коричневых цветах на розовом поле. Вздохнув, Юлька присела на горизонтальный матрац и попробовала: как пружины. Пружины были твердые. Стоил матрац 200 рублей 95 копеек. За другим буфетом было отделение зеркал. Зеркала многократно отразили серьезное девичье лицо с вздернутым носиком и узкими глазами.

«Без зеркала можно обойтись, — подумала Юлька. — Слишком дорого. Я возьму мое маленькое».

Она вышла из дорогого магазина, села в автобус и через полчаса входила в свой новый дом.

К решетке лифта был привешен на веревочке кусок картона — как в магазине, — и на нем химическим карандашом написано: «Обеденный перерыв».

«Лифтеру тоже нужно обедать, — подумала Юлька. — И не так уж высоко, собственно говоря».

Лестница была светлая, стены очень чистые, голубовато-белые. Шаги звучали звонко, свет лился через высокое окно плотным золотым столбом, и в нем блестели пылинки.

«Безобразие, — подумала Юлька, — кто-то уже оцарапал стену. Должно быть, когда вносили мебель. Как им не стыдно!»

Она знала, что квартира номер четырнадцать на седьмом этаже, но невольно взглядывала на все двери, мимо которых проходила, и читала все номера. На двери четвертой квартиры была прибита пожелтевшая эмалевая дощечка с черной надписью: «Николай Николаевичъ Залъсскій» — по старому правописанию, с твердым знаком, ятем и десятеричным «и».

«Как странно! — подумала Юлька. — В молодежном доме дали квартиру какому-то дореволюционному зубру. Этому Николаю Николаевичу, наверно, сто лет».

Когда она ступила на площадку между шестым и седьмым этажами, наверху щелкнул замок, и Андрей, срываясь через три ступеньки, сбежал ей навстречу.

— Я услышал твои шаги, — сказал он, отбирая у нее сумки. — Молодчина, что пришла раньше. Я тоже пришел раньше.

— Я истратила массу денег, — сказала она.

— Ну, смотри, — торжественно сказал он, вводя ее в квартиру. — Это передняя.

Стены передней тоже были девственно чисты, а на полу следы мела. В двух углах стояло по велосипеду.

— Чей второй велосипед? — спросила Юлька.

— Не бойся, это соседский. Ну как?

— Знаешь — надо другую лампочку.

— Темновато?

— Ну конечно. Сколько тут свечей? Надо сорок.

— Придется купить. Это соседи вкрутили. И вот наша комната.

— Андрюша, знаешь — прелестная комната!

— Да? Ничего?

— Андрюша, я тебе скажу, — просто чудная комната! — Юлька подошла к окну. — Андрюша, какой вид!

С высоты седьмого этажа далеко был виден

загородный простор, огромное голубое небо и полоска леса на горизонте. Слева сверкала река, мост висел ажурной черной аркой, по мосту шел поезд, и там, где он проходил, повисали небольшие белые облачка.

— Когда я была маленькая, — сказала Юлька мечтательно, — у меня была игра, головоломка, дощечка нарезана разными фигурками и из фигурок складывалась картинка, так совершенно, совершенно такая была картинка.

Андрей стоял рядом, гордо выпрямившись, и уголки его длинных губ заворачивались вверх от довольной улыбки.

— Но я истратила феноменальные деньги, — тем же мечтательным тоном продолжала Юлька. — Мне страшно сказать, сколько у меня осталось.

— Ну, покажи, что купила, — сказал Андрей.

Вдвоем они стали вынимать пакеты из сумки.

— Скатерть. Занавеси.

— Ух ты!..

— Тебе нравится?

— Очень.

— Тут чайник. Первая вещь, тетя Фаля говорит… Чудная кастрюля, правда?

— Чудная.

— Если чистить, она всегда будет такая новая. И понимаешь, каждая вещь недорого, а в результате истратила массу.

— Ерунда, — сказал Андрей. — Ведь для этого и копили. Зайдем в сберкассу, заберем все, что есть, и сразу в мебельный магазин, чтобы покончить с этим делом.

— Учти, — сказала Юлька, — что у меня будет только стипендия, и то с осени, а до тех пор мы будем жить исключительно на твою зарплату. Теперь ты понимаешь, почему я не давала тебе тратить на глупости? — Она взглянула на него с материнской заботливостью. — Письменный столик я свой возьму, и кровать, а тахту купим. Да, но где что станет, надо посмотреть. Я принесла сантиметр.

— А какой прок в сантиметре, — спросил Андрей, — если мы все равно не знаем габаритов всех этих штук? Ты знаешь, какие у них габариты?

— Приблизительно, — сказала Юлька.

Они обмерили стены и определили, где станут шкафы, кровать и тахта. Стол и стулья — посредине, а письменный к окну.

— На тахте буду я, — сказал Андрей.

— Ничего подобного, — сказала Юлька. — Она

как раз вполовину короче, чем ты. Тебе надо хорошенько высыпаться после работы. А я все равно сплю клубочком.

— Ты поместишься и без клубочка, — сказал Андрей. — Ты маленькая.

Ему очень захотелось ее обнять, но он подумал, не сочтет ли она это бестактным, и не обнял.

— А ты что — сказала тете? — спросил он.

— Да.

— И как она реагирует?

— Она реагирует хорошо.

— Маме и папе надо сказать сразу, как только мама приедет, — сказал Андрей. — Вообще говоря, следовало предупредить их заранее, а не накануне.

— Вообще говоря, следовало, — сказала Юлька, сидя на корточках с сантиметром. — Но они будут против.

— Ну почему обязательно против?

— Я же слышу, что они говорят, когда кто-нибудь молодой женится. Они говорят, что это непроверенное чувство.

— Действительно! — сказал Андрей. — Это у нас-то непроверенное чувство.

— Ты не знаешь их психологии. Они смотрят на нас как на детей. Они думают, что мы совершенно

не знаем жизни.

— Старики обожают давать советы, это верно, — сказал Андрей. — Ну что ж, это их право и даже, если хочешь, обязанность. У них ведь и на самом деле как-никак больше опыта. И, по-моему, ничего нет обидного, если старик или старушка дает совет. Можно же, в конце концов, не послушаться.

— Да, они прекрасно знают, как мы должны жить! — сказала Юлька. — А каких ошибок они наделали в собственной жизни? Как, например, мама буквально своими руками погубила Геньку!

— Да это не мама, — сказал Андрей. — Просто он уж такой… неудачный.

— Просто неудачные не бывают. Все зависит от воспитания. Почитай Макаренко. — Юлька нахмурилась, у нее всегда портилось настроение, когда разговор заходил о Геннадии. — И разве только эта ошибка! Между нами говоря, у мамы с папой есть одна такая вещь, что я даже тебе никогда не скажу.

Она имела в виду безумное начало их любви. Мать как-то рассказывала об этом ей и Ларисе. Она рассказывала с удовольствием, блестя глазами. И отец слушал с удовольствием и подсказывал

подробности, забытые ею, и словно молодел в это время. Юлька любовалась ими обоими и любила их, и живо представляла себе цветущий луг, на котором стояла мама, молоденькая и прелестная, с играющим на ветерке колечком волос, и представляла отца на паровозе, тоже молодого и красивого («почти такой красивый был, как Геня», — сказала мама и на минуточку затуманилась). Но Юльке трудно было представить себе отца пристающим к незнакомой девушке на станции, а маму, свою маму, — кокетничающей в ответ («до чего они оба были некультурные!»). И уж вовсе дико было — как это мама уехала с человеком, который представлялся ей привычным обольстителем («какая пошлость!») и о котором она ничего не знала («а вдруг бы оказалось, что он замаскированный диверсант?»). Тут был вопиющий пример того самого непроверенного чувства, против которого старики предостерегали молодых, — какую цену имели для Юльки их предостережения.

— В общем, бог знает как они жили, когда были молодые, — вздохнув, заключила она и встала. — А посуду, Андрюша, будем держать в кухне, в шкафчике. Буфет некуда, и он кошмарно дорого. Покажи кухню.

В кухне молодая женщина, в платочке и калошках на босу ногу, стояла на подоконнике и мыла окно.

— Здравствуйте, — сказала Юлька.

— Здравствуйте, — ответила женщина с подоконника.

— Она будет вашей соседкой, — сказал Андрей.

— Понятное дело, — сказала женщина веселым певучим голосом. — Как получил комнату, так и невесты налетели.

— Нет, она у меня давно, — сказал Андрей. — Она была в девятом классе, когда мы решили.

— Вы одна все убрали, — сказала справедливая Юлька. — Следующий раз буду убирать я.

— Да уж это как водится, — сказала женщина. — Главное, знаете, горячая вода во всякое время, и в кухне, и в ванной, вот удобство! И не захочешь, а лишний раз помоешь пол, поскольку воду греть не надо!

Заплакал ребенок. Женщина скинула калошки, спрыгнула с подоконника и убежала.

— И малыш есть, какая прелесть, — сказала Юлька и, открыв кран, подставила под него руку. — Не горячая, чуть-чуть теплая… Нет, постой, пошла горячей. — Она стояла с серьезным, задумчивым лицом, держа руку под струей, а он

смотрел на нее с обожанием, и все сильнее ему хотелось поцеловать ее. Но он был воспитан ею в строгих правилах.

Глава тринадцатая. Жизнь коротка

Дорофея возвращается из Сочи шоколадно-загорелая, довольная, с большой корзиной фруктов. Ее отличное настроение не испорчено тем, что Геннадий ее не встретил: «Добрый признак — значит, работает».

— Девочки, ох! Если бы вы только знали, как там хорошо, — еще лучше, Ленечка, чем было!

Она ходит по дому, разбирает свой чемодан, на ходу обрывает с бегонии засохший листок и смотрится в зеркало.

— В бабки пора записываться, а я надумала наряды шить — видела на курорте костюмчик один, больно понравился, вот посмотрите. — Она берет карандаш и клочок бумаги и рисует костюмчик.

— До чего странно, Юлька — студентка, как время пролетело, ты подумай, Леня!.. А мы с тобой давай не поддаваться времени.

— А мы и не поддаемся, — замечает Леонид Никитич.

— Ни за что давай не поддаваться. Пусть им великолепно, а нам чтоб еще лучше. Я в бабки к вашим детям не пойду. Не надейтесь.

Она подошла к Ларисе и Юльке, стоявшим

рядом у стола, обняла обеих сразу и повторила, притянув к себе обе головки, светлую и темно-русую:

— Не думайте, девочки, сами будете ребятишек растить, я не бабка, я еще работник!

Лариса и Юлька вынимали фрукты из корзины и выкладывали на блюда. Стол был покрыт виноградом и большими сливами, темно-синими и желтыми, как янтарь.

— Красота! — сказала Лариса. — Даже жалко есть.

И вздохнула о том, что Павла Петровича нет в городе и нельзя угостить его этими фруктами. Три недели назад он уехал в Москву — поработать в библиотеке Ленина, закончить диссертацию; с тех пор — хоть бы открытка…

— Ну что значит жалко! — сказала Дорофея. — На то и везла тыщу километров, чтоб вы поели вволю, только вот этих синих, Фаля, отбери с полсотни — замариновать.

— Я ужасно рада, — вдруг сказала Юлька, — что ты в таком настроении. Дело в том, что я хочу сказать. Мы с Андрюшей женимся.

Она произнесла это с обычной храбростью, твердым голосом и, договорив, облилась румянцем.

— Еще что! — сказала Дорофея. — Вы дети.

— Ну конечно, — грустно сказала Юлька, кладя виноградину в рот. — Непроверенное чувство, и так далее.

— Конечно, непроверенное!

— Мы знакомы восемь лет, — слегка задохнувшись, сказала Юлька. — Сколько же еще проверять?

Она подняла глаза на отца, обращаясь к нему за поддержкой.

— Не знаю, — сказала Дорофея, — сколько надо проверять и как это проверяется… Но знаю, что рано.

— А что я скажу, — вмешалась Евфалия. — Сказать?.. Ты на три месяца была моложе, когда вышла за Леню.

— Что ты равняешь! — сказала Дорофея.

— Почему же не равнять? — спросила Юлька.

— Просто смешно! — сказала Дорофея. — Мы с папой — и вы с Андрюшей. Мы с папой прожили, слава богу, — скоро тридцать лет.

— Ты сама говорила, что вы совершенно не знали друг друга.

— Тридцать лет — это, я думаю, доказательство, что мы не ошиблись.

— Подумай, мама, что ты говоришь! — строго

сказала Юлька. — Ведь для того, чтобы мы могли проверить, можем ли мы прожить тридцать лет, надо нам пожениться или не надо?

Леонид Никитич засмеялся. Лариса вышла из столовой.

— Это просто возмутительно, — сказала Юлька, — что вы относитесь несерьезно.

— Да ну, — сказала Дорофея, — что тут может быть серьезного. Посмотри на себя: девчушка.

— Ты тоже была!..

— Другое время было, — сказала Дорофея и стала звонить по телефону Чуркину.

— Я категорически отказываюсь говорить несерьезно! — сказала пунцовая Юлька. — В конце концов, мне разрешает закон!

— Кирилл Матвеич, здравствуй, я приехала, что у нас там делается? — восклицала Дорофея, не обращая на Юльку внимания.

Леонид Никитич, озадаченный, смотрел на них и думал: «Зачем это Дуся так... Одно дело Генька, другое — Юлька. У Юльки все получается... по-человечески. Бедный мой цыпленок, даже не поздравили отец с матерью», — думал он, болея за Юльку. Но ничего еще не успел вымолвить, как они исчезли из столовой обе, мать и дочь. Он пошел их искать и нашел на заднем крылечке

веранды; они сидели обнявшись, и Юлька прижималась щекой к материнскому плечу. Леонид Никитич стал над ними и спросил:

— Договорились?

Они повернули к нему оживленные, ласковые лица, и он обрадовался.

— И хорошо, хороший парень; мы же его знаем, — сказал он, обходя их и присаживаясь ступенькой ниже. Вздохнул и заключил с невольной грустью: — Ну, поздравляю тебя…

Тем же московским самолетом, что и Дорофея, вернулись в Энск Борташевичи, Степан Андреич и Надежда Петровна.

Зайдя к Сереже, Саша обнаружил большие перемены: чехлы были сняты, ковры расстелены, квартира приобрела богатый и гордый вид.

Пришел Санников и сел играть с Сережей в шахматы, и Саша сидел возле них с удовольствием, потому что, во-первых, они оба были сильные игроки и у них было чему поучиться, а во-вторых, Катя заглянула на минутку и сказала:

— Здравствуйте, мальчики.

Она стала еще красивее, и голос еще музыкальнее, или, может быть, Саше так показалось. Он был уверен, что все кругом от нее без ума, и удивился, что Санников даже головы не поднял и

только нескоро, когда она давно ушла, пробормотал, двинув пешку:

— Здравствуйте, кто это там…

В Сережиной комнате было убрано, кухонный стол исчез вместе с росянками.

— Да, конец моему порядку! — сказал Сережа. — Живи не так, как хочется…

— А так, как мама велит! — басом сказал Санников.

Он был крепыш, круглолицый, стриженный наголо, похожий на молодого солдата. Саша закурил, Санников тоже достал папиросы и попросил прикурить.

В общем, им было вольготно, и никто им не мешал, но потом их позвали пить чай.

— Познакомься, мама, — сказал Сережа, выйдя в столовую, — мой новый товарищ, Саша Любимов.

— Здравствуйте, — сказала Надежда Петровна и осмотрела Сашу с головы до ног. Он ничего не имел против осмотра, потому что был хорошо одет и аккуратно подстрижен, но вообще Надежда Петровна ему не понравилась, чем-то даже испугала его.

— Здравствуйте, — небрежно сказал Санников, качнув туловищем, что означало общий поклон,

и хладнокровно сел рядом с Сережей. Саша подумал, что этот грубоватый парень сумел себя поставить здесь как нужно.

Сам же он чувствовал стеснение, и чем дальше, тем больше, — из-за Надежды Петровны. Если бы его спросили: почему? — он ответил бы не колеблясь, хотя у него не было никаких доказательств: «Она плохая».

У нее злые глаза, и с этими злыми глазами она говорит любезности гостьям, сидящим возле нее, и угощает их.

Все в ней крупно, резко, отчетливо и определенно. Волосы ярко-каштанового цвета уложены правильными лоснистыми волнами. Большие губы обрисованы ярко-красной помадой. И ногти яркие, и каждый большой блестящий красный ноготь выделяется на пухлой белой руке. Одета она пестро и воздушно, как Катя, но это имеет такой вид, как если бы девичье платьице надели на гипсовый монумент.

Она большого роста, у нее большое ненатурально белое лицо, без загара (словно не провела она все лето под южным солнцем), странно-неподвижное — Надежда Петровна никогда не улыбается и не смеется. И не хмурится, и говорит, еле шевеля губами. Делает она это для того, чтоб

не было морщин. Но Саше эта причина неизвестна, и он со страхом взглядывает на неподвижную белую маску с подбритыми и начерненными бровями и кроваво-красным ртом. Она ужасна; неужели никто, кроме него, не замечает, что она ужасна?! Саша был бы потрясен, если бы узнал, что среди своих знакомых Надежда Петровна Борташевич слывет самой интересной женщиной.

Пришел Степан Андреич, весело поздоровался, стал шутить, за столом смеялись, — у Надежды Петровны не двигался на лице ни один мускул, и только когда уж очень было смешно, она с закрытым ртом произносила что-то вроде: «гум, гум, гум».

— Ты прекрасно выглядишь, — сказала ей Катя.

— Да? — спросила Надежда Петровна. — Ты находишь? — И поправила пышные рукава.

— А где ваша Марго? — спросила одна гостья. — Почему ее не видно?

— Она еще на даче, — ответила Надежда Петровна.

— Бедняга Марго, — сказал Степан Андреич. — Все варит варенье и жалуется, что не остается времени для личной жизни.

— Гум, гум, гум, — сказала Надежда Петровна.

Все это не нравилось Саше. Ему было скучно и отчужденно. «Семья, конечно, прекрасная, — думал он, — только мать странная, совсем она не подходит ни Сереже, ни Кате. Лучше бы из гостий которая-нибудь была их мать. И Степану Андреичу она не подходит, он простой и веселый».

Сережа как будто понимал, что чувствует Саша, — он молчал, двигал бровью и, как только выпили чай, поскорей увел товарищей к себе…

Но вот расходятся гости, молодые и пожилые. Хозяева ложатся спать. Гаснет свет в окнах квартиры Борташевичей.

Спит Сережа, написав на сон грядущий несколько строчек в дневник. Спит Катя — она видит во сне обидно исчезнувшего из ее жизни капитана Войнаровского и третирует его без жалости. Могуче храпит умаявшаяся за день тетя Поля. Не спят и разговаривают только в родительской спальне.

Борташевича терзает бессонница. Давно терзает, он не спасся от нее даже на курорте. Хваленый курс лечения ничего не дал. Борташевич ворочается, перекладывает подушки, стонет и, не выдержав своей одинокой тоски, говорит вслух:

— Господи ты боже мой!

— Ты не спишь? — сдержанно спрашивает из

темноты Надежда Петровна.

— Умный вопрос, — говорит Борташевич. — Нет, я сплю.

Он скидывает одеяло и, шлепая босыми ногами, идет в другой угол комнаты. Ощупью находит графин, наливает воду в стакан, и выпив, говорит:

— Полный дом баб, и некому поставить мне стакан воды на ночь.

Надежда Петровна мудро молчит. За двадцать пять лет совместной жизни все слова произнесены по двести пятьдесят тысяч раз. Она избегает раздражения, от раздражения лицо стареет так же, как от смеха.

Она лежит с закрытыми глазами и слушает, как вздыхает и вертится муж. Профессор предписал ей засыпать не позже часа, но попробуйте заснуть в такой обстановке… Не выдержав, она говорит сухо:

— Ты бы принял свой нембутал.

— Нет нембутала, — сейчас же ожесточенно отзывается Борташевич, — кончился, и в аптеках нет.

— Ну, бромурал.

— Бромурал не помогает ни черта.

— Тогда люминал. Двойную дозу.

«Ангельский нужно иметь характер», — думает

она при этом.

— Где люминал? — мрачно спрашивает Борташевич после долгой паузы.

— В тумбочке.

Он поднимается, зажигает лампу и, сопя, лезет в тумбочку. У него плачущее, несчастное лицо — люди не поверили бы, что бывает такое лицо у бодрячка Борташевича. Очень не идет это лицо пожилому плотному человеку в подштанниках, сидящему на корточках в клоунской позе.

— Надя… — говорит он шепотом, присаживаясь в ногах жениной постели.

— Ну? — спрашивает она с отвращением, не открывая глаз.

— Ты действительно думаешь, что Ряженцев ничего не имел в виду?

— Нет, это невыносимо!.. Когда это было, чуть не три месяца назад… Нет, так жить нельзя!

— Постой, понимаешь, как было?.. Ты понимаешь, он когда говорил, то прямо посмотрел на меня… Но это могла быть случайность, как ты считаешь? На кого-то ведь ему надо было смотреть.

— Да что он говорил хоть, ты мне скажи! Он ведь вообще говорил? Он говорил *вообще,* я спрашиваю?

— Вообще, и о Редьковском в частности… А может быть, ему понравилась моя речь, он и посмотрел…

— Ложись спать! — говорит Надежда Петровна.

— Ты считаешь — ничего?..

— Больное воображение, лишь бы меня мучить.

— Так ты считаешь — пустяки? — бормочет Борташевич, блуждая глазами по ее лицу. — А почему он мне до сих пор не позвонил? Четыре дня, как мы вернулись, а он не звонит…

— Некогда ему, нет срочных дел к тебе, вот и не звонит.

— А может быть, он… Может быть, у него мысли… В связи с пожаром… Тебе не кажется?

— Боже мой! Какое отношение к тебе? Где связь?

— Как хочешь, он бы должен позвонить. Он тогда в отпуску был, понимаешь?

— Ну?

— Вдумайся: он был в отпуску. Он еще не вернулся — я уехал. Обязательно он бы должен мне теперь позвонить… спросить…

— Но ведь установлено, что пожар возник из-за плохой проводки! Ведь доложили ему! Ложись, а

то люминал потеряет силу.

— Да… установлено… — Пауза. — А если… заподозрят?.. Ты понимаешь…

— Не могу, не могу! — задыхающимся шепотом перебивает она, мотая головой по подушке. — Псих, больше ничего! Истерзал!.. Ты же мужчина! — говорит она громче, с презрением, садясь на постели. — Так распуститься!.. Сейчас же уходи и… («дрыхни», хочется ей сказать, но она удерживается)… и спи, — говорит она интеллигентно. — Спи, дурачок.

Он покорно заползает под свое одеяло и тушит свет. Когда Надежда Петровна начинает говорить таким драматическим голосом, это сигнал к прекращению разговора: она, значит, потеряла свою мудрую выдержку, еще немного — и начнется истерика, визг на весь дом.

Он лежит и, тяжело вздыхая, смотрит в потемки. Потом — нескоро — говорит:

— Тебе легко. Ты не видела, как уходил Редьковский.

Потемки не откликаются.

Все тише ночь. Мелким бегом бежит на часах секундная стрелка. Издалека донесся грохот одинокого трамвая. Люминал не действует, зря глотал. И чего ждать от таблеток, чем тут помогут

таблетки…

Четверть века назад в ***-ской краевой конторе парфюмерного треста сидела за машинкой девушка Надя.

Она не была красавицей, но каждый посетитель, хотел или не хотел, обращал на нее внимание. Представьте себе: голые столы, фиолетовые чернильницы, кипы грязно-серых скоросшивателей, и среди этого канцелярского убожества — благоуханный букет из свежих роз; обратите вы на него внимание? То-то. А сходство с букетом Надя в высшей степени умела придать себе. Никто, кроме ее домашних, не знал, сколько на это затрачивалось сил физических и душевных, как много и прилежно возилась бедняжка Надя с утюгом, иглой и продукцией парфюмерного треста. Посторонние не знали об этих усилиях, об этих, так сказать, невидимых миру слезах, а видели результат: платьица неимоверной чистоты, вкуса и свежести, белоснежную шейку с шоколадной родинкой, румянец — нежнейший, маникюр — новехонький, завивку — самую модную, на высоко открытых стройных ногах — тончайшие чулки без единой морщинки. (Когда на таком чулке спускается петля, поднимать ее крючком или иглой — сущая каторга; а аппарат для этой

цели в ту эпоху еще не был изобретен).

Надя пришла в трест из «Полиглота». Так назывались курсы иностранных языков, стенографии и машинописи, организованные в начале нэпа группой дельцов. Обучение на курсах стоило дорого, но Надин папа, портной, ничего не жалел, чтобы обеспечить дочери будущее. От языков Надя отказалась: она не очень-то любила учиться, а для достижения той жизненной цели, которую она избрала, достаточно было незаконченного школьного образования. Для достижения жизненной цели важно было одно: скорее оставить убогий кружок папиных знакомых и заказчиков (бог знает что за шантрапа, приносившая в перелицовку дрянные костюмы) и соприкоснуться с многообещающим миром, где ходят, помахивая упругими скрипучими портфелями, крупные хозяйственники, нэпманы в брючках-«бутылочках», суженных книзу, и зеленые выдвиженцы, не соображающие, какие возможности свалились им в руки вместе с выдвижением на руководящую работу.

За шесть месяцев Надю обучили в «Полиглоте» стенографии и машинописи по новейшей системе. Большой зал, уставленный рядами грохочущих «ундервудов», внушал благочестивое

отношение к конторскому труду. Преподавательницы, солидные особы, прекрасно одетые и причесанные у парикмахера, наставляли учениц в том смысле, что служащая девушка должна быть как картинка, это внутренне дисциплинирует и способствует служебному успеху. Надя чутко прислушивалась к этим наставлениям…

В те годы была безработица; даже девушкам, отлично владевшим машинописью и стенографией по новейшей системе, не так-то просто было получить работу. Но папин заказчик, главный бухгалтер ***-ской конторы парфюмерного треста, устроил Надю у себя в учреждении (сколько папе это стоило, Надя не знала точно). И вот Надя — букет из роз — сидела, скрестив под столом ножки, у окна в уголку, ее лакированные пальцы порхали по клавиатуре машинки, изредка она вскидывала глаза и сейчас же опускала их с бесстрастным выражением: я занята, не отвлекайте меня болтовней, ваши анекдоты мне нисколько не интересны!

Во время заседаний (мы в ту пору заседали мучительно долго; недаром Маяковский ратовал в стихах за «искоренение всех заседаний») у стола управляющего появлялась Надя с горсточкой тонко отточенных карандашей — стенографи-

ровала… Непременно находился какой-нибудь любитель, который добровольно брался оттачивать ей карандаши. Она принимала это как должное — не поблагодарит, не улыбнется. Всякий понимал: знает себе цену гражданочка. И покуда тянулись прения, деловые мужчины следили усталыми глазами за лилейной ручкой, уверенно-небрежно скользящей по бумажному листу… Кончалось заседание, все выходили из табачного дыма желтые и раскисшие, а Надя хоть бы что: убирала свои карандаши и, обмахнув пуховкой щеки, чтобы смягчить румянец, отправлялась к машинке расшифровывать стенограмму.

— Драгоценная сотрудница! — говорило начальство.

Молодые счетоводы и пожилые товароведы пробовали за нею ухаживать. Со счетоводами она иногда ходила в кино, но не допускала глупостей в темноте, это ведь все была голь перекатная, вроде самых завалящих из папиных заказчиков. С товароведами никуда не ходила: у всех у них были бдительные старорежимные жены, она боялась сплетен и скандалов. И что такого особенного — товаровед? Она хотела мужа с большими перспективами; хотела видного поло-

жения; хотела денег. Конечно, хотелось и любви; но любовь — роскошь, которую можно позволить себе только после того, как будет достигнута главная жизненная цель. Надя любила после работы пройтись, одна или с кем-нибудь из женщин-сослуживиц, по главной улице, постоять перед витринами. После голодного, холодного, неуютного военного коммунизма так приятно было любоваться голубыми песцами, котиками, кружевными рубашками, вынырнувшими из небытия с помощью той изворотливой частной инициативы, которая «из мухи делает слона и после продает слоновую кость».

Летом на главной улице этого шумного южного города в две шеренги стояли цветочницы, продавали пышные, великолепные, тревожащие воображение цветы; под полосатыми тентами бесчисленных кафе нэпманы и нэпманчики ели мороженое и заключали коммерческие сделки; у них были свои женщины, шикарные и наглые, без предрассудков; Надя ненавидела их; здесь наживали и тратили не считая, как будто предчувствовали, как ничтожны их сроки; никому не было дела до миловидной конторской служащей и ее вожделений. Она проходила, выказывая безразличие, хотя алчная зависть сжимала ей

горло. И так же безразлично из-под полосатых тентов смотрели на нее, ковыряя в зубах, черняевые южные дельцы.

Прошло два года. Много было исписано карандашей, много израсходовано снадобий, придающих девушке сходство с букетом роз, а шелковых чулок сколько изношено — разорение! — и Надя стала уж подумывать, что, видимо, ее тактика устарела, что секретом достижения жизненной цели владеют те женщины, которые кутят с мужчинами в кабаках, делают аборты и плюют на все на свете.

Но вот в широкое кресло управляющего конторой сел, смущенно ухмыляясь, Степан Борташевич. Не руководящая должность смущала Степана: перед тем он работал заместителем заведующего на заводе «Саломас» и проявил способности. Смущал непривычный шик: шелковые шторы с фестонами, ковер на полу, стеклянный шкаф, где на стеклянных полочках были выставлены флаконы и флакончики, коробки, баночки и тюбики с изделиями треста: духи, одеколон, пудра, зубная паста, губная помада, туалетное мыло, крем от веснушек, ночной крем, крем под пудру, крем для смягчения кожи рук, шампунь, фиксатуар… Пахло в кабинете, как в парфюмерном

магазине. Борташевич потрогал свое кожаное кресло цвета кофе с молоком, стеганное на манер одеяла: чистое шевро; а окружность — два зада свободно уместятся; и сколько же такая меблировка стоит? До чего не похож был этот кабинет на комнатушку Степана на заводе, комнатушку, отгороженную от счетного отдела некрашеной фанерой. Борташевич был парень простой, без буржуйских замашек.

«Культура! — подумал он. — Богатеет республика! Посмотрели бы наши ребята, куда меня посадили».

До революции, мальчишкой, он работал на заводе «Саломас», сперва чернорабочим, потом на прессе. Поджаренное подсолнечное семя горячим потоком текло по рукаву в пресс из печного закрома. Степан включал рубильник: пресс, жужжа, приседал, в резервуар стекало темно-золотое душистое масло. Оно шло на производство саломаса — жира, употреблявшегося для производства мыла. Степан ел хлеб, макая его в теплое подсолнечное масло: хорошая еда! Както в армии, в непогоду, на неприютном ночном привале, под мокрой шинелью, он поделился с товарищами воспоминанием: «Вот, ребята, на заводе и работал — семечки жал; славное дело!

Не тяжелое. И дух такой хороший — просто весь ты этим духом пропахнешь… Сытно пахнет и приятно. И тепло…»

В армию он пошел добровольцем. В восемнадцатом году, когда городом при помощи интервентов овладели белогвардейцы, много рабочих ушло с красными частями, и Степан Борташевич в их числе. Сначала был бойцом, а после ранения и контузии служил по интендантству. Демобилизовавшись, вернулся на «Саломас». Что можно устроить жизнь иначе, ему и не представлялось. «Э, проживу!» — думал он о своем будущем.

На заводе его встретили хорошо — с заслугами товарищ. Он попросился на пресс, но его приставили к хозяйственной части, а вскоре назначили заместителем заведующего. Подвернулась симпатичная дивчина, он встречался с нею по вечерам в клубе рабочей молодежи. Дивчина запевала, и Борташевич с удовольствием пел вместе с комсомольцами:

Я на «юнкерсе» летал,
Чум-чара, чу-ра-ра,
Нигде бога не видал —
Ку-ку!

Погуляли, попели, потом сходили в загс и рас-

писались. Как-то само собой это вышло.

Работал Борташевич с увлечением. Он был хороший организатор, старался изо всех сил, его полюбили. Завод «Саломас» выпускал туалетное мыло. За годы разрухи рецептура была забыта, мастера разбрелись. На бирже труда квалифицированных мыловаров не было. В газетах ругали «Саломас» за качество продукции: мыло получалось вязкое и клейкое, шибало в нос грушевой эссенцией; то совсем не мылилось, а другой раз чуть смочишь водой, весь кусок размокал в кисель… Потребители писали жалобы, сбыта не было, продукция залеживалась.

Борташевич навел справки; удалось установить адрес одного старичка, работавшего раньше мыловаром на «Саломасе». Борташевич съездил за ним в деревню и привез его на завод. Может быть, не так уж много знал и умел тот старичок; но до того ему хотелось оправдать доверие, до того он, как говорится, мобилизовал свой опыт и смекалку, так терпеливо и дружно помогали ему заводские организации, что через два месяца «Саломас» стал выдавать вполне приличную продукцию; а через полгода эта продукция конкурировала с мылом «Букет моей бабушки», популярным среди населения…

Так начинал Степан Борташевич. Радостно ему в те дни работалось, легко дышалось… Когда его назначили в контору богатого всесоюзного треста, он не испугался: что ж, и там буду так же работать, войдя в курс; с завода только жаль уходить… Но уж очень тут все внушительно. Ишь ты, как бывший управляющий поставил дело: верно, так и требуется, недаром его перевели с повышением в Москву… Один главный бухгалтер чего стоит: виски седые, говорит бархатным голосом, осанка — прямо тебе Наркоминдел, а не торговая контора. «Надо будет и мне держаться внушительно, — подумал Степан, — чтобы не нарушать общую картину. Назначила партия на такую должность — понимай, приноравливайся к обстоятельствам…» Вошел посетитель: модные куцые брючки, ботинки с длинными носами, рант прошит золотистым шелком, бритое лицо осыпано розовой пудрой… «Костюм новый придется купить. Не умею я этого ничего…» И он еще раз пожалел о своем стареньком уютном заводе, где все было просто, как дома, где женщины в конторе так же повязывались красными платочками, как и работницы в цехах, и звали его «Степа». И если он чихал, они кричали из-за фанерной перегородки: «Будь здоров!»

В кабинет вошла Надя: принесла бумаги на подпись. Она говорила с новым управляющим почтительно и в то же время сочувственно, как будто он попал и затруднительное положение и нуждался в деликатной поддержке. На ней было темное строгое платье, серебристые чулки обливали высоко открытые ноги. На губах лучшей, высококачественной помадой было нарисовано томное сердечко. Борташевич сидел перед нею в своей полинялой косоворотке и мятом пиджаке, сурово насупясь: он боялся уронить себя, пролетария, перед этой конторской барышней, которая, судя по ее рукам, настоящей работы не пробовала. Но барышня стояла скромно и видом своим как бы говорила: «В обиду не дамся, но место свое знаю, будьте покойны». Уходя, сказала дружелюбно:

— Если вам что-нибудь понадобится, Степан Андреич, — вот звонок, позвоните, это звонок ко мне.

«Нет, она ничего себе», — подумал он, глядя, как она идет на своих высоких каблуках, мягко и пружинисто ступая по ковру и позвякивая маленькой связкой ключей, надетой на палец.

А скоро она стала ему очень нужной: помощница, которой вполне можно довериться. Она

тактично помогала ему освоиться на новом месте, разобраться в незнакомой номенклатуре и понятиях. Держала его бумаги в образцовом порядке, напоминала по утрам, какие дела предстоят ему сегодня. Не раз выручала его из трудного положения: когда являлся неприятный ему посетитель (она умела с первого взгляда отличать таких посетителей), Надя отрывалась от машинки и спешила на помощь неотесанному управляющему; и если Борташевич начинал повышать голос, Надя ловко включалась в разговор и настраивала его на правильный тон. Увидев, что Борташевич ей доверился, она занялась его манерами: «Вы умеете так прекрасно держаться… Вас уважают за ум… Для чего же ругаться, да еще кулаком стучать? Он весь бледный сидел…»

— Так ведь сволочь! — возражал Борташевич, прижимая к груди тощие кулаки. — Вы же слышали — так и юлит, чтобы объегорить государство… Частник, гад!

— Во-первых, частников допустила советская власть — значит, есть от них какая-то польза?

— Вы, Надя, не понимаете: это тактический ход партии. Частник существует временно.

— Но все-таки с разрешения существует, правда?

— Все равно, нэпман мне не товарищ!

— Кто же спорит, конечно не товарищ, но он к вам по делу пришел в учреждение. А вы его обругали по-уличному… И, во-первых, хоть нэпман, но образованный человек. Напишет жалобу, очень приятно…

Нарисованный рот шевелился, как красный цветок; струи парфюмерных ароматов лились на Борташевича — он слушал и думал: «Черт его дери, а ведь верно, раз уж приходится иметь дело с нэпачами, надо личные антипатии спрятать в карман и держаться культурно…»

С двенадцати до часу в конторе был перерыв на завтрак. Надя входила без звонка, стелила на письменном столе белоснежную салфетку, принесенную из дому; за Надей уборщица несла на подносе чай и бутерброды. «Жидкий чай, — строго говорила Надя, — подайте другой». Борташевич пил и думал: «Хорошо иметь возле себя такого человека…» Он рос сиротой, в теткиной семье, в бедности; никто никогда его не нежил; и сейчас у него салфеток не водилось, они с женой обедали и ужинали в столовой, занимались в читальне, дома бывали мало. Надя опять появлялась, прибирала на столе и спрашивала: «Больше ничего не нужно? Я могу пойти в кафе?» — как будто она

была раба, а он владыка, который мог запретить ей завтракать в положенный по закону час.

Борташевичу нравилось, что она так ставит вопрос. Когда интеллигентная и красивая девушка добровольно признает твою власть над нею, ты поднимаешься в собственных глазах. И это не подхалимство: со всеми другими она независима и официальна, даже с московским начальством, приезжающим для обследований и инструктажа. Очевидно, что-то в нем, Борташевиче, есть особенное…

«А в самом деле, — подумалось Степану, — ведь не зря меня партия выдвинула. Тоже, значит, заметили, что чем-то я выделяюсь…»

Благодаря Наде он помаленьку стал чувствовать себя зрелым мужем, талантливым руководителем, крупной персоной, заслуженно владеющей великолепным кабинетом и великолепной секретаршей.

Он стал позировать: рассуждая о делах, вставал и прохаживался по кабинету, заложив руки за спину и глубокомысленно склонив лоб, как мыслитель; или, слушая собеседника, откинется на спинку кресла, вытянет пальцы и бесшумно наигрывает по столу, и сощуренными глазами рассеянно смотрит вдаль…

До сих пор он скупо высказывал свои мысли, считая их мало кому интересными; и вдруг они стали казаться ему значительными, достойными обнародования. Он полюбил выступать на собраниях и выступал пространно, любуясь своими речами и обижаясь, если ему говорили: «Короче». Полюбил представительство: сидеть в президиуме, возглавить комиссию, быть делегированным на какую-нибудь конференцию или хотя бы получить на нее гостевой билет стало для него делом самолюбия; не выбрали в президиум, не прислали билет — значит, не считаются с Борташевичем, недооценивают Борташевича. (Надя такие события тоже принимала близко к сердцу: «Как, вам не прислали билет?! Странно!») Он сшил себе новый костюм, купил скрипучий портфель и шелковые носки в шашечку.

Работа в конторе, налаженная его предшественником, шла гладко, про Борташевича говорили: «Справляется». Старые заводские товарищи, встречая его, восклицали (кто восторженно, а кто скептически): «Покажись; экий солидный стал! Ну, молодец. Смотри только, Степа, не забурей!» — а у жены его Тони спрашивали: как там Степан — не буреет? Тоня, смеясь и простодушно хвастая успехами мужа, отвечала, что буреет:

до того забурел, что в молодежный клуб его не вытащишь, ходит только в «Деловой дом». Тоня продолжала работать на «Саломасе» и жить своей жизнью: комсомолка, рабфаковка, существо такое же угловатое и жизнерадостное, каким был Борташевич до знакомства с Надей. Пока муж сидел на вечерних заседаниях или в «Деловом доме», жена изучала науки либо пела с ребятами и девчатами песни. Борташевича она не называла мужем — это слово среди ребят и девчат считалось неприличным, мещанским, — она звала его по фамилии, а в разговорах с подругами — «мой парень». Детей у них не было, так как они постановили, что Тоньке нужно сначала окончить рабфак, «а уже потом пеленки и вся эта мура».

Иногда жена приходила к Борташевичу в контору… Лучше бы она этого не делала! Уж очень получалось для Борташевича наглядное сопоставление — Тоня и Надя. Ведь жил же он дружно со своей Тоней, и никогда ему раньше не приходило в голову, что можно ее бросить, можно сойтись с другою… Ну, а тут, — где же было Тоне тягаться в очарованиях с Надей. Раза два Тоня заставала Надю у мужа в кабинете. Надя сейчас же уходила, чтобы не мешать начальнику переговорить по личному делу с супругой, но Борташевич замечал

ее сострадательный взгляд, украдкой брошенный на Тоню, и корчился от стыда. Вдруг он увидел — сам, без подсказки! — что у Тони чулки вечно в складках, и какого черта она носит эту мохнатую дрянь, он же купил ей шелковые! И туфли у Тони на низких каблуках, и ногти некрасивые, и голова острижена как у мальчишки, элегантности ни на копейку… А ведь лицом прехорошенькая! Так почему же она не видит, что одета безобразно?! И что за манера, входя, кричать на всю контору: «Здорово, Борташевич!» — как будто он не управляющий, а пионер из базы, где она вожатая… И он раздраженно, а потом и враждебно думал, что Тоня всегда говорит громко, даже дома. «Привыкла кричать, чтобы перекричать других. Везде приходится орать: и в клубе, и с пионерами, — совсем разучилась разговаривать по-человечески…» Тоня беззаботно говорила о чем-то важном для нее, о каких-то учебниках, о контрамарках в театр, она ничего не подозревала, считала ревность мещанством, не могла связывать своего парня с этой накрашенной «девахой» — «явно беспартийной»… Тоня уходила, не заметив переживаний мужа, а Надя возвращалась в кабинет и продолжала деловую беседу тоном глубокого понимания и участия. Борташевичу было отрадно слышать

ее мягкий голос, он готов был плакать о своей погубленной молодой жизни…

В его тяготении к Наде объединилось все: благодарность за признание и поддержку, и молодая страсть, и почтение к накрахмаленной салфетке, и восхищение Надиной выхоленностью и вкусом (наконец-то нашелся человек, который в должной мере оценил ее старания). Тут пахло не пошлым учрежденческим флиртом. Борташевич любил и страдал, и пылал в своем стеганом кресле. Надя держалась как в первый день знакомства; а он был доверчив и девственен, несмотря на то, что знал женщин. Он не догадывался о том, что она ведет бухгалтерский учет его взглядам и намекам и что подчиненные пересмеиваются за всеми дверьми.

Окончательно он погиб, сходив с Надей в «Деловой дом». Накануне она всю ночь не сомкнула глаз — готовилась к походу. (С нею бодрствовали взволнованные папа и мама.) Зато в наступление пошла во всеоружии. Борташевич подмечал мужские взгляды, бросаемые на Надю, и выпячивал впалую грудь. «Ни у кого нет такой спутницы!» — констатировал он гордо. После концерта он пошел ее провожать с ощущением, что что-то произойдет. Но не мог решиться; разговоры текли

по другим руслам. Надя устала ждать и, прощаясь в подъезде, посмотрела на начальника долгим взглядом. Этот взгляд, таинственный и обещающий при свете дрянной засиженной лампочки, сыграл роль искры, попавшей в бочку горючего. Бочка взорвалась. Конъюнктура прояснилась. Надя была воспитана в очень нравственной семье. Она кротко признавала, что начинена буржуазными предрассудками; она сама себя осуждала, но ничего не могла поделать со своей натурой; и даже безумно полюбив молодого управляющего, не позволила ему ничего, кроме жгучих поцелуев, пока он не развелся с Тоней и не оформил новый брак по всем правилам, с уплатой гербового сбора.

Ей пришлось оставить службу — неудобно мужу и жене работать в одном учреждении, — и с тех пор она жила домашней хозяйкой, не порываясь к независимости. Сперва они обитали под родственным кровом папы-портного, который оказался милейшим старичком, душевно расположенным к советской власти и ее порядкам (частников безусловно надо давить, но по-человечески жалко, когда такого старичка притесняет финотдел); потом Борташевичу дали комнату.

У папы-портного было пианино, на котором

Надя наигрывала фокстроты; была старая люстра под бронзу и медвежья шкура, побитая молью. Борташевичу все это очень понравилось. Нечто подобное он видел на экране. «Шик-модерн!» — подумал он на тогдашнем своем жаргоне. Шик был нажит, несомненно, честным трудом — папа-портной целый день сидел на столе в задней комнате и шил. Борташевич с уважением ступал на плешивого медведя и гордился, когда Надя садилась к пианино, играла и пела: «Малютка Нелли, хау ду ю ду, мы верим, Нелли, в твою звезду».

Его смущало, что он, здоровый молодой мужчина, ответственный работник, хозяйственник, не принес в уютный улей этих трудовых пчел ни ложки, ни плошки. Перебираясь с Надей в собственную комнату, он сделал большой заем в кассе взаимопомощи, чтобы обставиться получше; денег не хватило — попросил еще, ему дали.

Он очутился в долгах, и хотя им жилось прилично, но далеко не роскошно, и Наде по-прежнему стоило больших трудов и лишений — выглядеть букетом роз. Борташевичу было очень неловко, что она сидит допоздна, штопая кружевце или терпеливо поднимая петлю на чулке. «Плюнь, — говорил он, — купим новые». А она отвечала со

вздохом: «Что ты: купим, а потом опять не хватит до получки. Уж я как-нибудь в стареньких похожу». Нарядившись и смотрясь в зеркало, говорила печально: «Все из ничего сделано. Представляешь, как мне пошел бы соболь? Мурочка купила соболий воротник». И ему становилось стыдно, что у нее нет соболя, а есть соболь у замухрышки Мурочки.

Он ходил с Надей в гости — у них вдруг оказалась куча знакомых, все высшая интеллигенция, как говорила Надя, беспартийные спецы и члены коллегии защитников — и видел женщин в соболях и песцах, в котиковых шубках, в бриллиантовых серьгах и кольцах, а у Нади было скромное, хоть и модное шевиотовое зимнее пальтецо, и украшения у нее были пустяковенькие, дешевка… Когда они потом возвращались домой, она всю дорогу молчала и вздыхала, и он чувствовал себя виноватым.

— И откуда берут?.. — срывалось у него. Она отвечала:

— Люди умеют устраиваться… А что можно сделать на партмаксимум? Только прожить.

Эти слова он слышал от нее часто, и в нем бродило недовольство, что такой выдающийся человек, как он, борец и деятель, поставлен в

настолько мизерные условия — даже не может подобающим образом одеть свою жену.

Как-то он сказал:

— Надо бы их к нам пригласить, неудобно — всё ходим, а к себе не зовем.

Она ответила покорно:

— Разве мы можем их пригласить? У нас и посуды нет приличной. Ни хрусталя, ни серебра. Осрамимся перед всеми.

Ему перестала нравиться их посуда и захотелось иметь такие же сервизы, какие он видел у своих новых знакомых.

Захотелось, чтобы у него и дома стояли такие же кресла, как в служебном кабинете. А то придут люди — не на что посадить, кроме паршивых стандартных стульев.

Захотелось жить широко, беспечно, не считая рублей. За что боролись, в конце концов! Борташевич — и живет в одной комнате… С женой, и еще ребенок будет!

Надя, заплакав, сказала, что с ребенком в одной комнате немыслимо, она себе не представляет, Степа совсем не будет иметь отдыха, — и сделала аборт. Вы слышите?! Жена Борташевича вынуждена была сделать аборт из-за жилищных условий!

Надя сказала, что Мурочка с мужем уезжают в Харьков. И что они, наверно, согласились бы перед отъездом обменяться квартирами, но, конечно, они захотят за это большие деньги.

— Большие! — мрачно повторил Борташевич. — Где же взять?

Тогда Надя сказала, что у нее есть одна мысль. Эта мысль пришла ей в голову, когда она еще служила в тресте. Очень просто можно достать деньги. Она изложила свои соображения, как можно безнаказанно — никакая ревизия не подкопается — перепродать в частные руки немного дорогого дефицитного сырья. Она излагала план преступления спокойно и деловито, словно речь шла о расшифровке стенограммы. Борташевич ужаснулся, отшатнулся.

— Что?.. — спросил он. — Да это же — да ты знаешь...

И обложил ее густым солдатским матом. Она расплакалась, он кричал:

— Чтоб ты мне больше не смела, чтоб и больше не слышал, поняла?

Она просила прощения: она женщина, она не знала, что это так нехорошо и страшно. Ведь она не говорила — много продать; она сказала — продать немножко. Она думала, что такая громадная

и богатая страна не обеднеет, если где-то какой-то Борташевич возьмет для себя немножко чего-то.

— Голова твоя садовая! — сказал он. — Я ж коммунист!

Дня два он сердился на нее, потом помирились и стали обсуждать, у кого бы занять на обмен квартиры. Надя сказала:

— Знаешь? Попробуй занять у главного бухгалтера, у него есть; я думаю, он тебе даст, это папин старый знакомый.

Неудобно просить взаймы у своего подчиненного, но Борташевич решился — очень уж ему хотелось получить Мурочкину квартиру. Седовласый бухгалтер, похожий на дипломата, откликнулся на его стыдливый намек с большой готовностью. «Степан Андреич, — сказал он своим бархатным голосом с благородными вибрациями, — о чем разговор, для зятя моего друга…» И принес Борташевичу три тысячи — «до лучших времен, Степан Андреич, пусть вас это не беспокоит…»

«Интересно, откуда такие суммы у совслужащего?» — подумалось Борташевичу… но он не стал спрашивать: деньги лежали перед ним, квартирка у Мурочки была отличная… «Какое мне дело, ведь я отдам!» — подумал он и протянул руку…

Они с Надей купили у Мурочки квартиру, купили меховую шубу Наде и много всякого другого барахла. Им было неловко рассказывать, что деньги дал им бухгалтер, и Надя пустила слух, что ее папа выиграл по займу; естественно — старики щедро поделились с единственной дочерью… С этих пор Борташевич жил припеваючи.

Он несколько раз пытался отдать бухгалтеру часть долга, и всегда бухгалтер любезно отклонял эти попытки, уверяя, что лучшие времена еще не настали, и заботливо осведомлялся, не надо ли еще — и иногда Борташевич брал…

А потом долг так разросся, что было бессмысленно пытаться выплатить его.

И Борташевич перестал пытаться.

К этому времени он понял уже все. Понял — и закрыл глаза, заткнул уши, обманул сам себя, сам перед собой сделал вид, что ровным счетом ничего не понимает и понимать-то нечего, зарвался вот только с этим долгом, — но выплатит обязательно, обязательно… когда-нибудь. А пока долг рос, Борташевич подписывал бухгалтеру все бумаги, которые тот просил подписать, и увольнял сотрудников, которых бухгалтер советовал уволить, и принимал людей, которых рекомендовал бухгалтер: каких-то агентов, какого-то кассира…

Он не мог не догадаться, что под маркой возглавляемой им конторы государственного треста темные личности обстряпывают беззаконные дела; и что роскошные знакомые, которые так гостеприимно кормят и поят его из своих фарфоров и хрусталей, тоже получают какую-то пользу от этой конторы, потому и кормят, и поят, и улыбаются… Но опять и опять он затыкал уши, зажмуривал глаза, отпирался сам перед собой: почему темные личности? Обыкновенные советские служащие, члены профсоюза, ничего не происходит, ничего знать не знаю, я же только подписываю бумаги!..

Он продолжал отпираться и тогда, когда, выдвинув ящик стола, находил там деньги, неизвестно кем положенные.

Перестать отпираться — значило сказать самому себе, что он негодяй, обворовывающий рабочее государство, которому кругом обязан.

Перестать отпираться — значило сказать самому себе, что он позорит партию, что его надо выгнать оттуда помелом, как скверную гадину.

Перестать отпираться — значило сказать самому себе, что ему место за решеткой, а не среди вольных людей.

У него были минуты трепета, когда он, неве-

рующий, постыдно молился: «Господи! Сделай так, чтобы перевели на другую какую-нибудь работу!..» — потому что здесь отступления уже не было, он был опутан, его держали десятки цепких и беспощадных рук, и он предвидел, что на любой хозяйственной работе будет застигнут теми же соблазнами и, по слабости, не устоит… Были грозные толчки по ночам: вдруг он просыпался, обливаясь холодным потом, в тоске и ужасе…

Проходила ревизия, ничего не обнаруживалось страшного, никого не схватывали за воротник и не призывали к ответу, — он распрямлялся, светлел, говорил себе: «А? В чем дело? Стало быть, все в порядке? Стало быть, я перед партией чистый? А?» — хотя не мог не понимать, что все далеко не в порядке, а просто опытные жулики обвели ревизоров вокруг пальца.

Так или иначе, он перестал обижаться на то, что его держат в тени и не дают ему представительствовать. Стал скромен: в тени так в тени. Что он собой представляет? Рядовой работник, без должной культуры, ему учиться и учиться…

Он учился. И работал как вол, он и прежде любил работу, а теперь она стала единственным средством забвения и самооправдания. Как огня он боялся, что эти подонки, затянувшие его в сеть,

осмелятся открыто выказать фамильярность по отношению к нему. Он буквально втягивал голову в плечи, когда кто-нибудь из них приближался… Но они вели себя тактично, он был начальник, они — подчиненные, уважающие начальника.

Постепенно он привыкал к своему новому положению. Все легче ему было обманывать себя. Он был молодой, веселый по натуре, нервы были крепки. Он привыкал. И к положению, и к тем житейским благам, которые оно ему приносило.

Контора была на хорошем счету. В канун первой пятилетки Борташевича благополучно перевели в другой город, на другую хозяйственную работу. На новой должности он выписал к себе своего верного бухгалтера… Тут, правда, вскоре случилась осечка: бухгалтер посоветовал ему отдать под суд нескольких работников — «а то как бы нам за них отвечать не пришлось, Степан Андреич», — добавил он. Борташевич послушался совета и отдал под суд работников, указанных бухгалтером. Почему-то они все пошли на скамью подсудимых без протеста, во всем признались и никого не запутали — очевидно, они действительно были виноваты, а больше никто. Впоследствии Борташевичу еще прихо-

дилось отдавать под суд разных сволочей, и они всегда признавали себя виновными.

Бухгалтер опочил в бозе, подготовив себе достойных преемников. Борташевич продолжал жить дальше.

Двадцать с лишком лет он прожил после этого. Никто не узнает нескладного желторотого Степана в солидном, самоуверенном человеке с седыми висками и добродушно-скептической усмешкой в глазах.

Он интеллигентный человек: заочно окончил финансово-экономический институт, учится в вечернем университете марксизма-ленинизма; много прочел книг; может поговорить о политике, литературе, театре: держится просто и достойно, так держатся люди, которым есть за что уважать себя. Его воспитывали, да и сам он изрядно поработал над собой, чтоб быть, как говорится, на уровне.

Он видный работник.

Он нежный отец.

Личина ли это? И да и нет. Личина — потому что все эти качества скрыли от общества Борташевича-преступника, Борташевича-негодяя. Но с другой стороны: работа доставляет Борташевичу искреннее удовольствие. Он любит рассказы-

вать случаи из своей многолетней деятельности — как, например, он строил универмаг, или переоборудовал складские помещения, или как в тридцать третьем году, когда после слома кулацкого саботажа в Ростове вводили продажу хлеба без карточек, он, Борташевич, за двое суток, по звонку из ЦК, организовал сто хлебных лавок и пятьдесят пекарен. Рассказывая, он любуется своей энергией и организаторскими способностями, любуется скромно и симпатично, без акиндиновской заносчивости… Такое же удовольствие он чувствовал от того, что может судить о новой пьесе и о новом романе, и от людского уважения, и от Катиных спортивных успехов, и от вольнодумных Сережиных выходок. Все это занимало его всерьез, все бы это могло быть настоящей жизнью, как у других людей; а личиной стало потому, что у него была, кроме этой внешней жизни, еще другая, подспудная, черная, о которой хорошие люди не знали, а знала только мразь вроде Надежды Петровны.

Неулыбающийся накрашенный идол! Он ненавидел ее — и не мог обойтись без ее поддержки, в минуты растерянности он бросался к ней, и больше броситься ему было не к кому, — но она могла предать его, не моргнув, ей ничего не стоило,

она ведь его никогда не любила… А сама вышла бы сухая из воды, обеспеченная до конца дней своих, — он был убежден, что у нее припрятано на этот случай предостаточно… Она жила, как хотела. Несколько месяцев в году проводила на курортах — черт ее знает, что она там делала, ему наплевать… Он же позволял себе иногда интрижки с секретаршами, не больше. Она, должно быть, знала об интрижках, но не возражала: ей было, в сущности, тоже наплевать на него. Если наружно их отношения выглядели благообразными, то только потому, что были дети, которых боялись они оба и которые вносили в семью свои убеждения, вкусы, понятия и требования, полученные на стороне — в школе, в пионерском отряде, в комсомоле, в вузе.

Дети! Что будет, если они когда-нибудь узнают?..

Думать об этом нельзя. Борташевич не думал. Но он их любил. Он их любил!

Как они плакали, когда им сказали, что умер их дедушка-портной. Они были тогда маленькие и плакали не стесняясь. Старому пройдохе не снилось, что его смерть оплачут ангелы. И всего-то он два раза гостил у них неподолгу, а детишки привязались… Как же они плакали бы, если бы

умер он, Степан Борташевич!

А Надежда Петровна с помощью Марго пустила по городу слух, что получила после отца наследство — бриллианты, принадлежавшие еще ее матери; и стала открыто носить кулон и кольца, которые через Марго купила во время войны и боялась надевать.

Она вообще мастерица была придумывать, как тратить деньги, чтобы их широкий образ жизни не вызывал подозрений.

Все же, видимо, она в конце концов зарвалась. Какие-то пошли шепоты. Борташевич отдал под суд группу работников. Громоотвод — судебный процесс — помог. Молния не ударила. Но спать Борташевич перестал: шепоты не прекращались, они возникали то тут, то там. А Борташевич знал, что, когда шепчут внизу, в массах, — это страшнее шумного начальственного гнева: из шепотов рождаются грозы и обвалы.

В последнее время шепоты участились…

Лично ему никто ничего не говорил, ничто не изменилось в отношении к нему товарищей, но он спиной чувствовал, как приближается опасность.

Каждое мгновение мог раздаться громкий открытый голос, говорящий: «Ты — вор». Это мог

быть голос Ряженцева. Голос Чуркина. Голос Сережи или Кати…

Перед людьми Борташевич по-прежнему являлся осанистым, благодушным, всегда готовым пошутить и ответить смехом на чужую шутку. Трапезничал в кругу семьи. Сдавал зачеты в университете марксизма-ленинизма.

Он вжился во все это, и часто ему казалось, что это реальное его существование, что он на самом деле хороший коммунист, полезный член общества, отличный семьянин… Мираж исчезал, Борташевич видел себя голым, одиноким среди людей.

Так было на бюро горкома, когда исключали Редьковского.

Борташевич действительно чувствовал то, о чем говорил в своей речи, и высказывался со свободной и красивой манерой человека, привыкшего выступать на заседаниях. Говоря, видел себя со стороны, нравился себе и всерьез признавал за собой право наставлять других в вопросах морали. Сел — все рухнуло: увидел, что, говоря о Редьковском, говорил о себе; ощутил знакомую противную горечь во рту, похолодел, подметив случайный взгляд Ряженцева… Редьковский, уходя, споткнулся — Борташевич не выдержал,

оглянулся на него. Ему не было жалко этого рвача, туда ему и дорога. Он потому оглянулся, что ему предстоял такой же уход. Но сразу он подумал: «Где там. Меня на бюро не пустят. Редьковского пустили, а меня и на порог не пустят в горком…» Он увидел себя, Степана Борташевича, под конвоем, увидел ошеломленное, несчастное, враз постаревшее лицо своего приятеля Чуркина, жесткий взгляд Ряженцева, детей… Детей он не увидел. Он не хотел их видеть.

Надежда Петровна может сколько угодно уговаривать его и обливать презрением: он не только слышит и угадывает шепоты — он чувствует, как вокруг него затягивается петля. Что за петля — еще неизвестно, но затягивается. Ясно — базу поджег Цыцаркин, чтобы замести следы. А после пожара два заведующих магазинами подали заявление об уходе — в связи с переездом, по семейным обстоятельствам, в другие города.

Побежали крысы с корабля! Борташевич решительно пресек панику. Никаких уходов! Потрудитесь, товарищи, работать, в торговом деле возможны всякие казусы, прокуратура разберется… Вира — майна! Все по местам!

Но дело идет к развязке. Это видно. Это в воздухе. Ждать нечего.

Чего ждать? Завтрашнего дня?.. Которую ночь Борташевич лежит и смотрит в потолок. Его завтрашний день — это разоблачение и позор. На порог не пустят… Да он и не сможет прийти. Как же он придет, если они будут знать.

Лучше бы не наступал никакой день. Пусть всегда потемки. Лежать. Считать, чтобы уснуть, до тысячи, потом до пяти… Вспоминать что-нибудь хорошее…

А вспоминать тоже нечего. Пекарни, универмаг?.. Все это было вперемешку с мерзостью… Надину любовь?..

О детях вспоминать нельзя.

Ужасно, если нечего ждать. Еще ужаснее, если нечего вспомнить.

Оказывается — жизни не было.

Нет, была, конечно. Но крошечная, куцая и очень давно, — забылась… Он жил, жил. Он был молодой и хороший, с выпирающими ключицами. Задыхаясь, таскал тяжелые мешки. Ел хлеб, макая его в душистое масло, и верил, что завтра будет лучше, чем сегодня. Воевал, был ранен — его лечили, учили, приняли в партию, доверили ему ответственную работу. От души он пел песни и от души смеялся. В полинялой косоворотке, простосердечный, беззаботный, с рвением к

работе и чистыми мыслями, воссел он когда-то в красивом кабинете на важнецкой должности — советским хозяйственником… и все. Дальше нет ничего. Дальше он крал, врал, жрал, покупал Надежде Петровне разные цацки…

Жизнь кончилась в тот день, когда он протянул руку за деньгами. Он сам оборвал свою жизнь.

Мелким бегом бежит на часах секундная стрелка. Бледнеет потолок: светает. Завтрашний день смотрит в окно.

Часть третья

И город пробуждается.

Первыми на чисто подметенные улицы выходят рабочие, это их час. За ними покидают дома студенты, школьники, хлопотливые хозяйки с клеенчатыми сумками и плетеными авоськами и служащие учреждений. А когда весь этот деловой народ разойдется к своим местам, появляются младенцы в колясках, старички, живущие на покое, и разный прочий люд.

Рано утром, до начала работы в горисполкоме, Дорофея с Чуркиным и главным архитектором Василием Васильевичем едут осматривать новый дом, который вскоре будет принимать комиссия. Построен дом на Точильной, окраинной улице (в старину там жили точильщики, от них улица и получила название); Василий Васильевич, загодя выговоривший себе квартиру в новом доме, возражал против того, чтобы этот дом строили в таком запущенном месте; но Чуркин, верный идее ликвидации окраин, настоял на своем. Окруженный маленькими домиками, деревянными заборами и лоскутными садиками, новый

пятиэтажный, с восемью подъездами дом выглядит великаном и красавцем. Он уже покрыт, застеклен и окрашен снаружи, остались мелкие внутренние работы. В нижнем этаже — помещения для магазинов и общественной столовой. Выше — квартиры с балкончиками, со светлыми кухнями; ванные комнаты облицованы белым кафелем; паркетные полы, ниши с полками для книг и для посуды. Все квартиры хороши, но в одной, во втором этаже, Дорофея заметила еще дополнительные украшения и усовершенствования: двери с узорными матовыми стеклами, необыкновенные стенные шкафчики, камин, лепные карнизы… У Василия Васильевича, когда осматривали эту квартиру, лицо было расстроенное; белые склеротические руки дрожали… Делая вид, что не замечает его смятения, Дорофея сказала:

— Миленькая квартирка. Это чья же такая?

Василий Васильевич потащил из кармана пузырек с нитроглицерином… Дорофея беспощадно повторила вопрос. Чуркин пробормотал с неудовольствием:

— Тебе вот непременно подавай уравниловку. Ну, отделали одну квартиру индивидуально, подумаешь. Не для кого-нибудь — для стоящего

человека…

— А ты подсчитал, — спросила она, — во что эта индивидуальная отделка обошлась горсовету?

Чуркин не ответил, она сама подсчитала в уме — и вздохнула.

— А список когда утвердим? — спросила она.

Она имела в виду список лиц, которые будут поселены в этом доме. Жилотдел подготовил список давно, а Чуркин медлил с утверждением.

— Обдумаем сперва, тогда и утвердим, — проворчал он в ответ на ее вопрос и пошел прочь от нее. — Время терпит.

— Где ж терпит? — настаивала она, идя за ним. — Заселять скоро.

— Ладно, ладно, — сказал Чуркин, нервно моргая. — С кондачка не годится. Чересчур много желающих. Только и слышишь — давай площадь. Кто и молчал, так теперь, когда увидели дом…

— Перестали молчать, естественно.

— Естественно. А дом не резиновый. Это, может, Исус Христос кормил, понимаешь, пятью хлебами десять тысяч человек или сколько там. А тут реализм. Тут каждую кандидатуру надо обмозговать, — сказал Чуркин и решительно заговорил с Василием Васильевичем о дымоходах.

«Наобещал квартир и не знает, как выйти из

положения», — подумала Дорофея. Принципиальный, упрямый Чуркин сплошь и рядом бывал мягким как воск, и некоторые люди пользовались этим.

Вышли на улицу, и стало ясно, что ее нужно немедленно мостить и асфальтировать, — уж очень безобразно выглядели деревянные мостки и рытвины по соседству с новым домом, с его нарядными балконами, с громадными, еще пустыми магазинными витринами.

— Этак задождит — моментально грязи нанесут в магазин, — сказала Дорофея, и Чуркин начал договариваться с Василием Васильевичем и прорабом, чтоб не позже завтрашнего дня расчистили площадку вокруг дома, послезавтра начнем приводить улицу в божеский вид.

День полон трудов. Кто строит дом, кто станок; кто отвешивает хлеб покупателям, кто нянчит ребенка, а кто пишет книжку. А когда поработано на совесть — почему не повеселиться? Нынче вечером в парке культуры — проводы лета, большое гулянье с фейерверком и аттракционами.

Оркестр без устали играет танцы; подхваченные репродукторами, на весь парк гремят краковяки и вальсы. Танцевальная площадка не может вместить желающих; танцуют в ал-

леях и на дорожках цветника. Пляшут молодые люди в пиджаках, ученики ремесленных училищ, курсанты военной школы и бесчисленное множество девушек. Попадаются костюмированные — то мелькнут расшитые рукава и головка в венке из цветов, с разноцветными лентами, развевающимися в танце, то пройдет, томно обмахиваясь платочком, запыхавшаяся «ночь» в черных с блестками одеждах. Цепи цветных фонариков разбегаются в темной листве. Смех и говор звучат не смолкая. Лихорадочно работают продавщицы мороженого: чуть покажется продавщица с коробом своего сладкого товара, как девушки, молодые люди в пиджаках, ремесленники и курсанты обступают ее тесной толпой; несколько минут суеты и давки — и толпа рассыпается, и продавщица налегке поспешает за новой партией товара…

Блистая серебряными позументами, кружится смешная карусель с верблюдами и жирафами. На жирафе в малиновых яблоках катят задумчивые, углубленные в себя Юлька и Андрей.

— Значит, решено, — говорит он сдавленным от любви голосом. — Завтра я иду.

Она молчит, ей вдруг жутко ответить «хорошо». До сих пор, при всей ответственности ее

намерений, это было похоже на игру; Андрей, хоть считался женихом, был просто нежный брат и преданный товарищ, и она ходила вольная, ничем не скованная, — но вот завтра он заявит в загс об их браке, а через неделю их зарегистрируют, она переедет к нему в ту комнатку на седьмом этаже, для которой сама покупала занавески, и что же это будет, куда денется ее теперешняя, милая и свободная девичья жизнь?.. Карусель кружится, музыка играет, лица людей, стоящих кругом, мчатся, мелькая, все плывет, — Юлька закрывает глаза…

— Так решено, — повторяет Андрей и берет ее за руку. И в первый раз она вздрагивает от горячего и твердого прикосновения его руки.

— Хорошо, — отвечает она с закрытыми глазами.

Третья смена музыкантов заняла места в оркестре, дважды прокрутили механики старый веселый фильм «Антон Иванович сердится»… Но кончается и эта ночь, гаснут цветные фонари, пустеют аллеи, забросанные окурками и бумажками, на окурки падает, кружась, желтый лист, — прощай, лето, до нового свидания!

Новое разгорается утро, в это утро на энском аэродроме встречают болгарских гостей.

Солнце еще не печет; за серо-зеленым полем, в лощине, курится туман, сквозь туман темнеет дальний лес. Небо золотистое, спокойное, в нем стоит мягкий моторный рокот.

Над громадно-распахнутым полем идет на посадку самолет. Он опускается, разрастаясь — летучая серебряная чудо-рыба с большой головой, — и садится на дорожку шагах в двухстах от встречающих. Отворяется дверца, люди выходят. На ветру, поднятом винтом, взвиваются красные клетчатые юбки болгарок… С чувством торжества и красоты происходящего Дорофея идет к ним, и навстречу протягиваются смуглые руки, блестят белые зубы на смуглых лицах…

Старуха Попова выделяется среди всех черным платьем и черным платком. У нее горбоносое худое лицо, усики над губой и узловатые крестьянские руки. Ей подносят букет; Попова держит его как сноп, цветы не идут к ее вдовьему наряду и резкому, словно из темного камня вырезанному лицу. Красавица Марчева хочет взять букет, чтобы помочь ей; Попова не отдает и строго говорит что-то.

— Что она говорит? — спрашивает Дорофея.

— Она увезет эти цветы в Болгарию, — по-русски отвечает Марчева, опережая переводчицу. — Она

их положит на братскую могилу, где похоронены ее сыновья. У нее оба сына казнены при фашистах, — вполголоса добавляет Марчева, с доверием глядя на Дорофею черными, как черный бархат, длинными глазами в густых ресницах.

Они едут в гостиницу. Сентябрьский город ярок и пышен. С великолепным напряжением всех сил цветут цветы на бульварах и в скверах. От цветов, от расставленных всюду ларьков с грудами бледно-зеленой капусты, красных помидоров, оранжевой моркови и лиловых слив небывало пестры улицы. Урожай вливается в город и затопляет его своими дарами и красками. Старуха Попова прямо сидит в машине и, медленно поворачивая голову, осматривает все суровым зорким взглядом. «Что она чувствует, — думает Дорофея, глядя на ее орлиный профиль, — что чувствует в нашей стране старая женщина, которая все отдала, чтобы ее народ мог жить свободно, как наш?..»

В гостинице гостьи переодеваются. Попова достает из чемодана заботливо сложенное ситцевое платье и тоже переодевается, изредка вмешиваясь в общий разговор. Дорофея видит ее старые, жилистые руки и мытую-перемытую рубашку деревенского холста с большой серой заплатой из

нового холста на спине. И забытое воспоминание входит в сердце: мать! Мать стоит и переодевается — те же руки с узлами рабочих мышц и с острыми локтями, те же терпеливые мужицкие лопатки под рубашкой, и рубашка такая же, с аккуратно наложенной грубой заплатой, только изба низка и темна, мглистый день развидняется еле-еле… Облик показался и скрылся; и осевшая могила на краю погоста мелькнула далеко, далеко… Дорофея смотрит на Попову, и так ей понятно все, что было и есть в душе и в жизни Поповой.

В чемодане у Поповой лежат сельскохозяйственные брошюры на русском языке.

— Товарища Попову интересует опыт передовых колхозников, — переводит переводчица. — Она руководит кооперативным хозяйством. Большая борьба; кулаки стреляли в нее; в лесу, когда она ехала на станцию; но не попали.

А у Марчевой с лица, покрытого персиковым пушком, не сходит сияние. Марчева сильная, яркая, она так хороша, что от нее не хочется отвести глаза, в ней все красиво — от богатых смоляных, бурно вьющихся волос до стройных ног в щегольских башмачках. О ней рассказывали, что девочкой она партизанила вместе с братьями и была отважна до безрассудства; но в изящной

женщине с нежным голосом и сдержанными манерами не узнать отчаянной партизанки, которая в мужской одежде пробиралась козьими тропами по горам.

— Вы очень хорошо говорите по-русски, — замечает Дорофея.

— Я скажу вам секрет, — говорит Марчева. — Я не оставила надежду, что все-таки буду учиться в русском университете. В СССР. Не поздно учиться: мне двадцать три года, — говорит она с некоторой тревогой, полувопросительно подняв к Дорофее свои прекрасные глаза с голубыми белками.

— Почему же это до сих пор не удалось устроить? — спрашивает Дорофея.

— Я вышла замуж, — отвечает Марчева, опуская ресницы…

Надо же, чтобы в такой хороший день на глаза Дорофее попался Геннадий. После приема у Чуркина и осмотра города гостьи приехали в Дом техники. И тут на улице Дорофея столкнулась с сыном.

Он шел с двумя здоровенными парнями в длиннейших сверхмодных пиджаках. У всех троих были самодовольно-брезгливо ухмыляющиеся лица — «э, мы цену себе знаем, нас ничем не удивишь!» — откровенно нагло заявляли эти лица…

Волосы чуть не до плеч — мода, что ли, у них не стричься?.. — и походка как у паралитиков. Они в упор рассматривали Марчеву. «Н-ничего!» — громко сказал один. «Да нет, примитив!» — сказал другой. Дорофее кровь ожгла щеки… Геннадий увидел ее и кивнул. Она не ответила, прошла к подъезду ему наперерез, не оглянувшись. На минуту она перестала слышать и соображать, что делается кругом…

«Чужой! Чужой!» — мучительно ясно и до конца ощутила она — никогда еще не было такой ясности и окончательности…

«…Везде чужой, во всем!» — с отчаяньем думала она, слушая вокруг себя говор на двух языках и силясь улыбаться…

…Перед вечером болгарки улетели. Опять было небо без облаков, пронизанное спокойным светом, и запах сена, и мягкий, важный рокот моторов в высоте над аэродромом. Серебряная машина стояла на дорожке, распластав могучие крылья.

— До виждане, до виждане, — говорили болгарки.

— Уверена, еще увидимся в жизни, — сказала Марчева, глаза ее нежно мерцали в черной опушке ресниц.

— Благодаря за всичко, — сказала старуха Попова.

— В добрый час. Приезжайте еще, — отвечала Дорофея, пожимая руки.

Загрохотал мотор. Горячий ветер дунул и затрепал траву. Самолет двинулся по дорожке, разбежался, отделился от земли и, удаляясь, стал подниматься. И гул его влился в гул других моторов, парящих в высоте.

Дорофея стояла, сложив руки щитком над глазами, и смотрела ему вслед, пока он не скрылся, сверкнув искоркой.

Один из самолетов, круживших над полем, снизился и сел на дорожку. Из него стали выгружать ящики с виноградом. Ветерок, набежав, донес до слуха пыхтенье локомобиля и говорок трактора… Золотая пора забот и изобилия, время сбора плодов и нового сева! Как бы хорошо было в тот час Дорофее… если бы не это чувство беды и вины, что тенью ложится на поле и небо, — «моя вина, я ответчица, — и как же теперь развести мне эту беду?..»

Г лава четырнадцатая, посвященная главным образом вопросам брака

— Вас просит сын, — сообщила секретарша.

Дорофея покраснела от гнева: она не хотела его видеть! С плакатной наглядностью представилась вчерашняя позорная встреча на улице… Секретарша ждала. Дорофея сказала:

— Пусть зайдет.

Геннадий вошел оживленнее обычного, вид приподнятый:

— Мать, здравствуй. Зашел проститься, поздравь: завтра еду.

— Куда это? — крепясь, осведомилась она сухо.

— В Одессу. Из Одессы в Батуми — морем. На теплоходе «Россия». Здорово?

— Очень. Это что же, уже отпуск?

— Понимаешь, вырвал-таки. Не хотели давать. Вырвал без сохранения содержания. Знакомый оказал протекцию…

— Откуда деньги на поездку?

— Понимаешь, так удачно, как раз выиграл по займу, — солгал Геннадий. — Но если ты в форме… я бы ничего не имел против, если бы ты

добавила. — Цыцаркинские деньги уже несколько порастаяли, и было бы не худо получить для такого экстраординарного случая дотацию от матери.

— Я не в форме, — сказала она. — И вообще, Геня…

Тон был непривычно жестким. Геннадий насторожился.

— Мне не нравится твой образ жизни. Мне не нравится этот отпуск. — Она сидела, маленькая за большим столом, и с каждой фразой энергично пристукивала карандашом по столу, лицо ее выражало боль и решимость. — Мне не нравятся твои знакомые. И мне это все надоело.

— Откуда ты знаешь моих знакомых?

— Видела вчера. Что это такое? Откуда взялось? Что за шпана около тебя?

— Никакая не шпана. Обыкновенные ребята… В чем дело? Ты не хочешь, чтоб я ехал? Но почему? Каприз с твоей стороны…

— Ты посмотри на свой пиджак. Да ты в зеркало, в зеркало, это курам на смех, такая длина… А поповские патлы для чего? Я спрашиваю — патлы зачем?

— Ну, мода…

— Чья мода? Не знаю такой моды.

— Ну, стиль… Мало чего ты не знаешь! Тебе непременно нужно, чтобы я был похож на всех.

— А тебе и твоим дружкам — лишь бы не быть похожими?

— А что?

— Для чего вам быть непохожими? Чтобы отделиться? От кого отделиться? Ты соображаешь — от кого?

— Фу-ты, из мухи слона… Да я на юге подстригусь. Завела об ерунде… Нет денег — ну и нет, обойдусь, а при чем тут пиджак, патлы…

— При чем — вот при том! — сказала она и, стукнув, сломала карандаш. — Нарочно не хочешь понять, что тебе говорят! Какое ты имеешь право — без сохранения содержания? За чей счет? За мой? Зинаидин? Сашин?.. Ты сколько месяцев за пятилетку отработал? На проценты с какого такого капитала живешь? Чужим трудом живешь! Кто ты есть? Цель у тебя какая? Назначение твое? Можешь ты подумать наконец?..

Она все повышала голос, приходя в ярость, — ну вы подумайте, не вдолбишь ему, дурак он, что ли!.. Он рассердился:

— Пришел проститься по-хорошему… в кои веки что-то удалось… и на тебе, опять сцена! Жизни нет!.. Непременно живи так, как вам хочется…

— Кому это — «вам»?!! — крикнула она, вскочив, и уже не карандашом — кулаком ударила по столу так, что услышали в приемной. — Отделяешься? Отказываешься? Мы, значит, особо, а ты — особо?.. Эй, Генька! Смотри!.. — прокричала она бешено. — Под ноги погляди — куда идешь-то!..

Быстро вошла секретарша.

— Дорофея Николавна, вас к телефону, Дорофея Николавна, успокойтесь, — заговорила она…

Движением руки Дорофея велела ей молчать.

— Придешь ко мне, когда станешь человеком! — сказала она Геннадию. — А пока не человек — не показывайся. Хватит с меня. Иди!

— Ах, так!.. Ладно! — сказал он и вышел.

— Ох, да что же мне делать! — простонала она, стиснув руки. — Какими словами говорить!..

Почувствовала — ноги не держат; опустилась на стул и подперла голову. Секретарша, испуганная, совала стакан:

— Дорофея Николавна, выпейте водички, что это вы, почернела даже вся, выпейте, расстроили вас…

— Явится — не пускать, — сказала Дорофея, еще задыхаясь. Глотнула воды и заплакала горячими слезами. — Вот видите, Тася, как… Сердце отдала — и видите, что получилось…

— Черт знает что! — фыркал Геннадий, шагая по улицам. Он не придал чересчур большого значения тому, что только что произошло: понервничала мать, а сейчас уж, наверно, одумалась и кается; не может она прогнать его всерьез… Но — кому приятно все-таки выслушать такое, как он выслушал? Да еще в учреждении, при секретарше, — на весь город пойдет… И погода испортилась, день помрачнел, забрызгал частый дождь, а Геннадий, как на грех, был без плаща. Эх, ну ладно, как-нибудь доживем этот неудачный день. Завтра утренним поездом — тю-тю, поехали!.. Одесса, Батуми, каюта первого класса, знакомства, шелковые пижамы, всего-то раз я был на юге, — когда мы с матерью ездили?.. В тридцать девятом, мне четырнадцать лет было, что я в этом юге понимал…

Так, утешаясь мыслью о предстоящих развлечениях, он дошел до автобазы. Требовалось заглянуть туда еще на четверть часа, чтобы подписать акт о передаче имущества. Отворив дверь диспетчерской, где две девушки одновременно разговаривали по телефону, Геннадий остановился: у стены на деревянном диване сидела Лариса, держа на коленях сумочку и зонтик.

«Что, и эта сделает сцену? Или попытается воз-

обновить отношения?» Геннадий был убежден, что стоит ему захотеть, и Лариса бросит невзрачного человечка, что был с нею на вокзале, и вернется к нему, Геннадию. Смешно представить себе, чтобы после такого мужа она полюбила того человечка.

— А! — сказал он, мотнув головой. — Здравствуй.

— Здравствуйте, — ответила она, вставая. Руку не протянула. — Мне надо с вами поговорить.

— Ну, что ж, — сказал он, — заходите. — И отворил перед нею дверцу в закуток, носящий название кабинета: узкое, в ширину окна помещение за деревянной перегородкой, обставленное убого — стол, два стула и на стене железный прут с наколотыми на него бумагами, — поработала бы мать в таких условиях, у нее вон какой кабинет.

— Садитесь. — На «вы» так на «вы», оно и лучше: разошлись и соблюдаем дистанцию. Видимо, она не по поводу возобновления отношений. И сцены, кажется, не будет, спокойно держится Лариса.

В ней не было заметно волнения, только некоторая скованность. Солидней стала: развилась грудь, округлилась шея, движения плавные. Н-да, вкус у меня всегда был. Она понравилась

ему, он принялся кокетничать: откинул волосы, засвистел, сделал интересно-задумчивое лицо. Она поглядела равнодушно на эти манипуляции и сказала:

— Я по делу. Нужно оформить развод.

Перестав свистеть, он кивнул с готовностью: можно оформить, почему не оформить…

— Можно и по одностороннему заявлению, — продолжала она, — но лучше, чтобы и вы подписали. Юрист составил заявление, я принесла. — Она достала бумагу из сумочки. Очень выигрывает женщина, когда у нее глаза не на мокром месте…

— Где подписать?

— Вот здесь подпишите.

— Здесь? Ага.

Он взглянул на нее долгим взглядом и с удовольствием увидел, что она краснеет.

— Так здесь, значит.

— Да, да.

«И с этим человеком я была близка», — подумала она с отвращением, в точности расшифровав его жесты и взгляды.

Она долго откладывала бракоразводные формальности, чувствуя страх перед необходимостью рассказывать посторонним людям, судьям, о перипетиях своей несчастной семейной жизни

и, рассказывая, снова и публично пережить всю эту горечь и грязь. Но теперь подумала: очень хорошо, что наконец решилась; лучше скорей через это пройти; только развязавшись окончательно, освобожусь от постыдных воспоминаний.

— А как вы сегодня вечером, — спросил Геннадий знакомым ей тоном ласкового снисхождения, подписав бумагу и возвращая ей, — не свободны?.. Может, сходили бы в ресторан? Чокнуться за развод…

— Вы глупы и грубы, — сказала она. — Больше ничего не могу вам сказать. — И вышла, не простившись и не поглядев.

Пришли дожди и осенняя скука улиц, по окраинам не пройти без калош. Правда, есть проблески: едва проглянет солнышко — начинает пахнуть мокрыми листьями, и живучая ромашка в расселине старой мостовой расправляет понурые лепестки и делает вид, будто ей предстоит тут красоваться еще бог знает сколько дней. И вообще жизнь идет, и в домике на Разъезжей готовятся к свадьбе, потому что никакие дожди не в силах воспрепятствовать людскому счастью, и осенью у нас в Энске празднуется столько же свадеб, сколько весной.

Юлька сидит на полу своей маленькой деви-

чьей комнатки. Вокруг нее разложено все, что она накопила за девятнадцать без малого лет своей жизни. За девятнадцать лет человек, живущий на одном месте, накапливает, друзья мои, очень много. Любимые книги, фотографии, письма, школьные табели. Начатые и брошенные дневники. Театральные программки, брошки, коробки от конфет и флакончики из-под духов и одеколона. Незаконченное вышиванье, сломанные безделушки и мятые ленточки. И чего-чего нет в этом хозяйстве. Вот, например, этот маленький ключ: что он открывал? Не вспомнить. А вот записка. На ней фиолетовыми чернилами нарисовано сердце, проткнутое стрелой. Эту записку Юлька получила, когда была в четвертом классе. Ее написал один мальчик из пятого класса. Сердце толстое, немного кривое и очень лиловое. Но ведь жалко выбрасывать, правда?

Целый день сидит Юлька на полу и задумчиво перебирает все по листочку, чтобы самое важное и дорогое унести с собой.

Но вот Юлькина кровать, шкафчик с книгами, столик, зеркало, большой чемодан с одежками и маленький — с письмами, фотографиями и фиолетовым сердцем мальчика из пятого класса отправлены на грузовике в Ленинский район, в

новый молодежный дом, и Юлька уже не Куприянова, и Юлька уже гостья на Разъезжей.

Свадьба прошла обыкновенно: сносили из соседних домов тарелки и стулья, кричали «горько», набежало видимо-невидимо девушек, продуманно причесанных и надушенных модными духами «Белая сирень», и Квитченко четырем девушкам сделал предложение, о чем наутро совершенно забыл… Из приглашенных не явился на свадьбу только Павел Петрович.

Он в тот вечер заканчивал диссертацию и одиноко торжествовал свою маленькую победу. Отнес рукопись машинистке, поставил на полку книги, которые пролежали на столе полтора года, выбросил черновики — и почувствовал себя странно свободным, неприкаянным, чего-то не хватало… Вдруг по почте пришло письмо от Ларисы.

«Мне нужно с Вами поговорить, — писала Лариса, — не можете ли Вы прийти 26-го в 11 ч. утра в городской сад, я буду ждать у фонтана».

У фонтана? Павел Петрович уловил классические ассоциации и наморщил лоб.

Подписано было: «Уважающая Вас Лариса». Бумага пахла сиренью… Он перечитал письмо. Попытался представить себе Ларису — не уда-

лось: представилась белая блузка, кокошником уложенная темная коса, нежный голос; лицо ускользало…

Он пошел в районо на методическое совещание. Идя по улице, случайно взглянул на витрину магазина и среди пестрых тряпок и развешанных гирляндами кружев увидел две женские ноги — из мастики или пластмассы, — согнутые в колене, с вытянутыми, как у балерины, пальцами, они красовались в самом центре, демонстрируя чулки высшего качества. Павлу Петровичу не понравилась залихватская игривость этой рекламы, но тут же неведомо откуда пришла мысль: а ведь он за всю свою жизнь не купил ни одной пары женских чулок.

«И ни одной сумочки», — подумал он, увидев рядом с ногами сумки.

Ночью шел дождь, шумел по крыше и стекал по оконному стеклу, кривые капли на стекле скучно блестели в зеленом свете лампы.

В одиннадцать часов утра в городском саду безлюдно и сыро. На опустевших клумбах умирают медленной смертью грязные лохматые астры. В бассейне на поверхности воды лежат коричневые листья. Лариса в белом шелковом шарфе, накинутом на голову, очень красива, — она очень

красива, оказывается… Павел Петрович идет и не знает, что сейчас будет. Его слегка знобит.

— Вы приходите так редко… — говорит Лариса своим нервным, срывающимся голосом.

«Объяснение, — констатирует Павел Петрович. — Да… Но что же она замолчала? Почему она больше ничего не говорит?»

Лариса доходит до конца аллеи и поворачивает обратно.

— Я просто не могу так редко! — произносит она с места, на одном выдохе, словно не было никакой паузы.

И опять пауза. И что-то бурно расцветает в душе у Павла Петровича — какое-то бессмысленное ликование.

— Я должна вас видеть каждый день, — говорит Лариса, глядя не на него, а вперед, перед собой.

Павлу Петровичу становится жарко. В жару он ходит от одного конца аллеи до другого. Губы его склеились от молчания.

— Когда вы уходите, у меня такая тоска… — слышит он.

«Необыкновенно, непонятно, — думает Павел Петрович. — Поразительно и великолепно, что у нее тоска».

По соседней аллее проходят двое, их скучные

кепки мелькают над кустами меж стволов деревьев, громкие голоса спорят о каких-то лимитах… Павлу Петровичу нужно, чтобы они замолчали и прошли, и вернулась тишина, и в тишине он бы в полную силу пережил смысл того, что сказала Лариса.

Она говорит:

— Когда вас нет чуть не целую неделю… Я все время думаю, мне кажется, что вы не придете…

Молчать, наконец, противоестественно. Павел Петрович расклеивает губы, чтобы задать резонный вопрос:

— Почему не приду?

Его голос кажется ему чужим и диким.

— Не знаю, — говорит Лариса.

Целую вечность они ходят в безмолвии. Лариса останавливается.

— Ну, вот… — говорит она упавшим голосом. — Ну… Что же делать. Прощайте.

Она быстро идет прочь от него, а он смотрит и не понимает, зачем она уходит.

— Только тогда не приходите! — страстно говорит она, оглянувшись. — Тогда — ничего не надо, совсем…

И еще ускоряет шаг, и ему страшно — неужели сию минуту конец необычайному существова-

нию, в которое он только что погрузился?

— Лариса! — восклицает он.

Галка, вспугнутая его криком, шумно вспархивает в ветвях. Сыплются желтые листья…

Лариса стоит и ждет. Он приближается с испугом в глазах.

— Ну для чего же! — говорит он бессвязно, поспешно беря ее за руку, чтобы удержать свое новое существование.

Она смотрит с сомнением, но сквозь сомнение в ее лице проступает, розовея, первое робкое торжество.

— Я же не знаю… Вы ничего не говорите… — так же бессвязно отвечает она, и из глаз ее льются слезы.

И он смотрит с восторгом на эти слезы, которые льются из-за него.

Его сердце наполняется благодарностью и готовностью ко всем дальнейшим неожиданностям, которые приготовила для него эта красивая женщина с белым шарфом на голове. Он не может отвести от нее взгляд. Это не та Лариса, которая звала его в гости и поила чаем. Эта — невиданная, чужая, но пусть она говорит и плачет и никуда не уходит.

Он ведет эту чужую, странную женщину к ска-

мье, скамья влажная, он подстилает свой плащ. Они сидят рядом, он держит ее холодные руки. И с удивлением рассматривает тонкие, немного огрубевшие на концах пальцы с короткими перламутровыми ноготками, неизвестные, девичьи, отдающиеся ему. Что-то надо с ними делать, этого требует весь его организм; и он то сжимает их, то подносит к губам и греет своими губами.

Они сидят совсем недолго, но она встает и говорит, что ей пора в институт, уже три часа.

— Ну что вы! — говорит он, не веря. И она смеется блаженным, нежным смехом и, подняв рукав, показывает часики на запястье…

Он идет с нею по саду, по улицам, вплоть до дверей института — если бы предложила, пошел бы и в институт. Но она прощается.

— Я буду дома в девятом часу, — говорит она. — До свидания.

— До свидания, — повторяет он, не двигаясь с места.

Тяжелая дубовая дверь закрылась за нею. Мимо этой двери он проходил много раз, не замечая, — теперь она вошла в его существование, и вывеска тоже.

Он пошел по улицам один. Одиночество казалось незаконным, вызывало протест. Того, что

было, было слишком мало. Сказано всего несколько слов из тысяч возможных.

Перебирал в памяти то, что сказано. Ничто не забылось, воспоминания были в сохранности. За каждым из них теснилось неразведанное.

Ярко, как при вспышке магния, он мог теперь представить себе ее лицо.

Но все же он не очень верил. Он хотел бы удостовериться, что новое существование не эфемерно; хотел бы это все закрепить за собой.

…Положить в карман, как положил вчера письмо…

Неужели это было только вчера?..

Он ходил до вечера. Иногда брызгал дождь. Потом переставал. Один раз Павел Петрович обнаружил себя сидящим в кафе. На столике была чашка с бульоном и пирожок на тарелке. Бульон был горячий, Павел Петрович обжегся и увидел чашку, пирожок и прочее.

Около восьми он вошел в цветочный магазин. Опытные продавщицы расшифровали его желания, неясные ему самому, и соорудили букет из розовых хризантем. Букет, завернутый в бумагу, получился довольно громоздким, но Павлу Петровичу эта ноша была не в тягость.

Он вышел из магазина и сразу натолкнулся на

одного из своих бывших учеников, Александра Любимова.

— Здравствуйте, Павел Петрович, — сказал Саша.

— Здравствуйте, — ответил Павел Петрович, остановись невольно, потому что остановился Саша.

— Далеко идете, Павел Петрович?

— На Разъезжую.

— Давайте я вам пакет донесу. Это вы не гитару купили?

— Нет, это не гитара, — ответил Павел Петрович. — Это цветы. Спасибо, я сам. Всего хорошего, Любимов.

Саша проводил учителя глазами и зашагал своим путем — к Сереже Борташевичу. Он ходил туда каждый день, как на службу, в надежде повидать Катю. Служба была серьезная, бессрочная, без возможностей отлынивания и прогулов, без перспектив на повышения и награды.

А Павел Петрович дошел до маленького дома на Разъезжей и не успел позвонить, как отворилась дверь и Лариса встала на пороге.

— Идемте… — прошептала она, когда он молча отдал ей пакет, похожий на гитару.

Он стоял ступенькой ниже и не шел. Взял ее за

локоть и слегка потянул к себе.

— Я не хочу туда, — сказал он беспомощно. — Пойдемте лучше куда-нибудь.

Ему показалось, что едва он войдет с нею в знакомую столовую и сядет пить чай — рухнет все, возле него очутится прежняя симпатичная и скучная Лариса, а эта исчезнет, и выяснится, что не было ни слов, ни слез, все мираж.

— Куда же?.. — спросила она.

— Куда хотите, — ответил он, держась за ее руку и чувствуя ее дрожь. Вдруг осенило: — Ко мне, конечно!

Дрожь в ее руке усилилась, он тоже вздрогнул и выпустил ее.

— Как хотите, — сказал он резко и отчужденно.

— Хорошо, — сказала она и медленно пошла в глубину веранды. Он сказал ей вслед:

— Пожалуйста, наденьте белый шарф.

Густели хмурые сумерки. Рывками налетал сырой ветер. Небо было закрыто тучей. В конце широкой улицы, за краем тучи, лежала желтая полоска зари. Павел Петрович ходил перед домом, опустив голову, засунув руки в карманы плаща…

Глава пятнадцатая, посвященная неприятностям разного рода

На прием к Дорофее пришел столяр Ефимов, которого она зимой устраивала на жительство в общежитии химиков. Маленький, хмурый и деловой, он сел против нее и вытащил из бумажника пачку бумаг.

— Как живете? — спросила Дорофея.

— По-прежнему на бивуачном положении, — сказал Ефимов. — И поскольку конца не предвидится, я к вам пришел.

Он протянул бумаги; они рисовали картину хождения Ефимова и его жены по жилотдельским мукам.

— У Тани ребенок, и у нас обещает быть, — сказал Ефимов. — Надо с нами решать. Обещано было в октябре. Теперь говорят — жди еще.

— А у заведующей горжилотделом вы были? — спросила Дорофея.

— И у заведующей был, и у самого товарища Чуркина, — ответил Ефимов. — Она меня к нему послала. Он, говорит, новым домом распоряжается лично, я без него не могу. А Чуркин говорит

— потерпи еще. Я бы терпел; но ребенок требует кубатуры. В чем дело? Нам не обязательно в новом доме. Нам — комнату где угодно.

— Оставьте эти справки, — сказала она, нахмурясь. — Я вас извещу.

«Я так и знала, — думала она после его ухода, сердито ходя по кабинету. — Чуркин уже сам распределил квартиры в новом доме».

Среди чуркинских слабостей была та, что он совершенно пасовал перед так называемыми знатными людьми. Человек, имеющий известность, был для него на десять голов выше его самого. Когда кого-нибудь из энских граждан награждали или просто хвалили в газете, Чуркин гордился отеческой гордостью. «Вот у нас какие люди живут!» — говорил он.

Как-то на стадионе подошел отставной генерал Р. и на вопрос: «Каково самочувствие?» — пожаловался, что квартира стала тесновата, семья разрослась, у дочери — Чуркин, должно быть, слышал — двойняшки, а он, генерал, пишет мемуары, и его все отвлекает.

— Где выход? — спросил Чуркин, обеспокоившись за судьбу мемуаров.

Выход генерал видел в том, чтобы Чуркин дал ему квартиру в новом доме, а старую квартиру

генерал оставит дочери, и тогда все будет в порядке.

— Добро! — сказал Чуркин. — Мы подумаем.

Потом пришел к нему на прием режиссер Л., заслуженный артист республики, и попросил разрешения быть откровенным. Чуркин разрешил, и Л., страдая, рассказал, что он разошелся с женой, а жить приходится в одной квартире, и это ад, потому что между женами, старой и новой, сложились ненормальные взаимоотношения.

— Я несколько раз был вынужден ночевать в театре, — сказал Л., тихо ломая длинные чистые пальцы и глядя в пол. — Творческая жизнь исключена.

— Гм! — сказал Чуркин. — Какая у вас площадь? Гм… И детей нет… А не обменять ли вам квартиру на две врозь, мы поможем.

Но Л. сказал, что старая жена ни за что не расстанется со старой квартирой, а он, Л. и новая жена — она тоже изнервничалась — мечтают о новой квартире, в новом доме, чтобы новую творческую жизнь строить на абсолютно новом месте… Чуркин грустно рассматривал его облысевший лоб, гусиные лапки у глаз и легкомысленный юношеский галстук и размышлял о том, как нехорошо пожилому мужчине, известной личности,

ломать семью и ставить двух женщин в такое положение… Но решил, что сделанного не исправить, а нужно помочь. И укоризненным голосом пообещал Л. квартиру в новом доме.

«Я окружаю вниманием лучших людей, — уговаривал он себя, когда уже процентов восемьдесят новой площади было таким образом обещано и его стала угнетать мысль, что он в этом вопросе наломал дров. — Мы обязаны окружать их вниманием. Да и нельзя считать восемьдесят процентов: какой-то метраж при переселении освободится. Тот, который останется после учета замужних дочерей, внуков, бывших жен… Гм». Освобождающийся метраж подсчитать было нелегко, многие выдвигали еще родителей, двоюродных братьев, престарелых теток…

«Все-таки останется порядочно, вот это и раздадим прочим гражданам из числа наиболее нуждающихся».

Он не мог взять обратно обещания, которые надавал так щедро. Люди поверили ему и готовятся к переселению. Кое-кто, по слухам, распродал старую мебель и обзаводится новой. В случае отказа такой поднимется крик — только держись. Генерал напишет жалобы во все инстанции. Артист республики захандрит и запросится в

другой город…

И Чуркин уже сердился на этих людей, не желающих подумать о нуждах других и хлопочущих только об удовлетворении собственных нужд; понимал, что они беззастенчиво используют его уважение к их заслугам, но в то же время ничего не мог с собой поделать. И когда Дорофея резко спросила: кто же, в конце концов, будет поселен в новом доме? — он вспылил:

— Да не волнуйся ты! Стоящие люди будут поселены, вот кто! Лучшие люди, да! Я читаю твои мысли, Дорофея Николаевна! У тебя всегда была тенденция к уравниловке!

И наговорил кучу резкостей, из которых она вывела одно: не много людей, нуждающихся в жилье, выиграют от сдачи нового дома в эксплуатацию; вдвое примерно меньше, чем выходило по подсчетам горжилотдела… К концу своего нервического монолога Чуркин раскаялся, захотел сгладить резкость, по-ребячески пробовал затронуть ее жалостливость:

— Устал, понимаешь, а тут еще этот дом… А отпуск только в ноябре — раньше Нина не приедет…

Дорофея игнорировала эту чувствительную тему.

— Видишь ли, Кирилл Матвеич, — сказала она, — мы с тобой не для того здесь находимся, чтобы создавать блага жизни избранным. Столяр Ефимов имеет такое же право на площадь, как всякий лауреат.

— Конечно! — сказал Чуркин ожесточенно. — Когда у нас на всех будут квартиры…

— Нет, и до этого тоже. И, короче говоря, я этот вопрос подниму на президиуме, имей в виду.

— А президиум скажет: неужели простое дело не можете решить в рабочем порядке, на черта вы тогда там сидите.

— Да, уж вы с Василием Васильевичем позаботитесь, — сказала Дорофея, сверкнув глазами, — чтобы на президиуме это было сказано! Ну, хорошо: партия так не скажет; я это дело доложу горкому партии. Пусть-ка Ряженцев нам поможет разобраться.

Чуркин был женат вторично. Первая жена его оставила. Жили дружно, и вдруг она сказала: «Кира, пойми, так сложилось, я люблю другого». Он подавил в себе ничтожные собственнические чувства обиды и ревности, терзающую боль расставания, страх за ее судьбу, — все подавил, скрыл слезы, которые жгли ему глаза, и благословил ее на честную жизнь с человеком, к которому

потянулось ее сердце. К счастью, не было детей, он и представить себе не мог, как бы они делили детей…

Он никогда не сказал о бывшей жене ни одного осуждающего, ни одного неуважительного слова. Раза два они встречались в Москве — она жила теперь в Москве; он разговаривал с нею как старинный знакомый, расспрашивал, как ее дела, и рассказывал о своих делах.

После ее отъезда он долго чувствовал себя покинутым и испытывал болезненные рецидивы собственнических чувств, и чурался своего осиротелого жилья; потом боль притупилась; потом стала совсем тихой; потом перешла в легкую, без терзаний, грусть — но и эта грусть растворилась без остатка в великой страде и печали войны. А сразу после войны, на выпускном студенческом вечере в геологическом институте, куда Чуркин был послан, чтобы сидеть в президиуме и держать приветственную речь, он увидел девушку, в которую влюбился там же, за столом президиума.

Она так его поразила, что он не уехал после торжественной части, как предполагал, а остался на вечере до конца. Улыбаясь светлой, изумленной улыбкой и не думая о том, что скажут о его

поведении, он наблюдал, как она танцует, и сам пытался с нею танцевать, не зная толком ни одного танца. Он тогда еще не переоделся в штатское, его длинные ноги в галифе и сапогах путались от восторга. Она вышла за него замуж, он был беспредельно счастлив. Ее звали Нина, и она родила ему девочку Нину. И тещу, ее мать, звали Ниной. Теща поселилась с ними, так что Чуркин сторицей был вознагражден за свое долгое сиротство. Его нежданно вспыхнувшая любовь не меркла с годами и не спускалась с романтических высот в бытовую прозу, чему способствовала и профессия его жены: она была геолог и большую часть года проводила вдали от него, в экспедициях, оставляя с ним Нину-дочку и Нину-тещу.

И вся жизнь Чуркина была полна юношеским ожиданием встречи с любимой, предвкушением свидания, и вся перемечена, как красными числами, этими праздничными встречами, отпусками, проведенными вместе, поездками с женой и дочкой то на южные курорты, тихие в зимний сезон, то на Карельский перешеек, то в родимую Рязанщину. А когда Нина-жена уезжала в экспедицию, о ней напоминали глаза и имя дочери, вторая кровать, стоящая в спальне возле его кровати, вещи жены, портреты жены, книги,

которые она выписывала и которые приходили в ее отсутствие, телеграммы из дальних мест, и музыка, и романсы, обильно исполняемые по радио. А потому Чуркин любил романсы, особенно Чайковского, и особенно «Средь шумного бала», — ему казалось, что этот романс сочинен про него и про Нину, про их первую встречу, зарождение их любви, и со слезами на глазах он подпевал неумело: «В тревоге мирской суеты тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты…» Она приезжала загорелая, всегда немножко новая, и не говорила — спасибо ей — «Ты изменился» или «Ты постарел», а смотрела на него изучающим, вникающим взглядом и говорила:

— Ты такой же, как был.

В ее отсутствие он коротал свои немногие свободные вечера в семье Степана Борташевича.

Это было очень старое знакомство — с юношеских лет. Впервые Чуркин и Борташевич сдружились в Красной Армии. Борташевич был ранен в 1919 году; Чуркин прослужил в армии до 1923-го; много лет они ничего друг о друге не знали — по правде сказать, Чуркин позабыл об этой кратковременной солдатской дружбе. Уже будучи в вузе, старшекурсником, повстречал он друга Степана. Друг Степан шел неузнаваемый,

цветущий, в коверкотовом пальто, помахивая блестящим портфелем. А у Чуркина штаны были с бахромой, и вообще он не столько учился, сколько разгружал баржи на пристани, чтобы прокормиться. Борташевич растрогался, увидев такое положение, привел Чуркина к себе, и целый учебный год Чуркин у него прикармливался. Степан любил повспоминать об армейской жизни, о походе, в котором они участвовали оба; с улыбкой спрашивал: «А помнишь то? А помнишь это?..» И, придвигая к Чуркину масло, говорил заботливо: «Кушай».

Окончив вуз, Чуркин уехал в другой город, женился, развелся, работал, снова воевал. Писали друг другу — раз в пять лет: не любители были писать. Но приехав после Отечественной войны в Энск, Чуркин с удовольствием нашел там Борташевича, поседевшего, ставшего совсем уже солидным, обросшего семьей и по-прежнему сердечно расположенного к старому приятелю Чуркину. «Мой дом — твой дом, Кирилл, запомни раз и навсегда», — сказал он. Невозможно не оценить такую дружбу… Нине Надежда Петровна не понравилась, Нина не любила там бывать. Но Нины не было десять месяцев в году, а Чуркин чувствовал себя в этой семье уютно.

Изредка Борташевич обращался к Чуркину с просьбами; но речь шла всегда о других людях, подчиненных Борташевича. Так, года два назад он попросил Чуркина помочь новому директору универмага, некоему Изумрудову, получить жилплощадь: живет ценный работник бог знает в каких условиях… Чуркин помог. Другая, аналогичная просьба касалась Веры Зайцевой, недавно поступившей в горторг секретарем. Тут целая история, которую Чуркин отчасти знал. Зайцева — это, так сказать, восходящее светило, молодой талант, расцветший на почве нашей художественной самодеятельности. Работала на заводе, где Рябушкин директором; записалась в драматический кружок, и обнаружилось дарование, пресса отметила — недюжинное. Рябушкин искусством мало интересуется, недооценил Зайцеву, в общежитии она у него жила; горторг ее переманил, и Борташевич передал Чуркину просьбу коллектива — устроить Зайцевой комнатку. Чуркин, конечно, устроил: как она сыграла Марию Стюарт — дай бог каждому так сыграть, недаром есть решение показать этот спектакль в Москве на всесоюзном смотре самодеятельности.

Для Чуркина было полной неожиданностью, когда однажды Надежда Петровна сказала ему:

— Вы наш друг, могу я иметь с вами интимный разговор? Прошу вас, поговорите со Степаном. Насчет его нового увлечения.

Чуркин сделал большие глаза.

— До каких же пор! — продолжала она. — Я понимаю, когда он был молод… но у нас взрослые дети!

— Вы мне открываете Америки, — сказал Чуркин.

— Что вы! Это же знает весь город!

Действительно, среди знакомых Надежды Петровны пошел слух о неблагополучии во взаимоотношениях Надежды Петровны со Степаном Андреичем, пустила слух сама Надежда Петровна при помощи Марго.

И сейчас она печальным голосом рассказала Чуркину, что привыкла к изменам Степана и никогда не делала бурь в стакане воды, тем более что Степан сам ей признавался и раскаивался, он ведь такой по натуре правдивый, Степан, только легкомысленный… Мужская любовь скоротечна. Они прожили почти двадцать пять лет… Конечно, было тяжело, она не сразу свыклась с мыслью, что у него есть другие женщины, — между нами говоря, он не отказывал себе в радостях жизни…

Чуркин огорчился и подумал — а как будет

у них с Ниной после двадцати пяти лет? И решил, что, конечно, будет не так, как у Степана с Надеждой Петровной… Он был убежден, что все должны относиться к своим женам, как он относится к Нине, и что за недостаток любви с человека можно взыскать, как за ошибку в работе. Если ему говорили, что такой-то не ладит с женой, потому что у нее дурной характер, он отвечал: «Характер! Мало ли что; кто без недостатков?» — хотя в своей Нине не видел ни одного недостатка. «Пусть перевоспитает ее, иначе какой же он коммунист, — говорил он. — Надо было до женитьбы изучить характер и все взвесить», — хотя сам влюбился скоропалительно и женился скоропалительно, и если бы ему пришлось перевоспитывать Нину, он бы понятия не имел, как к этому приступить.

— Я смирилась, я смотрю трезво, — сказала Надежда Петровна и приложила душистый платочек к глазам. — Дети мне заменили все, я сама их воспитала… Но сейчас они большие, и я обязана подумать, как они воспримут.

— Да, да, да! — озабоченно вздохнул Чуркин.

— Они мне дороги, Кирилл Матвеич!

— А еще бы!

— Теперь от них уже не скроешь. Нельзя оскорб-

лять их нравственность. Пусть это старомодное слово, но я сама воспитана в нравственной среде, — с классовыми предрассудками была среда, но нравственная, Кирилл Матвеич… Если мои Сережа и Катя, — Надежда Петровна картинно приложила к высокой груди белые руки с красными ногтями, — мои чистые Сережа и Катя узнают, что их отец… которого они боготворят… с какой-то девчонкой…

— Да подите вы!

— Это их убьет!

— Кто же она?

— Вера Зайцева.

— Не может быть, не верю! — сказал Чуркин. — Что общего? На что она ему, на что он ей?..

— Он, безусловно, не оставит нас, — сказала Надежда Петровна, осторожно сморкаясь. — Он ведь порядочный. И увлечения его проходят быстро… Но тут он увлечен серьезно — да, да, не говорите, кто же знает такие вещи, как не жена! — и боюсь, что настанет момент, когда я вынуждена буду — ради детей, исключительно ради детей! — взять на себя инициативу.

— Чего инициативу?

— Инициативу развода, — прошептала Надежда Петровна, окунув нос в платок.

— Глупости! — закричал Чуркин. — Еще что! Я поговорю с ним…

Через день, выкроив время, он заехал к Борташевичам, увел Степана в кабинет и начал прямо:

— Слушай, что там у тебя за шашни с Зайцевой?

Борташевич выразил веселое недоумение.

— Не ври, не ври, серьезно увлечен, все знаю!

— Фу-ты, боже мой, увлечен, да еще серьезно, — засмеялся Борташевич. — Это кто тебя информировал?

— Надежда Петровна, вот кто! — сказал Чуркин страшным шепотом.

— Надежда Петровна? — переспросил Борташевич, прищурясь на потолок.

— Ты не юли! Я ее еще не видал в таком состоянии. Довел, понимаешь!.. На что похоже?.. Спокойствие семьи надо беречь…

Борташевич опять засмеялся и лег на диван.

— Я понимаю, конечно, что ничего быть не может, — сказал Чуркин, — но какого черта ты даешь Надежде Петровне поводы волноваться? Ведь даешь поводы? Дал, значит, если она о разводе заговорила!

— О разводе? — переспросил Борташевич, при-

поднявшись на локте.

— Именно.

— Как же она сказала? — с интересом спросил Борташевич.

— Сказала, что дети оскорбятся и придется разойтись… Вот то-то. Плохо, брат, дело.

— Очень плохо, — подтвердил Борташевич, укладываясь снова. — Совсем плохо, — повторил он погодя, с усмешкой.

— Ты этим не шути! — сказал Чуркин.

— Я не шучу, — сказал Борташевич.

Дело было действительно дрянь, если Надежда Петровна заговорила о разводе.

Он слишком знал ее, чтобы не понять, что это значит. Плевать ей на Зайцеву, и до Зайцевой ли ему, — уж Надежде-то Петровне известно, что ему не до Зайцевой… Надежда Петровна придумала предлог, чтобы подготовить почву для разрыва. Он видел весь ее план: как крот, она будет копать, копать… пока не поверят, что она добродетельная женщина, уходящая от развратного мужа, который истерзал ее изменами. Вон она как подъехала к Чуркину. Дескать, заступитесь, сил моих больше нет. Постепенно она подготовит всех, детей в том числе.

Учуяла наконец запах гари и собирается бе-

жать из горящего здания. Примет свою девичью фамилию, уедет в другой город, ее не коснется ни подозрение, ни презрение, ни даже унылая обязанность — носить мужу передачу.

Потом она будет говорить: «Он, оказывается, еще и воровал, чтобы тратить на любовниц».

Борташевич усмехнулся почти злорадно:

«Э-хе-хе, Надежда Петровна. Дорогая подруга жизни. Опоздали! Изменило вам ваше чутье. Смолоду оно было вострее… И тактика ваша излюбленная — шаг за шагом, тише едешь, дальше будешь, — никуда нынче не годится.

Копайте, копайте… Когда-то прокопаете! Пламенем горит — над головой и под ногами».

Сегодня утром был арестован заведующий галантерейным магазином, один из тех, кто после пожара просил об увольнении.

«Тут не до подкопов — спасайся, кто может… Пропустили сроки, Надежда Петровна, не успеете улизнуть от позора. Крыша рухнет на меня и на вас».

Он злорадствовал… И в то же время смертное отвращение и смертная тоска легли на сердце.

Рассчитывал он, что ли, на ее сострадание, ее поддержку в час расплаты? Даже на «прощай» не рассчитывал.

И все-таки это предательство, которого он ждал, было последней точкой. Окончательно приговоренным почувствовал он себя и окончательно одиноким, более одиноким, чем бездомная собака.

Уже даже некому поплакаться в часы ночных метаний…

Но он все еще работал, разговаривал, ел, пил, шутил. Живые, глядя на него, думали, что он живой. А это мертвец автоматически проделывал то, что свойственно живым.

Ну и зарядили дожди — без роздыха. Под водяными потоками стоит город Энск, подняв к осенним тучам уродливые мокрые дымоходы. (Вы заметили? Когда оголяются деревья и прячется солнце, лезет на глаза все некрасивое, что есть в городе: дымоходы, облупившаяся штукатурка домов, поленницы в грязных дворах, какая-то высоченная, глухая кирпичная стена, на которой с незапамятных времен осталась под крышей надпись прямо по кирпичу: «Сергѣй Перловъ и Сыновья»…) Смыты начисто остатки пышного бабьего лета; ни багрянца, ни золота; кажется, будто в природе один цвет остался — серый. А дождь все идет, идет ночью и днем.

В такой насквозь промокший октябрьский се-

рый день длинный почтовый поезд остановился на седьмом пути станции Энск-пассажирская. Пассажиры с мешками, сундучками и чемоданами стали выходить из вагонов на дощатый настил, под потоки воды. Кругом была скучная железнодорожная картина: скрещения рельс, желтые будки, заборы, семафоры. В числе пассажиров из вагона вышел Геннадий Куприянов. Он был в светлом плаще и шляпе; плащ в дороге измялся. «Погодка!» — сердито подумал Геннадий, с брезгливостью ступая на залитый дождем настил ногой в тонком полуботинке. Дождевые капли, барабаня по настилу, разлетались мелкими брызгами; сразу намокли носки; тело прохватила сырость. «До вокзала не успеешь дойти — простудишься… На какие-то задворки приняли…» Он чувствовал себя кровно оскорбленным тем, что пришлось ехать шестеро суток в почтовых поездах, без плацкарты. Приезд доставил новые оскорбления, одно за другим. «Это еще что? Через мост тащиться? К черту!» Но путь был прегражден товарным составом. Волей-неволей надо было идти со всеми по гремучим, скользким от воды ступенькам воздушного моста вверх, потом вниз. Люди бодро обгоняли Геннадия, толкая его твердыми мешками, и раза два чуть не сбили с ног;

протестовать и браниться было бессмысленно, все слишком спешили… Подняв воротник плаща, низко надвинув шляпу, Геннадий вышел наконец на привокзальную площадь, кишащую народом. Вода стекала со шляпы, как с крыши, и хлюпала в ботинках… У него был план, обдуманный еще в Батуми: по приезде сесть в такси и ехать домой, а там взять денег у Зины или у соседей, если Зины не окажется дома, и расплатиться с шофером: в карманах у Геннадия не было ни гривенника. Как назло, такси на площади не видно, «левых» машин тоже, все успели расхватать; у столба с дощечкой «Стоянка такси» мокла длинная очередь. Оставалось одно: ехать зайцем в трамвае. Геннадий поспешил к трамвайной остановке и втиснулся со своим чемоданом на площадку, битком набитую мокрыми пассажирами.

Больше всех в этих унижениях была виновата мать. Он ей три раза телеграфировал, чтоб выслала денег. Три раза! Тогда только раскошелилась, когда он сообщил, что продал часы, чтобы пообедать… Да и раскошелилась-то: роздал долги — на билет не осталось; попросил еще — пришли две сотни от отца, с бранной телеграммой (безобразие, что телеграф передает такие слова, как «прогульщик» и «бездельник», тоже — культур-

ные порядочки, нечего сказать)… Цыцаркин и тот оказался более человеком, чем отец с матерью. На первую телеграмму, правда, тоже промолчал, но на вторую отозвался и выслал на дорогу. Скупо выслал, пришлось ехать в условиях, к которым он не привык, не мог телеграфировать Зине о приезде, в дороге позорно недоедал, — но все же только с помощью Цыцаркина Геннадий добрался домой после своего увеселительного путешествия.

«А родители-то: посылают в обрез и не сообразят, что пока телеграммы ходят туда-сюда да пока мне билет достают, — я ж проедаюсь, я живой человек, а там курорт… Один раз зашел в ресторан — тридцать рублей, два раза зашел — шестьдесят рублей… Небось матери, когда в Сочи жила, все было подано-принято, и билет принесли в конверте, ей что…»

В трамвае он поверх голов нервно высматривал — не идет ли контролер, но контролер не пришел. Геннадий благополучно доехал без билета. Дома никого не оказалось, а ему требовалось хорошенько поесть и помыться, изволь сам искать еду и греть воду. Еду нашел и наелся, а мыться не стал: отяжелев от сытости, лег в постель и уснул. В сумерках проснулся, услышал шорох в соседней комнате и громко позвал: «Зина!» Никто не

вошел, тогда он крикнул: «Сашка!» Саша открыл дверь и спросил:

— Что вы?

— Мать не приходила? — спросил Геннадий.

— Нет.

Геннадий отвернулся к стене и заснул снова. Вторично проснулся, чувствуя себя отдохнувшим и бодрым, — был уже поздний вечер, из соседней комнаты в открытую дверь падал электрический свет, Саша стоял на пороге и говорил:

— Вас спрашивают.

— Кто? — спросил Геннадий.

— Какой-то мальчик.

— Ну давай, пусть зайдет, — сказал Геннадий, потягиваясь.

Вошел незнакомый мальчик-заморыш в старом пальтеце, в кепочке, — Геннадий было не узнал, потом усмехнулся: Малютка. Хорош мальчик.

— Головной убор, между прочим, рекомендуется в помещении снимать, — заметил Геннадий, свысока поздоровавшись. Малютка безропотно снял кепку, под нею обнаружилась та же грязная тюбетейка, в которой Малютка ходил летом.

— Что это вы зимой и летом в тюбетейке? — насмешливо полюбопытствовал Геннадий.

— Голова зябнет, — пискнул Малютка, с кепкой

в руке стоя перед кроватью, на которой возлежал Геннадий.

— Что скажете? — спросил Геннадий, закуривая.

— Я от Цыцаркина, — сказал Малютка. — Очень просит вас зайти.

— Зайду, как же, — сказал Геннадий. — Передайте — завтра зайду.

— Просил, чтобы сегодня, — сказал Малютка. — Чтобы обязательно сегодня. Очень нужно. Он не так здоров. Бюллетенит.

— Что такое?

— Простыл. Ангина. Тридцать семь и восемь.

«Пойти, что ли», — подумал Геннадий. Тащиться под дождем не хотелось, но вроде бы и неудобно отказать после того, как Цыцаркин его выручил. И, кстати, неплохо бы прихватить взаймы еще рублей хоть триста, а то получка ведь когда… Зины все нет, может до утра задержится в больнице, некому накормить ужином, а у Цыцаркина наверняка и закуска и выпивка.

— Который там час?

— Двенадцатый.

— Дождь идет?

— Маленький. Совсем маленький.

— Ладно, — сказал Геннадий. — Я оденусь.

Малютка деликатно вышел. Геннадий поднялся, и они отправились к Цыцаркину.

Дождь в самом деле притих, но продолжал идти. У Малютки оказался зонтик; еще на лестнице он предложил его Геннадию:

— Желаете?

— Давайте, — милостиво согласился Геннадий, хотя на нем был непромокаемый плащ, а на Малютке вполне промокаемое суконное пальтишко.

Цыцаркин обитал в тихой улочке, в первом этаже кирпичного двухэтажного дома. Ставни его двух окон были закрыты; на улицу доносилось приглушенное пение патефона. Малютка сказал:

— Стукните в окно, — ему самому было не дотянуться.

Геннадий стукнул. В темноте, шлепая по лужам, подошли к низкому каменному крыльцу. Дверь сейчас же открылась. Открывший не сказал ни слова и был едва различим в неосвещенном тамбуре передней, но по густому запаху парикмахерской Геннадий догадался, что это Изумрудов. Все втроем прошли в комнату Цыцаркина. Там страстно заливался патефон: «Лобзай меня, твои лобзанья мне слаще мирра и вина». Цыцаркин в фланелевой пижаме, с повязанным горлом,

сидел возле патефона и сосредоточенно слушал, упершись руками в расставленные колени.

— А! С приездом! — рассеянно сказал он, взглянув на Геннадия мельком, и дослушал романс до конца. Геннадий обиделся и решил дать понять, что Цыцаркин никаких особенных не оказал ему благодеяний и что Геннадию не из-за чего изливаться перед ним в благодарности. Цыцаркин остановил пластинку и обратился к нему.

— Темпераментно поет мадам, — заметил он. — Я бы тебе продемонстрировал мои новинки, но уже двенадцать, соседи спать хотят, надо соблюдать законы общежития. И, кроме того, есть разговор. Снимай мантель, садись ближе. Как съездил? Отдохнул? Выглядишь хорошо.

— Где там хорошо, я ведь как ехал… — начал Геннадий.

Цыцаркин перебил:

— Хорошо, отлично выглядишь. Побед, наверно, одержал неисчислимое количество. Молодец, красавец. Люблю этого молодца, — сказал он, обернувшись к Малютке и Изумрудову, и погладил Геннадия по плечу. — Вы еще увидите, какой он молодец.

Изумрудов сидел в кресле, расфранченный, мягкий и благоуханный, как прошлый раз, летом,

когда они тут выпивали. Малютка смиренно присел у двери на краешке стула, сжавшись и подхватив себя руками под локти. Выпивки и закуски не было видно.

— Отлично, отлично все, — кротко и ласково говорил Цыцаркин. — Все хорошо, прекрасная маркиза… Съездил, Геня, теперь поработать требуется, не все, мальчик, гулять, надо и потрудиться…

— Послезавтра выйду, я с дороги разбитый весь, — сказал Геннадий, недовольный, что уж и Цыцаркии взялся его поучать. Цыцаркин вновь перебил, не дослушав про дорогу:

— Работа предстоит. Надо выполнить одно общественное дело, три человека требуются, ну, мы так наметили, что один человек — это будешь ты.

— Что за дело? — спросил Геннадий без охоты — общественные дела его не манили.

Цыцаркин встал и принялся ходить по комнате, шаркая войлочными подошвами разношенных туфель.

— Видишь, Геня, — заговорил он тихо и внушительно, — есть на свете великая вещь — законы товарищества! Человек, который исполняет законы товарищества, этот человек не пропадет

ни при каких обстоятельствах. И наоборот: если человек манкирует законами товарищества, то пропадет рано или поздно; ничто его не спасет; он может изловчиться отсрочку получить, умеючи, но рано или поздно Немезида его настигнет. Доведись до кого хочешь: я бы, скажу откровенно, давно пропал, если б не товарищество, вот откровенно тебе говорю. Человек крепок товариществом. Ты, Геня, молодой, не все еще постиг своим незрелым опытом, так послушай, что тебе искренний твой друг говорит: пропадешь без товарищества!

Он умолк и, остановившись, пытливо заглянул Геннадию в лицо.

— О каком вы товариществе говорите? — спросил Геннадий, зевая слушавший его туманную речь.

— Еще герои древности, — сказал Цыцаркин, — шли на жертвы во имя товарищества, ты ведь знаком с мифологией несколько?

— Вы ближе к делу, — сказал Геннадий. — Какая там мифология в первом часу ночи. Я измучился за дорогу как черт.

— Ну, ближе к делу, так ближе к делу, — согласился Цыцаркин. — Такая история: требуется принести жертву на алтарь товарищества. Я

не буду говорить — малую жертву. Нет: значительную жертву. Поскольку она значительная, постольку и вознаграждена будет надлежащим образом; и поскольку она будет вознаграждена надлежащим образом, постольку ты через несколько лет выйдешь вполне самостоятельным человеком, катай тогда в Батуми и в Сухуми и куда хочешь. Вот, вчерне, суть.

— Ничего не понимаю, — сказал Геннадий. — Вы яснее.

Ясно было только то, что он всерьез зачем-то нужен Цыцаркину. Тем лучше, он возьмет у Цыцаркина не триста, а пятьсот. А может, такой случай, что можно взять и больше?.. «Э, нет! Что-то уж очень эти типы смотрят… серьезно. Как бы тут уголовщиной не пахло. На уголовщину меня не поймаете. Я согласен только без уголовщины, с уголовщиной мне не надо, обойдусь без вашей помощи, Зина что-нибудь придумает…»

— Еще яснее! Давай еще яснее. Ясность — самое главное; это ты прав. С ясностью, так сказать, крепче нервы и ближе цель. Я всегда предпочту ясность. И Изумрудов любит, чтоб коротко и ясно. Не говоря уже о Малютке, Малютка всегда горой стоял за ясность. Ну, что без ясности? — Цыцаркин даже руками развел. — Плохо без ясности.

Ясность — альфа и омега деловых взаимоотношений.

Так он разглагольствовал вполголоса, похаживая по комнате, шаркая туфлями, речь его оставалась невнятной, как будто лишенной смысла, но Геннадий настораживался все больше… Слишком необычны были для Цыцаркина такие длинные, бессмысленные речи; слишком мрачными становились лица Изумрудова и Малютки; слишком неподвижно сидели Изумрудов и Малютка на своих местах — будто застыли… Во всем этом была какая-то зловещая значительность, которую Геннадий ощущал при всем своем легкомыслии. А Цыцаркин ходил и говорил тихим голосом, речь его петляла, петли ложились туже и туже:

— …Где достаточно пострадать троим, зачем должны страдать тридцать? Закон товарищества против того, чтоб страдали тридцать, где достаточно пострадать троим… Страдают тридцать — нехорошо всем тридцати, а страдают трое — нехорошо только троим, и то нехорошо лишь относительно и на некоторый срок, потому что двадцать-то семь не пострадали! Двадцать-то семь живы-здоровы! Двадцать-то семь окажут троим пострадавшим поддержку! А как же! На

то закон товарищества! Я же говорю — не пропадешь с товариществом! Ты сидишь, а тебе жалованье идет ежемесячно, согласно постановлению товарищества! Ты вышел — одет и обут подобающим тебе образом, обеспечен материально, отношение к тебе самое чуткое, — а как же! А как же! На то товарищество!..

— …Страдание. Ведь это как понимать страдание. Антр-ну — предрассудок. Привыкли люди пугать друг дружку словом «тюрьма». А что такое тюрьма? Учреждение. На современном этапе — вполне культурное. Обращение вежливое, санитарные условия и медобслуживание по требованиям передовой науки, так что при поддержке товарищества, имея средства, можно существовать божественно…

— …Маман до какой-то степени может быть полезной. Правда, практика показывает, что люди с положением в таких случаях сплошь и рядом отрекаются даже от близких родственников, но мать есть мать, возьми классические примеры… Будет землю рыть, чтобы добиться смягчения… При ее знакомствах…

— …Ты хочешь ясности. Правильно! Совершенно резонная твоя позиция! Я за ясность, и Малютка за ясность, и Изумрудов за ясность!

Скажи, Изумрудов!

Изумрудов колыхнулся в кресле и распространил по комнате волны ароматов.

— Тысяча двести ежемесячно, — прошлепал он мягкими губами.

— Слышишь, Геня? Тысяча двести. Без вычетов и налогов.

— За десять лет — состояние, — вздохнул Изумрудов, томно подняв глаза к потолку.

— Именно! Именно! — тихо воскликнул Цыцаркин. — Ты подсчитай!

Геннадию было так дико, что он не обиделся и не оборвал их. Да что они, идиоты, что ли? Или его принимают за идиота? Сесть ни за что ни про что в тюрьму, чтобы покрыть чужие преступления! Ненормальные!.. Онемев от удивления, он слушал дальше, а Цыцаркин опять говорил, и все отчетливей обрисовывалось его бредовое предложение. «Однако! Здорово, видно, их прижали, если они пытаются купить такого безукоризненно честного человека, как я. Жест отчаяния: в такой, значит, попали переплет, что им уж терять нечего, выдают себя с головой…» Он пренебрежительно усмехнулся и встал.

— Глупости говорите, смешно слушать, — сказал он грубо и взял с вешалки у двери свой плащ.

Больше ему нечего было делать в этой компании обезумевших жуликов.

Малютка, не разгибаясь, почти не меняя позы, проворно проехал вместе со стулом шага на два вперед и загородил собою дверь.

— Но-но! — сказал Геннадий, повысив голос. — Давай-ка прочь. Я шутить не люблю.

Ему стало жутко, до него вдруг дошло, что он один, а их трое, припертых к стенке людей, — черт их знает, что они еще вздумают выкинуть… «Да не в лесу же мы. Закричу, — рядом соседи…» Принял храбрый вид:

— Двигайся. Живей.

— Тише, Геня, тише, тише! — сказал Цыцаркин. — Целиком ты, милый, тут, — он похлопал по карману пижамы, — и… не надо кричать. Будем беседовать культурно. Деньги взял?

— Какие деньги?.. Ну.

— За что ты взял деньги?

— Как за что?

— Так. За что?

— Я… в долг взял.

— Хе! В долг. Не в долг, а свою долю ты взял, так и в расписке написано. Поверит тебе Малютка такую сумму в долг. Кто ты ему — брат, сват?..

— При чем тут Малютка?

— То есть как при чем Малютка?

— Я же не у Малютки брал.

— А у кого?

— У вас я брал.

— У меня? Нет, Геня, у меня ты не брал, я тебе только скромную сумму послал в Батуми, когда ты ко мне дважды обратился, и следом отправил авиапочтой заказное письмо, в котором, откровенно говоря, выразил изумление… Изумление такой просьбой с твоей стороны. Не те у нас отношения, чтобы телеграммы мне слать — гони деньги. Если я в тебе принял участие и устроил на работу, так это в память былого знакомства с твоими родителями, а на иждивение я тебя не брал, и средства не позволяют взять… Сожалею, если ты не успел получить мое письмо, — а может, успел?..

— Не получал я никакого письма. Что вы ерунду наворачиваете!

— Жалко, что не получал. Во всяком случае, письмо сдано под квитанцию и может… фигурировать, при надобности…

— Как это так — не у вас брал, когда вы из рук в руки мне дали?

— Это вздор, из чьих рук; это недоказуемо; важна расписка.

— И расписка на ваше имя.

— Ну-ну-ну-ну!

— Ну да, на ваше!

— Ну-ну-ну-ну!

— На ваше, я читал!..

— Хорошо читаешь, грамотей. Малюткины были деньги, на Малюткино имя и расписка.

— «Цыцаркину» написано в расписке. Я же читал… Я его фамилии и не знаю, очень мне надо знать…

— «Сударкину» написано в расписке, а не «Цыцаркину». Сударкин Малюткина фамилия. А ты прочел — «Цыцаркину»? Хе-хе-хе-хе-хе! — Цыцаркин затрясся, его щучья морда расплылась от тихого смеха. И Малютка улыбнулся, показав желтые зубы и бледные десны.

— Хе-хе-хе-хе-хе! Ох, не могу! Хо-хо-хо-хо-хо! Сударкина принял за Цыцаркина! Ху-ху-ху-ху-ху! Сударкин, Сударкин, Сударкин, а он прочел — Цыцаркин!.. — тихо восклицал Цыцаркин, раскисая от смеха, махая рукой и зажмурив глаза, из которых потекли слезы. — Ох, комедия!..

— Покажите расписку! — свирепо сказал Геннадий.

— Покажите ему, — приказал Изумрудов.

Цыцаркин вытер слезы:

— Покажи ему, Малютка. Пусть убедится. Да Сударкин там, Сударкин, хо-хо-хо, все в порядке!

— Станьте дальше, тогда покажу, — пропищал Малютка. Геннадий повиновался — отошел.

— Еще дальше, еще. — Все так же оскалившись, Малютка полез детской цыплячьей рукой во внутренний карман пиджака, достал книжечку — служебное удостоверение, из книжечки бумажку, развернул бумажку и издали показал Геннадию. И тот, напрягши зрение, убедился, что расписка подлинно на имя Сударкина и там написано, что он, Геннадий Куприянов, получил сполна причитающуюся ему сумму… Геннадий рванулся к Малютке, но тот был настороже — обе его руки мигом исчезли в карманах, и в оскаленном мертвецки-желтом лице появилось что-то такое, что Геннадий остановился…

— Порядок! — сказал Цыцаркин. — Сам видишь!

— Я закричу! — сказал Геннадий, беспомощно оглянувшись на него.

— А смысл? — рассудительно, уже без смеха, спросил Цыцаркин. — Ну, придет милиция; ведь все равно сядешь. Не уйдешь от правосудия. Не те у тебя мозги, пардон, чтобы выпутаться; а свидетельствовать против тебя будут люди с мозгами

— Спинозы по сравнению с тобой. Так что тут дилемма: или ты садишься как пострадавший во имя товарищества, и тогда тебе хорошо; или ты садишься как предатель товарищества, и тогда тебе плохо. Если даже, паче чаянья, тебя оправдают начисто — тебе плохо, Геня. Выбирай.

— Главным пунктом обвинения будет поджог склада, — зашлепал Изумрудов, — этот пункт вам не придется брать на себя, можете быть спокойны, мы докажем ваше алиби.

— Меня не за что сажать… — пробормотал Геннадий, стоя столбом среди комнаты.

— Геня, ах, Геня, — сказал Цыцаркин. — Я думал, ты молодой Ахиллес, а ты, бог с тобой, совсем плох. Крошка-Малютка наш, сорок третий год человеку, язва двенадцатиперстной кишки, и тот сильней тебя духом…

— Я ничего не сделал! — сказал Геннадий. — Вы мне расписку подсунули… Плевал я на вашу расписку! — взвизгнул он. — Пустите меня!

— Геня, подумай…

— Пустите! — крикнул Геннадий.

— Ну, пусти, — кивнул Малютке Цыцаркин.

— Пустить? — повторил Малютка, не двигаясь с места.

— Да, постой, Геня, еще вопрос: не ты ли, часом,

сообщил в милицию об облигации? А? Ответь по совести. Облегчи душу.

— Конечно, он! — с ненавистью сказал Малютка.

— Ничего я не сообщал, ну вас к черту, Сашка Любимов сообщил!

— Пустите его, — слегка повернув голову, распорядился Изумрудов. Малютка встал, держа руки в карманах, — он был Геннадию до подмышки, не выше, — и дал дорогу.

В темном коридоре Геннадий долго возился с незнакомыми запорами — отворил наконец дверь, выскочил на улицу и пустился наутек по лужам, не разбирая пути.

Он мчался домой. Не к Зинке, *а домой,* под кров, который единственный мог его укрыть, вразумить, спасти. К сильным заботливым рукам, которые он оттолкнул. Туда, где немыслимы ни обиды, ни счеты, ни ссоры, — о, как он это понял!..

Он был слишком непрактичен и неосведомлен в житейских делах, а в тех, с которыми пришлось столкнуться, — подавно. Он не знал, действительно ли ему угрожает опасность или его просто пугали. Но угроза слишком ужасна. Невозможно жить в такой петле. «Мать, помоги, сними пет-

лю… Мать, что я наделал со своей жизнью…»

Уже ни трамвай не ходил, ни автобус. Город затихал. Дождь припустил как из ведра, мутно светились в водяной мгле фонари. Изредка, с шумом разбрызгивая лужи, пролетала машина. Изредка попадались пешеходы под зонтиками, похожими на черные грибы.

«Как я оправдаюсь, они покажут расписку, будут лгать на меня — как я оправдаюсь, что я наделал! Мама, послушай, я тебе все расскажу. Я тебе расскажу ужасно неприятную вещь, только ты не волнуйся, что у тебя за привычка заранее волноваться, сядь и выслушай спокойно, мне нужен твой совет, а ты волнуешься… Я познакомился с одним типом — ты его когда-то знала, он говорит… Он, оказывается, преступник, — ну какая ты странная, почем я знал, — он не один, их там целая шайка, — да почем же я знал, что ты кричишь, невозможно с тобой разговаривать, — они знаешь что хотят со мной сделать, — мамочка, спаси меня от них!..»

Он мысленно вел с нею этот лихорадочный разговор и стремился к ней, задыхаясь, — казалось, вечность он шагает под проливным дождем, по лужам, казалось — нет конца пути, как в тяжелом сне… Но вот Разъезжая, пустая, ночная, с слепы-

ми пятнышками фонариков на воротах, с смутно чернеющей тушей водокачки на углу. «Кажется, это в наших окошках свет… В наших… Не спят!» Он кинулся бегом.

Маленькая, детская фигура под зонтиком вынырнула из-за водокачки и спешила за ним следом, он не заметил, забыл об опасности. Уже подбегая к своему крыльцу, услышал сзади чмоканье и хлюпанье торопливых чужих шагов, на бегу оглянулся, увидел за пеленой дождя человека под зонтиком — «неужели Малютка?» — поскользнулся в грязи и грохнулся с маху, сильно ударившись головой и грудью о ступеньки крыльца. Весь грязный, с облипшими руками, приподнялся, близко засопело, почувствовал удар в спину, — не больно…

Встал во весь рост и медленно стал взбираться на крыльцо — ноги стали как ватные, рубашка наполнялась горячей кровью, нечего было думать преследовать Малютку, удирающего в темень и дождь.

Геннадий успел нажать кнопку звонка — раз, второй и третий, как звонил, бывало, возвещая о своем приходе. Услышал, как три слабых коротких звонка прозвучали в доме. Упав на колени, различил за дверью знакомые летящие шаги

матери.

Она распахнула дверь, крикнула и приняла в руки опустившееся тело сына.

Глава шестнадцатая. Дальнейшие происшествия

Утром, едва Чуркин проснулся, ему позвонили о несчастье в семье Дорофеи Николавны и о том, что Дорофея Николавна находится в больнице, возле сына. Чуркин позвонил в милицию и выяснил те немногие подробности несчастья, которые там были известны. Позвонил в больницу: сказали — положение опасное. «Ах, грех! Ах, грех!» — приговаривал Чуркин, страдая за Дорофею, и прежде всех дел отправился в больницу.

Он нашел Дорофею в коридоре. С нею были муж и дочь; в белых халатах они понуро сидели на скамье, а Дорофея, сложив руки под грудью, ходила поперек широкого коридора, от окна к противоположной стене, взад-вперед, неустанно и равномерно, не ускоряя и не замедляя хода, как ткацкий челнок. Увидя Чуркина, она не бросилась к нему, не заговорила, а посмотрела и продолжала ходить. Глаза ее блестели, как в жару, и она то и дело с гримасой боли облизывала губы.

— Как?.. — деликатно спросил Чуркин у Леони-

да Никитича.

— Взяли на вливание крови, — ответил Леонид Никитич и опасливо посмотрел на жену. — Дуся! Ну, посиди с нами. С Кирилл Матвеичем вот посиди, а?

— Я не хочу. Здравствуй, Кирилл Матвеич. Я похожу, — удивившим Чуркина спокойным, звучным голосом отозвалась Дорофея и продолжала свое хождение.

— С ночи ходит, — сокрушенно сказал Леонид Никитич.

«Сын в опасности! Это ж понимать надо», — думал, вздыхая, Чуркин. Сам он в высшей степени понимал такие вещи с тех пор, как его маленькая Нинка болела коклюшем.

— Кирилл Матвеич, — сказала Юлька, — попросите, чтобы меня пустили ходить за Геней.

— И не к чему! — сказала Дорофея. — Что ты умеешь?

— Я умею, — тихо возразила Юлька.

— Зинаида Ивановна там, и довольно, — отрезала Дорофея. Юлька опустила голову, слезинка блеснула у нее на щеке…

В окне был серый плачущий сад. Пахло лекарствами и болезнью. Санитарки и сестры деловито проходили мимо; скучно застучали костыли,

напомнив госпиталь в войну, — больной в синем халате вышел в коридор, прислонил костыли к соседнему окну, закурил…

— Дорофея Николавна, — сказал Чуркин, приблизясь к ней и осторожно взяв ее под локоть, — ты о работе не беспокойся, будь здесь сколько надо времени, и, это самое, ты бы отдохнула немножко…

Она со вниманием подняла на него блестящие глаза, но вдруг рванулась и бросилась прочь по коридору — там, в самом конце, показались носилки… Чуркин с его сочувствием был явно лишний в этой обители скорби, да к тому же его ждали дела. Зайдя к врачу, заведующему хирургией, и узнав от него, что больному Куприянову после вливания крови стало значительно лучше, Чуркин поехал к себе в горисполком. Накануне стало известно, что Ряженцев интересуется: какую площадь — число комнат, общий метраж — занимают генерал Р., артист Л. и другие граждане, которых Чуркин обещал поселить в новом доме. А уж если вмешался Ряженцев… значит — Р., Л. и прочие знаменитости останутся на старых квартирах и восторжествуют многострадальные горжилотдельские списки… Эх, лучше бы на президиуме это всё решили, своими, так сказать,

силами… А теперь, если Куприянова или Ряженцев расскажут об этой истории на сессии, — весь город заговорит… Но по совести — в глубине души Чуркин не мог не чувствовать удовлетворения от того, что его ошибка будет исправлена.

— Боюсь, — сказал он главному архитектору с этим чувством невольного удовлетворения, — боюсь, Василий Васильевич, не заплакала бы ваша квартирка. Новым домом интересуется горком.

Василий Васильевич побледнел. Не то чтобы его старая квартира была плоха или он уж так держался бы за стенные шкафчики в новой квартире, — его ужаснула мысль, что из горкома придут в новый дом и увидят, с какой любовью и тщанием, как никакую другую, коммунист Василий Васильевич отделал за государственный счет квартиру лично для себя.

«Придут непременно, — ужасался Василий Васильевич, — и обнаружат, что у меня кафель подобран в тон, и в других квартирах не в тон, и матовое стекло у меня, и камин, и дубовые панели у меня одного… И поскольку об этом доме так остро стоит вопрос — воображаю, какие в мой адрес… Ужас, ужас! Вплоть до… фельетона в печати! И что меня соблазнило, подумать!..» Он полизал нитроглицерин и решил, что не переедет в новую

квартиру, если даже его будут просить…

В утро, о котором идет речь, Чуркина дожидалась комиссия, обследовавшая дом номер шесть в Рылеевском переулке. Дом был старый, дал трещину, комиссия выясняла степень угрозы. Чуркину положили на стол суровый акт, в котором говорилось, что запланированный ремонт дому ни к чему, нужен капитальный, и первонаперво надлежит в срочном порядке выселить жильцов.

— Ну, беда! — сказал Чуркин.

Как раз сейчас маневренный жилищный фонд города весь был занят людьми, временно переселенными из ремонтируемых домов, и куда девать еще сто сорок человек, тридцать шесть семейств, было до того неясно, что у Чуркина закружилась голова.

Он попробовал смягчить остроту вопроса:

— А вы, товарищи, не паникуете? Может, не так страшно, а? Выдержим до нового года?

Комиссия непреклонно заявила, что не берет на себя ответственности за жизнь людей, которым два месяца придется жить в доме угрозы.

— Беда лихая, — повторил Чуркин. — Куда же их денем?

Комиссия холодно промолчала.

— Василий Васильевич, вы как считаете? — спросил Чуркин, обращаясь к главному архитектору.

— Выводы комиссии бесспорны, — сказал Василий Васильевич. — Если вы вспомните, Кирилл Матвеич, этот дом давно под надзором. Дальнейшая отсрочка была бы преступлением. — Василий Васильевич подумал о дубовых панелях, о необходимости во имя собственной репутации и собственного достоинства отказаться от новой квартиры, посмотрел на ногти и сказал твердо: — Есть выход: ускорить заселение нового дома. Какая-то площадь освободится для маневрирования.

— Я подумаю, — сказал Чуркин.

Но думать было нечего. По-видимому, то, что советовал Василий Васильевич, было наиболее реальным вариантом: форсировать окончание отделочных работ и заселить новый дом в середине ноября… В таком случае необходимо, чтобы горком поторопился со своими соображениями. Чуркин взял трубку и по прямому телефону позвонил Ряженцеву.

Ряженцев не ответил: с той стороны сняли трубку и положили опять, чтобы разъединиться. Это случалось, когда Ряженцев был занят на-

столько, что даже на секунду не мог оторваться. «С Москвой разговаривает», — подумал Чуркин. Выждал и позвонил снова, и снова Ряженцев снял трубку и положил, не отозвавшись.

«Ведь вот этот комплексный ремонт, — думал Чуркин, — опять, значит, сокращение полезной жилой площади. Перепланируем помещения, построим светлые кухни, ванные, — глядишь, процентов восемь, а то и десять полезной площади ушло, и кому-то не хватает места… Ну, ладно. Новые трудности, зато будет в Рылеевском переулке хороший дом вместо урода… — Он представил себе этот облезлый, будто лишаями покрытый дом, с безобразными подпорками, и поморщился. — Не доходили до него руки, теперь дойдут поневоле. Гром грянул — мужик крестится. Не покажись трещина — стоял бы урод и стоял лет еще пяток…»

Позвонил секретарь Ряженцева и сказал, что товарищ Ряженцев просит товарища Чуркина срочно зайти к нему.

— Вы мне его самого дайте, — сказал Чуркин. «По поводу заселения дома не собрался ли разговаривать, так вот я с этим разговором сам ему навстречу иду!» Он подождал у телефона, но после небольшой паузы секретарский голос по-

вторил настоятельно:

— Товарищ Чуркин, товарищ Ряженцев просит вас прийти немедленно.

Небывалый случай, чтобы Ряженцев отказался говорить с ним по телефону и так настойчиво звал к себе, не спрашивая, удобно ли это Чуркину в данный момент. «Экстраординарное что-то случилось», — тревожно думал Чуркин, проходя коротенькое расстояние, полтора квартала домов, между горисполкомом и горкомом партии. Усиливалось беспокойство и желание скорей узнать, в чем дело, и в горком он вошел запыхавшись.

Его ждали. Хотя в приемной были люди, но секретарь встал, едва Чуркин показался, и открыл перед ним дверь, так что Чуркин пронесся в кабинет без задержки.

Ряженцев стоял у окна, руки его были заложены за спину, пальцы крепко сцеплены.

— Здорово, — хлопотливо сказал Чуркин, бросаясь в кресло и доставая папиросы, — что случилось?

Ряженцев шагнул к нему и остановился, держа руки за спиной и глядя и пол. Без предисловий и пауз он сказал:

— Следственными органами разоблачен Бор-

ташевич.

Откинув голову, сведя брови, Чуркин продолжал встревоженно смотреть на Ряженцева. В одной руке у него была незажженная папироса, в другой коробок спичек. Ряженцев глянул на него, еще больше нахмурился и отвел взгляд.

— Как?.. — спросил Чуркин и вдруг понял и встал.

— В чем разоблачен? — спросил он другим голосом, тоже ясным и жестким, как у Ряженцева.

— В воровстве, — кратко и беспощадно ответил Ряженцев. — Прочтите.

И, перейдя к столу, перебросил Чуркину докладную записку прокурора.

Чуркин взял бумаги, сколотые скрепкой, и стоя стал читать.

Он читал медленно и соображал плохо. Только физически ощущал непоправимую беду. Впоследствии ему казалось удивительным и ужасным, что он, друг Степана Борташевича, не возмутился словами Ряженцева, не швырнул бумаги обратно, не крикнул: «Клевета, не верю, не может быть!» Он поверил в беду сразу, еще не получив доказательств и даже не разобравшись толком, что за беда. Или он так верил Ряженцеву, или в то мгновение, как Ряженцев произнес свои страшные

слова, какой-то второй, внутренний голос сказал Чуркину, что это *может* быть, что это правда, которую придется принять и перенести.

Прочел страницу. Написано было сжато, корректными словами информации. Готовился повернуть листок, когда со всей наглядностью до него дошел чудовищно постыдный смысл прочитанного, — ему стало тошно, он снова сел.

Дочитал и тихо положил бумаги на край стола.

Ряженцев сказал:

— Милиция убеждена, что сегодняшнее ночное дело тоже состряпано этой шайкой.

— Какое дело? — спросил Чуркин хрипло.

— Покушение на Куприянова.

— Как! — сказал Чуркин. — Что ты говоришь! Борташевич убил Куприянова?!

— Да нет, — сказал Ряженцев с отвращением. — Борташевич у них играл особую роль… Ты же читал. Покровитель с партбилетом в кармане. Дошло до тебя? Грабили и государство, и потребителей, то есть народ. А он покрывал…

Ряженцев подошел к столу и сел на свое место.

— Я первый, — сказал он, тяжело опустив большую светловолосую голову, — несу ответ за то, что дал негодяю обманывать партию: не всмотрелся в его жизнь, не распознал ложь… Но ты,

Кирилл? Ты же там бывал…

— Да разве можно было подумать!.. — с отчаянием сказал Чуркин, осекся, покраснел до сизо-свекольного цвета и так же быстро побледнел, стал серым и старым. — Ты и меня подозреваешь? — спросил он прямо.

Рука его с папиросой, лежавшая на столе, задрожала, и, чтобы скрыть дрожь, он скомкал папиросу и зажал в кулаке.

И Ряженцев начал краснеть. Его широкое лицо под светлыми, прямыми, гладко зачесанными волосами медленно наливалось краской. Рот был сжат — казалось, Ряженцев молчит, чтобы не сказать лишнее.

— Если бы я тебя подозревал, — сказал он, не сдержавшись, тихо и страстно, — как ты думаешь — я бы так с тобой сейчас разговаривал?! Я не мог бы с тобой так разговаривать! Не вздумай истерику закатить, председатель горсовета, не к лицу это нам с тобой!.. Но все-таки помни, что ты дал мерзавцу себя провести! Помни, что какие-то голоса обязательно скажут: «Один приятель за решеткой, а другой возглавляет в Энске советскую власть». Не любит народ таких промахов!

Чуркин поднялся, отошел к окну и стал к Ряженцеву спиной. Он не мог бы сейчас выйти из

кабинета… Знакомый робкий вскрик паровоза донесся с улицы. Это проходила мимо городского парка «овечка», таща вагоны на ремонтный завод «Красная заря». На мгновение душа Чуркина отозвалась на этот призыв привычной досадой и привычной заботой: «Ах, черти, и когда я их заставлю убрать отсюда это безобразие!» Но сейчас же он вспомнил о главном — о том, что человек, которого он много лет любил и в которого верил, умер для него — хуже чем умер…

…Чуркин вышел из горкома на площадь Коммуны. Потеплело; дождь моросил мелкий. И этот мягкий, прихмуренный денек, и тихий несердитый дождь, и тысячи раз виданные, спокойные линии домов вокруг площади показались Чуркину мрачными и трагическими, как знамение происшедшей с ним катастрофы. Он вспомнил, как несколько месяцев назад они вышли из этого подъезда вместе с Борташевичем, это было, когда исключали проходимца Редьковского, Борташевич хорошо говорил на заседании. «Как он мог так лгать! Как может человек так лгать! — с мукой и омерзением думал Чуркин; душа его кровоточила. — Партии лгал, людям всем лгал… семье… Семья, семья!» Ему представилась Надежда Петровна, он по-новому увидел ее нарисованные

брови и закрытый рот, произносящий «гум, гум, гум», увидел маску вместо лица, ужаснулся, откинул прочь, — эта переживет, эта знала, уж если Степан лгал, то такая тем более сумеет налгать, Нина словно чувствовала, терпеть ее не могла, — как же он-то, Чуркин, не видел, что у нее не лицо, а маска?.. Знала, знала! Но дети, неужели дети?.. Нет, нет! Несчастные, обманутые дети, преданные родным отцом!..

В горисполкоме ничего не знали, кроме того, что Чуркин пошел к Ряженцеву. Но все подняли головы и переглянулись, когда через комнаты, ни на кого не глядя, прямой деревянной походкой прошел Чуркин, несчастный, серый, больной, постаревший за один час на десять лет.

Это происходило в Катин день рождения — дата, всегда торжественно отмечавшаяся в семье Борташевичей. План празднества был таков: званый обед — для Катиных институтских друзей; потом большой вечер с танцами, ужином, мороженым, коктейлями и всем, что полагается. Тетя Поля и Марго не могли управиться с такой программой вдвоем; была приглашена официантка из ресторана.

Утром Борташевич нежно поздравил дочь, вручил подарки, обещал быть дома пораньше,

а затем отправился в универмаг. К горторгу, особенно к своему кабинету в горторге, чувствовал после приезда тоскливое отвращение и старался бывать там как можно меньше. Лицезреть сообщников стало нестерпимой пыткой… В универмаге запретил директору Изумрудову — хорошо воспитанному, изящно-почтительному жулику, выписанному сообщниками из Краснодара, — сопровождать его, сам обошел отделы, беседовал с продавцами и покупателями. Только к трем приехал в горторг. На лестнице ему повстречался секретарь партбюро Хмельницкий. Вчера Хмельницкий спрашивал у него, когда можно поставить на партийном собрании доклад руководства о перспективах торговли в Энске. Борташевич обещал подумать. Теперь он остановил Хмельницкого.

— Товарищ Хмельницкий, — кивнув, сказал он с видом человека, вспомнившего между тысячей важных дел о тысяча первом, — ставьте доклад на ближайшем собрании. Я приготовлю.

Хмельницкий, молодой человек в очках, с выдержанными манерами, посмотрел на него и пошел вниз, не ответив, — и это поразило Борташевича ужасом. «И не поздоровался. Такой вежливый, и не поздоровался. Боже мой, боже

мой, он не поздоровался! Задумался он, или… или… *это* уже случилось?» Борташевич ощутил, как больно повернулось сердце и как волосы пошевелились надо лбом, словно на них подули. «Вдруг — случайность: думал, что уже виделись сегодня, и не поздоровался, это бывает… А почему не ответил насчет доклада? Боже мой, боже мой… Да или нет?»

«Попробуем проверить». Стараясь попадать пальцем в те кружки, в какие нужно, он набрал чуркинский номер. Голос Чуркина либо вынесет приговор, либо даст отсрочку…

Ответил мурлыкающий голосок чуркинской секретарши:

— Да, я вас слушаю.

— Чуркин у себя?

— Кто просит?

— Борташевич.

— Пожалуйста, Степан Андреич, соединяю.

Секретарша мурлыкала обыкновенно; Борташевич чуточку успокоился.

Но вот опять ее голос — испуганно:

— Вы слушаете? Кирилла Матвеича нет.

— Как нет? Вы сказали…

— Его нет! — торопливо повторила секретарша, в трубке мелко запищали отбойные сигналы.

Вошел заместитель:

— Цыцаркин арестован.

— Да? — спросил Борташевич.

— Подумайте, Степан Андреич, даже отдел кадров не поставлен в известность.

— Хорошо, идите, — сказал Борташевич.

Вошла Вера Зайцева, секретарша:

— Степан Андреич, звонят из универмага, за Изумрудовым пришли из милиции.

— Хорошо, — сказал Борташевич.

Он все держал трубку; трубка яростно и неутомимо кричала отбой.

Положил трубку и вышел. В коридор, вниз по лестнице, на улицу.

«Победа» с брезентовым верхом стояла у подъезда. Шофер курил, прислонясь спиной к машине, и разговаривал с другими шоферами. Увидев начальника, он сделал движение — отворить дверцу, но начальник свернул направо и пошел пешком. Шофер проводил его глазами и продолжал беседу.

О чем думал Борташевич? А ни о чем. Он уползал в свое логово.

Медленно прошел через переднюю, и разноцветные стекла фрамуги в последний раз окрасили его лицо бледными желтыми, фиолето-

выми и красными светами.

Катя вышла на его шаги, веселая, румяная, в новом платье.

— Папа, ну какой молодец, что пришел к обеду! — Она поцеловала его. — Мама, папа пришел! — крикнула она.

Комнаты были празднично убраны, всюду цветы. В столовой Поля с набожным лицом расставляла по снежной скатерти старинные фарфоровые тарелки, которые вынимались из буфета в дни особых торжеств. Поле помогала девушка в шелковом фартучке и гофрированной наколке — официантка из ресторана. Марго перетирала хрусталь… Озираясь, Борташевич прошел мимо них. Он забыл, что будут гости, званый обед… Надежда Петровна вышла из спальни в кружевной блузе и пышнейшей голубой юбке, падающей водопадами до полу.

— Тебе нравится мамин костюм? — спросила Катя.

Борташевич молча стоял перед ними…

— Боже! — вскрикнула Надежда Петровна. — Где ты так вымазался?

Она показала на его ноги. Он нагнулся, взглянул. Брюки забрызганы грязью.

— Скорей переодевайся! — негодующе сказала

она.

Он прошел к себе и закрыл дверь.

— И блузка прелестная, но юбка, юбка! — говорила Катя, обходя мать по кругу и любуясь ее туалетом.

— Все равно вы меня не убедите! — сказала Марго, расставляя фужеры. — Половину шелка она украла!

— Перестаньте, я не желаю это слушать! — воскликнула Катя. — Но где же гости?

— Один уже тут, — сказала Надежда Петровна. — Уже час сидит.

Гость, пришедший раньше всех, был Саша Любимов. Катя пригласила его отчасти в пику матери, убеждавшей ее «не смешивать общество», отчасти для Сережи, чтобы тот не скучал. Для такого случая Саша взял выходной день и сходил и парикмахерскую. Пока что он сидел у Сережи, прислушиваясь к долетающим звукам Катиного голоса.

Прозвонил звонок.

— Накрывайте, я отворю! — сказала Катя и, разбежавшись, весело распахнула дверь на площадку. Она была в праздничном настроении, ее обида на Войнаровского прошла, и увлечение тоже, она чувствовала себя красивой, привле-

кательной; ей шло белое шерстяное платье спортивного стиля, и она с удовольствием шла отворять гостям.

Но это были не гости, а управхоз Иван Семеныч, инвалид, который заходил иногда и спрашивал, хорошо ли греют батареи отопления и нет ли каких претензий, и с ним несколько незнакомых мужчин.

— Хозяин дома? — спросил Иван Семеныч.

— Дома, — ответила Катя, рассматривая одного из мужчин, молодого блондина, худого, с узким розовым лицом и такими светлыми волосами и бровями, что они казались бесцветными. «Какая нежная кожа», — отметила она…

— Повидать его надо, — сказал Иван Семеныч и вошел в переднюю, слегка отстранив Катю. Незнакомые вошли за ним, а позади шел милиционер, которого Катя раньше не заметила. «Ой, неужели опять Сережка что-нибудь натворил», — подумала она и пошла за отцом. «Да?» — спросил он, когда она постучалась.

— Папа, — сказала Катя, приоткрыв дверь. — Тебя спрашивают.

— Кто? — спросил он. Он стоял посреди кабинета, заложив руку за борт пиджака.

— Управхоз с милиционером и еще какие-то.

— Сейчас! — сказал отец. Он сказал это почему-то шепотом, присвистнув. Она закрыла дверь и слышала, как за нею быстро и мягко повернулся ключ.

— Он сейчас, — сказала Катя, выйдя в переднюю, и вслед за этими словами из кабинета раздался короткий сильный стук, будто шкаф упал. Катя не поняла, что такое упало и почему люди, пришедшие с управхозом, бросились в коридор. В недоумении она пошла за ними.

— Здесь? — спросил ее блондин, дернув дверь кабинета.

— Кажется, — удивленно ответила Катя, догадываясь, что он имеет в виду стук.

Сережа вышел в коридор, за ним Саша. В столовой женщины замерли с посудой в руках… Из глубины коридора спешила Надежда Петровна. Слишком длинная юбка мешала ей, и она на ходу нетерпеливо отшвыривала юбку ногой.

— Что тут происходит? — громко спросила она.

Ей не ответили. Блондин властно постучал в дверь. Дверь молчала. Кате стало вдруг страшно, страшно. Она прикусила косточки пальцев, боясь дышать…

— Васильев, ну-ка! — сказал блондин другому человеку. Другой — коренастый, низенький,

черный как жук — заглянул в скважину, слегка потряс дверь за ручку и небрежно, как бы лениво привалясь плечом, распахнул обе створки настежь. И Катя увидела отца, лежащего во весь рост на полу, головой к порогу.

Сейчас же его заслонили чужие люди. Блондин стал звонить по телефону… Катя приблизилась к отцу, осторожно обходя его седую голову; наклонилась и отпрянула, увидев большое темное мокрое пятно на ковре. Отец лежал плечом в луже. Застонав, Катя упала рядом, заглянула в лицо с неподвижными, пустыми глазами… Запахло аптекой, замелькали белые халаты. «Попрошу отойти!» — сказал доктор. Катя встала и тупо стояла в стороне, пока его осматривали и что-то делали над ним.

Его стали класть на носилки. Беспомощны, как у куклы, были ноги в брюках, забрызганных грязью. Тетя Поля, строгая, с поджатыми губами, вынесла одеяло и прикрыла эти ноги.

— Он умер? — спросила Катя.

— Ранен, — ответил, посмотрев на нее, блондин.

Санитары понесли носилки. Тетя Поля перекрестилась.

— Ушел, — негромко сказал чей-то голос.

Катя вскрикнула и бросилась за носилками. С лестницы доносились голоса и топот.

У двери на лестницу стоял милиционер. Он не хотел выпустить Катю.

— Я поеду с ним! — сказала Катя и схватила милиционера за рукав.

— Куда поедете, куда! — сказал милиционер. — Все равно не пустят в тюремную больницу.

Позади раздался знакомый крик, которым у Сережи начинались припадки. Катя пошла обратно. И только дворники, стоявшие у ворот, да несколько случайных прохожих видели, как в санитарной карете укатил в свой последний путь преступник Степан Борташевич, бежавший от суда народа и партии.

Сережа бился и рыдал в углу коридора, и Саша, растерянный, стоял над ним.

— Помоги мне! — сказала Катя. — Поднять помоги. На кровать, на кровать…

Вдвоем они подняли Сережу, перенесли в комнату, уложили, укрыли. «Сережка, Сережка!» — привычно-успокоительно приговаривала Катя… Рыдать он перестал, но его знобило так, что худенькое тело прыгало под одеялом.

— Побудь с ним, — сказала Катя Саше и пошла за грелкой.

Тетя Поля повстречалась в коридоре и сурово опустила глаза. Катя ничего ей не сказала, сама согрела в кухне воду и наполнила грелку. В квартире хозяйничали незнакомые люди. Проходя мимо комнат, Катя видела, что делается. Васильев вешал печати на мебель. У отцовского бюро сидел блондин и вынимал бумаги из ящиков, рядом стояли еще двое, а в кресле сидела мать в своем праздничном наряде. Столовая стала похожа на посудный магазин: разнообразные сервизы, вынутые из шкафов, громоздились на столе и буфете; грудой лежало серебро — официантка его считала и записывала. «Евгений Александрович, — спросила она громко, — а хрусталь считать?» — «Считайте, Маша», — ответил из соседней комнаты блондин… Управхоз Иван Семеныч бродил за официанткой на своем протезе, длинные усы его свисали уныло. «Неужели нельзя отложить эту возню, — с отвращением подумала Катя, — неужели так важно непременно сейчас сосчитать ложки, когда человек хотел убить себя…»

— Зачем они тут? — трясясь, спросил Сережа, когда она ставила грелку к его ногам. — Что они делают?

Катя подумала: лучше сказать ему сразу. Пусть

опять припадок, но лучше сразу.

— По-моему, — сказала она, — они описывают имущество.

— Он умер? — спросил Сережа совсем так, как давеча спрашивала она.

— Нет, нет; ранен.

Он пристально смотрел на нее лихорадочно блестящими глазами, дрожь его усилилась; Катя встала.

— Сереженька, я еще пойду узнаю. Мне так сказали. Я пробовала его руку, она была теплая, клянусь тебе чем хочешь… Ну, я еще спрошу.

— Скажите мне, как позвонить в больницу, — тихо сказала она блондину. — Я хочу знать, жив ли он.

Блондин слушал внимательно и холодно.

— Я звонил только что, — сказал он. — Он жив.

— А… состояние… очень опасное?

— Не выяснено. Мальчику лучше?

— Да.

— Доктора не надо?

— Нет.

Очевидно, бесполезно вторично просить, чтобы он объяснил ей, как позвонить в больницу. Сведения об отце придется получать из третьих рук.

Гордая Катя приняла это со смирением, которое

поразило бы ее, если бы она отдавала себе отчет в том, что в ней творилось.

— Жив, — шепнула она, вернувшись к Сереже, и села в безотрадном ожидании неведомо чего. В комнате было тихо, ходьба и разговоры доносились еле слышно, можно бы подумать, что ничего не произошло, просто Сережа нездоров, а Катя зашла его проведать.

— Что ты думаешь? — спросил Сережа.

Она думала: «Видимо, папа дал себя обмануть каким-то негодяям. Они его втянули в грязь… Может быть, нарочно втянули, за то, что он был беспощаден к жуликам. И теперь он отвечает за них, невинный». Его лицо вообразилось ей, не то чужое, ничего не выражающее, которое лежало там, на полу у ее ног, а живое, родное, любимое с детства, с доброй усталой смешинкой в глазах… «Он, конечно, уже знал, что его втравили и ему отвечать. Потому и хотел застрелиться…» Все это она кое-как, с мукой и бессвязно, объяснила Сереже.

— Ясно, — закончила она, — что нанесен ущерб государству. Потому и описывают. Если окажется, что мало, я пойду работать.

— Я тоже!

— Вообще теперь надо работать. Не ждать ди-

плома.

— Ты совместишь с учебой! — сказал Сережа.

— Я могу преподавать в школе. Все-таки четвертый курс…

— Можешь быть инструктором физкультуры.

— Да. И выплачивать, понимаешь… Лишь бы он был жив и оправдан.

— Это всё клеветники! — сказал Сережа, и опять его стало трясти так, что одеяло поползло на пол.

— Ох, Сереженька, ну ради бога!.. — с тоской сказала Катя и натянула одеяло. Он длинно всхлипнул и закрыл глаза. Она сидела на краю постели, глядя на него; бессознательно ее сердце цеплялось за эту заботу… Что-то мешало Кате, что-то вот здесь, рядом, стесняло ее, тяготило и мучило вдобавок ко всему. Она обернулась, ища — что же это такое; увидела Сашу, который стоял в ногах кровати, и отвернулась.

«Как можно на нас сейчас смотреть…»

Саша понял.

— Я просился уйти! — сказал он. — Так не пускают!

И в отчаянии вышел из комнаты.

Зашуршал шелк, вошла Надежда Петровна, пышная и деловитая.

— Катя! — сказала она быстрым шепотом и

открыла книжный шкаф. — Смотри хорошенько, запоминай… — Сунула руку за пазуху, что-то достала, зажала в кулак; потянула с полки книгу… — Лермонтов, не забудь, однотомник… — Она что-то совала в корешок книги. — И «Дядя Том»… Ваши книжки не опишут, детям надо что-то читать… Вата есть? — Катя, не двигаясь, смотрела на мать. — Ну, платки дай, где тут у Сергея платки носовые? Где платки, я спрашиваю!! — повторила она ожесточенным шепотом и потрясла кулаком. Катя деревянно поднялась, достала из тумбочки платки, подала. Надежда Петровна рванула платок пополам — раз, другой, — побагровела, застонала, платок разорвался; обрывками она заткнула корешок книги с обоих концов. — Значит, Лермонтов, однотомник, помни. Ну, так. Молчите, дети. (Они и без того молчали.) На черный день. Теперь будет сплошной черный день. — Она ушла.

«Мы воры», — думала Катя, стоя у тумбочки.

— Что она прятала? — громко спросил Сережа.

— Лежи, — как автомат сказала Катя.

— Что она прятала?

— Откуда я знаю!

— Мы вообще ничего не знали! — еще громче сказал Сережа. Он вспомнил, как бил Федорчука

и как сказал дежурному в милиции: «Я — Борташевич»; захлебнулся стыдом и спрятал лицо в подушку.

— Ты запомнила книги?.. — спросил он сдавленным голосом.

— Сыну лучше, слава богу, — сказала Надежда Петровна блондину, которого она уже звала Евгением Александровичем и которому несколько раз предлагала пообедать, но безрезультатно. — Он болен с детства, костный туберкулез, и нервная система не в порядке, а тут такой кошмарный удар... Если бы я хоть на секунду поверила, что Степан Андреич в чем-нибудь виноват, я бы тоже лежала в припадке; но я до того убеждена, что это недоразумение сразу разъяснится...

Евгений Александрович ледяно молчал.

— Я даже, представьте себе, чувствую аппетит. Пообедали бы вместе, но вы поставили это все на официальную ногу... Ведь я могу пообедать, гум, гум, гум? — спросила она с насмешливой приниженностью.

— Пожалуйста, — уронил Евгений Александрович.

Отворилась дверь, и вошла Катя, неся что-то в сложенных лодочкой ладонях. Красивое лицо ее было бледно, волосы сбились.

Она подошла — Надежда Петровна смотрела на нее с ужасом — и, разняв ладони, неуклюже-бережным детским движением высыпала на стол кольца, кулоны, брошки, которые Надежда Петровна только что прятала в книжном шкафу.

— Что это? — спросил Евгений Александрович.

— Это лежало в шкафу, — ответила Катя.

— Это ваши вещи?

— Нет.

— Хорошо, — небрежно сказал Евгений Александрович.

Катя постояла и пошла из комнаты. Уже за дверью услышала яростный воющий крик матери:

— Ду-у-у-ра!!

Катя побежала… Сережа ждал ее, сидя на постели.

— Отдала? Взяли они? Ну, все. Ну, все. Ну, не дрожи. — А сам дрожал.

— Холодно, — сказала Катя, стукнув зубами. — Подвинься. — Скинула туфли и шмыгнула под одеяло. Они обнялись, как когда-то, когда были маленькие.

— А вдруг он умер? — прошептал Сережа. Катя молчала, закрыв глаза. — Катя! Вдруг он умер…

— Не знаю, — прошептала она. — Не знаю, как лучше…

Из-под век ее хлынули слезы. Сережа закрыл лицо одеялом и тоже заплакал горько. А за дверью стоял Саша, которого так и не выпустили из квартиры, хотя он два раза просился; стоял как на часах — будто караулил то, что осталось от прекрасной семьи Борташевичей.

Глава семнадцатая. Как будем жить дальше?

Сахарный, сладкий лег снежок и прикрыл безобразие осени. Белый и чистенький стоит город Энск. Даже поленницы в задних дворах, убравшись пуховыми покрывалами, приняли приятный вид. В новый дом на Точильной улице въезжают жильцы; по молодому снежку подкатывают грузовики с полосатыми матрацами, шкафами, фикусами и детскими кроватками. Магазин внизу уже торгует хлебом, мясом, картошкой и другими жизненно необходимыми продуктами. Хозяйки одобряют, что магазин тут же в доме, не надо ходить далеко… На человеческую радость заходят порадоваться Ряженцев и Дорофея. Они скромно стоят в сторонке и смотрят, как люди соскакивают с грузовиков и вносят свое имущество в распахнутые настежь двери, как дети бегают по лестницам, звеня голосами, и как тут и там появляются на доселе пустовавших, неживых окнах тюлевые и матерчатые занавески. Вот вынимают из кабины грузовика маленькую фигурку, закутанную словно для полярного путе-

шествия. Это старичок, очень старый и хрупкий (кожа на его личике тонка и бела, как папиросная бумага). Поверх зимнего пальто на старичке меховая женская кофта, тесемки шапки-ушанки завязаны под подбородком, а шея вместо шарфа обмотана пуховым платком. Девочка-подросток в лыжных штанах, размахивая длинными косами, стаскивает с грузовика стул, приставляет к стене дома, усаживает старичка и говорит:

— А вы пока, дедушка, подышите воздухом.

И, оглянувшись на Дорофею и Ряженцева, просит:

— Присмотрите, пожалуйста.

Старичок сидит, свесив ноги в валенках, держась за сиденье стула и живо посматривая кругом вострыми глазами. Ряженцев заговаривает с ним; выясняется, что девочка ему праправнучка, и старичку сто два года, рожден в 1848-м.

— Год выхода Коммунистического Манифеста, — замечает Ряженцев, улыбнувшись.

— Совершенно верно! — отвечает старичок.

Он слышит хорошо и разговаривает бойко. Вид проходящего по двору офицера наводит его на мысль рассказать случайным собеседникам о своем участии в походе под командованием генерала Скобелева, и когда появляется девочка

в лыжных штанах и говорит: «Пошли, дедушка», — старичок прерывает рассказ с явным неудовольствием.

— Современник Маркса и Энгельса, — говорит Ряженцев, провожая его взглядом. — Сколько вмещается в одну человеческую жизнь.

— Порядочно… — откликается Дорофея. Она стоит исхудавшая и решительная, на скулах горят неровные красные пятна, словно страдание опалило ей лицо. В колечке волос, заложенных за ухо под каракулевой шапочкой, явственно заметна проседь… Ряженцев спрашивает:

— Когда вы принимаете дела от Чуркина?

— Завтра, — отвечает она.

Чуркин уходит в отпуск. С завтрашнего дня Дорофея будет главной ответчицей за город, его хозяйство, за «дом угрозы» в Рылеевском переулке, за устройство всех этих людей, которые ходят по улицам… Бесконечный, благословенный день забот, помогающих переносить горе. Она прямо стоит возле Ряженцева под редкими медленными снежинками, падающими с неба, и смотрит на человеческую радость.

Счастливцы, получившие квартиры в новом доме, покидают свои старые жилища, туда перебираются другие жильцы. Так что новоселье

празднуется не только на Точильной, но и на разных улицах, в разных домах. И в квартиру Борташевичей является с ордером горжилотдела высокая худая женщина в длинных болтающихся серьгах и с нею маленький нахмуренный муж. Их фамилия Ефимовы. С собой они привозят только ширму, обитую ситцем в цветочках. Но на площадке черной лестницы столяр Ефимов немедленно устраивает мебельную мастерскую. Много дней дотемна стучит молоток, визжит пила и шипит рубанок, и приходящие с черного хода наносят в кухню на подошвах опилки и стружки. И аккуратная тетя Поля ничего против этого не имеет, потому что она уважает товарища Ефимова, делающего из старых ящиков стулья, столы, табуретки и шкафы. У этой некрашеной новенькой мебели светлый, веселый вид и шелковистая поверхность, и из комнаты Ефимовых вкусно пахнет свежим деревом.

И еще приходят люди с ордером, и еще, — ведь в большой квартире Борташевичей из прежних жильцов осталось только трое: Катя, Сережа и тетя Поля.

В ту ночь, когда Евгений Александрович и его спутники ушли из этой квартиры, у Надежды Петровны сделалась истерика. Красная и безоб-

разная, с искривленным накрашенным ртом, она кричала:

— Разве это дети? Это предатели! Пускай она без стипендии живет как хочет!

Сережа, заснувший было, от криков проснулся и вскочил. Катя, караулившая его, подбежала к двери и заперлась на ключ.

— Ничего! Не слушай! — говорила она, крепко обняв его. — Мы с тобой будем!..

А из-за двери неслось:

— Поля, слышите? Не давать им есть!..

«Какой позор!» — с нарастающим отвращением думала Катя… Тетя Поля не отвечала; не слышно было и Марго; забились в щели разрушенного муравейника и сидят тихонько… Надежда Петровна одна металась по квартире. «Тетя Поля уйдет, — думала Катя, — у нее было такое лицо… Сидит сейчас и думает: вот я кому служила…» Вопли Надежды Петровны стали стихать и стихли; тишина наступила в разрушенном муравейнике…

Под утро задремавшую Катю разбудил телефон. Задремав, она забыла о том, что произошло, и, с закрытыми глазами слушая звонки, подумала: «Ах, уже поздно, вон уже кто-то по телефону звонит, я проспала лекцию!» Открыла глаза и увидела ночную комнату, озаренную лампочкой

в зеленом колпачке, спящего рядом Сережу — все вспомнила и поняла значение этих настойчивых звонков, которые не прекращались, несмотря на ночное время… «Папа умер». В чулках вышла в коридор, где висел аппарат; не зажигая света, нащупала трубку.

— Я слушаю, — сказала она и не узнала мужского голоса, прозвучавшего в ответ.

— Екатерина Степановна?

— Да.

— Говорит Войнаровский, — сказал он. Она не удивилась — в ту ночь ее ничто не могло удивить.

— Екатерина Степановна, у меня нерадостные вести.

— Умер? — спросила она и, не слыша ответа, замолчала сама.

Войнаровский сказал:

— Семья может его проводить.

— Хорошо, — сказала Катя. Села на стул и сидела впотьмах, охватив руками колени, до самого утра…

Степана Борташевича схоронили в залитой дождем могиле на Старом кладбище. От Сережи скрыли день похорон. Надежда Петровна не пожелала пойти. Одна Катя шла за гробом.

…Она вернулась с головной болью, разбитая и иззябшая, никак не удавалось собрать мысли… Когда она подходила к своему дому, откуда-то взялся Войнаровский и что-то сказал, она не разобрала, что именно…

— Хорошо, хорошо, — сказала она, чтобы избавиться от него… Дома, переодевшись в сухое, она легла в постель, чтобы согреться.

Вошла тетя Поля, села в ногах кровати и сказала:

— Ехать собралась, и Маргошку берет.

Катя промолчала.

— Как дальше будем жить? — спросила тетя Поля.

— Как будем жить, — сказала Катя, — так и будем жить. Поступлю на работу…

— Стипендии нет, плохо, — сказала тетя Поля. — Шутка — триста рублей в месяц. Сергей говорит, если троек не будет, опять станут платить, верно?

— Станут, — виновато подтвердила Катя.

«Я белоручка, разгильдяйка, дрянь», — подумала она.

— Договор перепишем на тебя, — сказала тетя Поля.

— Какой договор?

— Со мной договор о найме. Сходим в местком и перепишем, что я теперь у тебя служу.

— Тетя Поля, — сказала Катя, — как же я могу…

— А я зарплаты не спрошу, не бойся, — сказала тетя Поля. — Я не пропаду: и постираю, и пошью чего попроще для людей, и комнатку мою при кухне мне оставят, и будет кому хоть за вами присмотреть.

Вечером пришел Саша; Катя слышала, как они с тетей Полей на кухне считали вполголоса:

— На питание… За квартиру… За электричество… Ботинки починить… На трамвай — в институт и обратно — тридцать копеек в день…

Они занимались Катиным бюджетом. Жизнь оборачивалась множеством забот. Беспечные дни миновали. Оказывается, тридцать копеек на трамвай — это расход, тридцать копеек нужно заработать…

Катя заснула тяжелым сном, ей приснилось кладбище, мокрые от дождя кресты, месиво грязи вокруг черной могилы, куда опускают гроб… Во сне Катя стонала и плакала. Утром ей сказали, что звонила Наташа Штейнбух, просила Катю позвонить ей, как проснется; Катя не позвонила. Днем зашел Юра Смолян, сокурсник, — Катя велела тете Поле сказать ему, что нездорова, по-

видаться не может, выздоровеет — сама придет в институт. Она не знала, как ей держаться со старыми товарищами; той избалованной, гордой, победоносной капризницы, какой она была несколько дней назад, больше не было; а новая Катя еще не родилась.

Надежда Петровна уехала через два дня после похорон. Она не может здесь жить, объяснила она: ее истерзали воспоминания… Предложила ехать и детям…

— Куда? — спросил Сережа.

— Я сама еще не знаю, — сказала Надежда Петровна. — Решим потом, когда мысли придут в порядок. Пока поживем в Ростове, у нас там масса родственников.

Дети слышали впервые об этих родственниках и отказались ехать. Надежда Петровна всплакнула и сказала:

— Но вы меня проводите, конечно.

— Я не смогу, — сказала Катя.

— Не можешь проводить мать? — упрекнула Надежда Петровна.

— Ты не проводила папу, — сказала Катя, черные глаза ее сверкнули, как прежде.

— Бежать, бежать! — сказала, шепелявя, Марго. — Как ты останешься, Катюша, тут же воспо-

минания на каждом шагу… Он, негодяй, пишет мне из тюрьмы, чтобы я ему что-то там принесла, с какой стати?! Пусть носят те, кого он водил в чернобурках. Нет, бежать, бежать!

И она уехала вместе с Надеждой Петровной, без которой, по-видимому, не могла существовать, как ни страдала от ее деспотизма. Последним Сережиным впечатлением от проводов была Марго, увешанная, как вьючная лошадь, сумками и пакетами, старая Марго с желтыми волосами, убегающая от воспоминаний.

Было одно посещение, мучительное для Кати.

Пришла незнакомая девушка в старом мешковатом пальто и зеленом берете с помпоном на макушке; из-под берета на плечи свисали густые растрепанные волосы. Ненатуральным тоном, медленно и надменно, девушка спросила:

— Вы — дочь Борташевича?

— Да, — ответила Катя — и покраснела.

— Я — Зайцева, — сказала девушка и, манерно вывернув голову вбок, стала снимать с руки вязаную перчатку, каждый палец в отдельности, словно перчатка была лайковая и туго снималась. — Вы меня не знаете?! — спросила она с выражением глубочайшего удивления.

— Простите, нет, — сказала Катя. «Какая стран-

ная…»

— Вера Зайцева. Я сыграла Марию Стюарт.

— Ах, да… — сказала Катя, вспоминая. — Я слышала…

— Мне надо с вами поговорить, — сказала Зайцева, и ее надменность вмиг исчезла, перед Катей оказалось самое обыкновенное, не прикрашенное косметикой, простодушное и даже простоватое лицо.

— Садитесь, пожалуйста, — пригласила Катя.

Они сели в передней, по сторонам маленького столика.

— Это верно, что ваша мать уехала? — простецким голосом спросила Зайцева. — Ну вот, приходится советоваться с вами… Понимаете, не хотят меня посылать на смотр в Москву. Прямо не знаю, что делать.

Она всхлипнула и полезла в карман за платком, и ее большие вязаные перчатки с растопыренными пальцами упали с колен на пол. Катя подняла.

— Спасибо! — сказала Зайцева. — Они говорят, что я была его любовницей. Что я, должно быть, знала об его… поступках. Будто жена даже хотела из-за меня с ним разводиться… Я никогда в жизни не была ничьей любовницей! Я — актриса!

Она всхлипывала и сморкалась в маленький серый платок и говорила, а Катя слушала, нахмурив длинные брови, и вспоминала непонятные намеки Марго и с каким выражением, поджимая губы, мать произносила при детях фамилию Зайцевой… Кате раскрывалось грубое сплетенье обмана и клеветы, и, подобно Чуркину, она думала: «Как они лгали! Сколько мерзости оставили за собой!..» Обнаженные слова Зайцевой не оскорбляли Катю: она стала выше грошовой щепетильности… Она верила Зайцевой, потому что не верила матери: что сказала мать, то ложь, не может не быть ложью…

— Бог с ними, пусть бы говорили, я на сцене забываю все неприятности… Но они не хотят везти «Марию Стюарт» в Москву, заменили «Грозой»; вы видели «Грозу» у металлистов?.. Вы бы посмотрели, до чего там плохая Катерина, бог знает что, а не Катерина, я бы совсем иначе сыграла… Слушайте, вы не можете дать справку, что я не имею отношения… что это клевета?

— Вряд ли вам поможет моя справка, — сказала Катя.

— Вы думаете? — спросила Зайцева. — Но что же мне делать?

— Не знаю, — сказала Катя.

— Слушайте, а если я напишу вашей матери? Вы мне дадите адрес?

— У меня нет адреса.

— Нет адреса?

— Нет.

Это была истинная правда.

— Как же это… нет адреса? У вас? — недоверчиво повторила Зайцева, заплаканными глазами глядя на Катю.

Та молчала, опустив голову. Зайцева спрятала платок и стала медленно, с прежней жеманной манерой надевать перчатки. Надев, встала и произнесла, меряя Катю взглядом:

— Девушка, я в вас жестоко разочаровалась! Вы — дочь своего отца и не более того!

Желая сказать что-то и не находя слов, Катя вышла за нею на площадку. Зеленый берет спускался в сумрачный провал лестницы. Из провала еще раз прозвучали слова, сказанные не то Зайцевой, не то Марией Стюарт:

— Что мне теперь делать!..

Катя вернулась в свою комнату: все по-старому — мебель, книги, трапеция, — дико, что все по-старому, когда жизнь перевернулась… Стало тягостно, невыносимо сидеть одной; но не хотелось видеть ни Наташу Штейнбух, ни

своих институтских — никого, кто напоминал бы о прежнем. Представился Войнаровский… «Глупости; все позади, до того ли теперь… Надо работать. Самое честное на свете — работа. Пусть трудная, мне ни легкости не надо, ничего, пусть увидят — дочь отца или сама по себе… А как искать работу? Куда ни приду, скажут: почему бросаете институт, вы лучше доучитесь…» Из Сережиной комнаты донесся голос Саши. Катя вошла к ним и сказала:

— Саша, устрой меня в твою бригаду, я хочу быть строителем.

Мальчики обернулись к ней.

— А институт? — спросил Сережа.

— В бригаду?.. — не веря, переспросил Саша.

— Екатерина, — сказал Сережа, — ты ведешь себя по-женски.

— Дайте мне делать, что я считаю нужным! — крикнула Катя. — Ты мне еще будешь указывать!..

— Там же под открытым небом… на верхотуре, — заикаясь от волнения, нелепо сказал Саша. Мысль, что Катя может быть с ним целыми днями, поразила его, он залился румянцем от нежданного счастья… «А зачем же она три года училась на биолога?..» Но он поспешно возра-

зил себе: «После доучится. Разве я могу с нею спорить...» И закончил начатую фразу еще нелепей: — Как хотите.

— Устрой меня... пожалуйста! — повелительно *попросила* Катя, сверкая глазами.

— Дело твое, — сдержанно сказал Сережа. — Но это не линия поведения человека. Это линия поведения страуса.

Катя не ответила и вышла... Минула неделя, и вот Катя встала по будильнику в шесть утра; еще не рассвело. Она надела приготовленную заранее рабочую робу: мальчиковые ботинки, стеганые штаны и ватник; на штанах внизу были тесемки; она аккуратно завязала их у щиколоток. В ботинках мужского фасона было легко и удобно ногам. «Кто узнает?..» — подумала Катя, надев ушанку и взглянув в зеркало; из зеркала хмуро и вызывающе глянул на нее стройный чернобровый мальчик... Она засунула в карман завтрак, завернутый в газету, и сбежала по лестнице, по-мальчишески стуча широкими низкими каблуками. За эту неделю она дважды побывала на постройке и знала, как это выглядит и что ей придется делать.

Стояла ночь, горели фонари. Весь город — мостовые, тротуары, крыши, карнизы домов — был

покрыт чистым, свежим, голубоватым, словно синькой подсиненным снегом. Много было прохожих: мужчины и женщины выходили из ворот и подъездов; снег вкусно похрустывал под ногами. Звеня и сияя, прошел трамвай, крыша его была тоже в снегу и на буферах снег. Вагоны были полны людьми — первая смена ехала на работу. И Кате стало радостно и светло, что и она в этом могучем людском потоке. Она погналась за отходящим автобусом и на ходу вскочила на подножку.

Под фонарем стоял человек в брезентовом макинтоше поверх полушубка, в руках деревянный чемодан и толстый портфель, — типичный сельский командировочный, который только что приехал и направляется в Дом колхозника… Он во все глаза смотрел на Катю; проезжая мимо — одной ногой стоя на подножке, — она узнала его: колхозный агроном, тот, что давным-давно, летом, был в нее влюблен… Она кивнула ему дружески. Ее возмущение против него было такое ничтожное, глупенькое… Приятно, что в это торжественное для нее утро увидел ее и узнал знакомый рабочий человек.

Чуркин уходил в отпуск. Нина-жена приехала, Чуркин встретил ее на вокзале. Всегда это было

счастьем: поезд медленно подходил, Чуркин с бьющимся сердцем шел по платформе, жадно ища ее лицо в окне вагона. И всегда милое лицо, обветренное и оживленное, показывалось в другом окне, не в том, на которое смотрел Чуркин; Нина стучала в стекло, Чуркин вздрагивал и видел ее — а потом стоял у вагонной подножки, мешая пассажирам выходить, и не мог дождаться, когда же выйдет она. Она выходила наконец, они целовались быстрым («черновым», говорил Чуркин) поцелуем, он брал у нее чемодан, она знакомила его со своими товарищами, и в толпе товарищей и носильщиков они шли к выходу, и Нина говорила радостно:

— Ты ни капельки не изменился!

А Чуркин в первые минуты ничего говорить не мог, только смеялся.

И в этот раз он ждал ее у вагона и наклонился — поцеловать, но она отшатнулась и сказала испуганно:

— Что с тобой? Ты болен!

У него был измученный вид, доктора гнали в санаторий, — вот теперь поедем вместе, заездился действительно, отдохнуть необходимо…

— У тебя неприятности! — сказала Нина, заглядывая ему в глаза. — Что случилось?

Но Чуркин не сказал, не хотел отравлять встречу тяжелым разговором. Он завез Нину домой и поехал в горисполком — сдать Дорофее дела на время отпуска.

Словно пуля, которую пустил в себя Борташевич, рикошетом ударила и Чуркина — такую боль и слабость чувствовал он после того несчастного дня. Невозможно, неслыханно оскорбительным казалось ему, что он, так близко стоявший к Борташевичу, попался на удочку этой лжи и любил и уважал человека, который ежеминутно предавал и топтал все, что ему, Чуркину, дорого… «Я к нему шел с открытой душой… а он, должно быть, надо мной смеялся со своей Надеждой Петровной!» Все отметили, что Чуркин после этой истории стал сух и замкнут, говорил только о делах и взглядывал на людей острым подозрительным взглядом — и некоторые от этого взгляда смущались…

Передача дел заняла не много времени: Дорофея была в курсе текущей работы и перспектив, сосредоточенна — понимала с полуслова, Чуркин ничего не должен был разжевывать… «Кажется, все», — закончив, сказал он с угрюмой задумчивостью. Она сказала:

— Еще вопрос: как там дети Борташевича?

— Дети Борташевича? — растерянно переспро-

сил Чуркин, застигнутый врасплох. — Да что ж?.. Живут. — Он покраснел. — Я точно не знаю…

— Как не знаешь? — изумилась Дорофея.

Чуркин опустил глаза:

— Мать, говорят, уехала…

— Да! Я слышала! Мерзавка! Там больной мальчик…

— Ну, он мог бы поехать с матерью, — пробормотал Чуркин.

Дорофея пристально посмотрела на него:

— Ты был у них, Кирилл Матвеич?

— Почему я должен у них быть! — пришел в ярость Чуркин. — Почему?! Мало мне, понимаешь, неприятностей?

— Да дети при чем! — вспыхнула Дорофея. — Дети за отца ответчики, что ли?

— Ну, что ты мне говоришь! — со стоном сказал Чуркин. — Зачем ты мне это говоришь! Ты не понимаешь!

Она не понимала. Он не шел к Сереже и Кате потому, что берег себя от страдания этой встречи. Его рана не зажила. Он не мог, чтобы это повторилось… Дорофея разглядывала его так, словно первый раз видела.

— Ну, Кирилл Матвеич! — сказала она тихим от негодования голосом. — Ну, не ждала! От тебя

— не ждала! И как это все вместе в тебе уживается!..

Чуркин закрыл глаза и сидел неподвижно, принимая упрек и не отвечая на него, отказываясь отвечать…

— Подумать!.. — вставая, сказала Дорофея. — Они же тебя, тебя ждали все время… и перестали ждать.

Она повернулась уходить.

— Я пойду! — сказал Чуркин. — Я… сегодня схожу.

Не оглянувшись, она вышла. Он остался сидеть как пригвожденный, дымя папиросой. Он не в силах был объяснить ей, что в нем происходит, вот этот страх перед новой болью, — не умел, и стыдно, стыдно…

Дома была Нина, расстроенная, непраздничная — теща ей рассказала, — брезгливо говорящая:

— С такой женой этого следовало ждать.

Чуркин сказал, что оставит ее еще ненадолго — ему нужно зайти к детям Борташевича. Нина посмотрела смягченно, уважительно и виновато:

— Зайди, конечно, надо проститься перед отъездом…

Что бы она сказала, если бы знала, что он не

видел их с тех пор? Ей это в голову не пришло. «Ждали и перестали ждать…»

Долго он отстранял от себя это. Но, видно, неизбежно было опять войти в этот дом, подняться по этой лестнице, позвонить у этой двери…

Открыла не Поля, не Катя и не Сережа, а чужая женщина, она сказала:

— Их никого дома нет.

Чуркин почувствовал огорчение и облегчение — сразу; и собирался уйти, как женщина сказала:

— Только мальчик, он больной лежит.

Думая, что он не знает квартиры, она проводила его до Сережиной комнаты. Чуркин постучал, и дверь отворилась — ее отворил какой-то мальчик. Мальчиков в комнате было много, душ до десятка, из-за них Чуркин не сразу увидел Сережу. Тот лежал на кровати, к кровати был придвинут стул, на стуле стояла шахматная доска.

— Здоров! — задохнувшись от волнения, сказал Чуркин. Сережа смотрел на него, подперев голову худенькой смуглой рукой в белом рукаве рубашки. Черные глаза резко блестели на его маленьком лице. Чуркин видел, как изо всех сил это лицо старается сохранить спокойное выражение: тонкая бровь мучительно дергалась, выдавая

эти старания… Стало очень тихо, мальчики замолчали и в тумане поплыли перед Чуркиным… «Пошли покурить!» — вполголоса сказал кто-то, и они вышли в коридор, осторожно топая. А Чуркин очутился возле Сережи. Застучав, посыпались шахматы с доски.

— Сережа! — сказал Чуркин, бережно обняв дрожащие детские плечи, острые под рубашкой… Это было страдание, которого он так боялся. Но за ним открылась радость — беречь и растить эту молодую, больше всех обманутую и оскорбленную жизнь, направлять ее и гордиться ею: именно тогда принял Чуркин решение, что отныне он будет Сереже отцом и защитой.

Во время пребывания Чуркина в санатории Сережа поднялся наконец после пережитых потрясений.

Поднялся прозрачно-желтый, с темными кругами у глаз и с болью в позвоночнике, но полный мужественной готовности все пережить до конца и все сделать, что нужно.

Он методично привел в порядок свой письменный стол. Попался под руку дневник — толстая, красиво переплетенная тетрадь, на которой он когда-то изобразил череп и скрещенные кости и надписал: «Не трогать — смертельно!!!» Он

пренебрежительно сбросил тетрадь в нижний ящик стола: «С детством кончено».

Он пришел к выводу, что человек в состоянии вынести очень много; и если человек уже вынес самое страшное, то может вынести и не самое страшное — пойти в школу, где знают, что у него случилось. Катя не отважилась пойти в институт, потому что она женщина.

Также Сережа решил, что будет учиться очень хорошо: он не должен допустить, чтобы ему делали замечания. Прежде это было неважно, теперь исключительно важно.

Он верил в Ивана Евграфыча и в ребят. Ребята рассказывали, что было специальное собрание, совершенно стихийное, в верхнем коридоре, по вопросу: как относиться к Сергею Борташевичу. Кто-то стал говорить о нем дурно, Санников соскочил с подоконника и сказал, что набьет морду всем, кто скажет хоть слово о Сергее Борташевиче. На шум явился Иван Евграфыч и разогнал собрание.

Сережа аккуратно ходил на занятия и отвечал на пятерки. Ему предстояло долго носить свое горе. Оно напоминало о себе на каждом шагу; смотрело из книг и из глаз учителей. Музыка играла о горе, только о горе. Гудки и автомобиль-

ные сирены кричали о горе.

Как-то он шел домой со стопкой учебников за бортом пальто. Шел, хромая, думая о своем, и вдруг увидел, что навстречу идет Федорчук.

После той злополучной истории они не встречались. Первым желанием Сережи было — шарахнуться, перебежать на другую сторону улицы, а лучше бы всего провалиться сквозь землю… Федорчук смотрел на него. «Но я же не трус, — подумал Сережа, — я могу и это». Он остановился и сказал:

— Здравствуйте, товарищ Федорчук.

— Здорово, — ответил Федорчук и тоже остановился. Постояли… На добром черном и усатом лице Федорчука было озабоченное выражение. Он спросил:

— Из школы? Как оно с учением, имеются успехи?

— Немножко, — ответил Сережа, догадавшись по этому вопросу, что Федорчук получил о нем сведения от Ивана Евграфыча. — А вы где теперь работаете?

— Засиделся на месте, — вздохнул Федорчук. — Предлагают в Куйбышев. Конечно, интересней бы в экспедицию, но жена не хочет. Готовится экспедиция в Коми республику, а она не хочет,

и все.

— А что будут искать в Коми республике? — спросил Сережа. И они пошли рядом, беседуя по-мужски.

Метель метет, декабрь на дворе, скоро выборы в местные Советы.

Горят цепочки лампочек над дверями агитпунктов, освещая алые транспаранты с лозунгами. Вечерами по лестницам домов города Энска ходят агитаторы; Юлька в их числе. У нее четыре квартиры в большом доме — тридцать восемь избирателей. Она ходит к ним чуть не каждый день, это возмущает Андрея… На лестнице Юльке часто встречается тучный пожилой человек в котиковой шапке, с массивной тростью, шагающий медленно и степенно. Он шумно дышит, поднимаясь, и на площадках останавливается отдохнуть. Звонит у дверей и на вопрос: «Кто там?» — отвечает зычно и важно: «Агитатор!» Юлька ему не нравится: негодующе смотрит он на нее, когда она сбегает ему навстречу легким своим бегом. Он явно обижен: «Как! Этой девчонке так же доверили агитировать за блок коммунистов и беспартийных, как и мне, заслуженному человеку с одышкой?! Безобразие!» Юлька вздергивает нос и проходит, хмуря светлые бровки.

Близ дома, на бульваре, ее поджидает Андрей. Ему тяжело так долго без нее. Он неприкаянно бродит по пустынному бульвару, на него идет снег и крупа, и ему кажется, что продавщица в угловом ларьке презирает его за долготерпение.

— На сегодня все, я надеюсь? — спрашивает он, беря Юльку под руку. И блаженно чувствует сквозь шубку, как у его руки бьется ее сердце.

— На сегодня все, — отвечает она. — Но завтра надо еще к ним сходить.

— Ничего подобного! — говорит Андрей. — Никуда ты завтра не пойдешь.

— Какой ты странный, Андрюша, — говорит Юлька. — Им же нужно получить биографии кандидатов.

— Они не умрут, если получат биографии послезавтра.

Роли после свадьбы переменились, теперь командует Андрей, а Юлька слушается, хотя и не без протеста.

— Завтра ты будешь со мной. Я тоже избиратель. Почему открыто горло? Простудишься. Дай я поправлю.

Они идут к автобусной остановке, под большими вязами, под снегопадом. Белеют пустые бульварные скамьи. Юлька рассказывает Ан-

дрею, что с нею случилось за день, и он, склонив к ней голову, слушает ее…

И ночью снег идет, и днем. Весь белый стал больничный сад… В палате на койке сидит Геннадий в байковом халате внакидку и, задумавшись, трубочкой сложив губы, смотрит на белое окно, на сплетение белых ветвей за окном.

Почти два месяца прошло с того дня, как он прибежал, загнанный, к порогу родного дома и рухнул у этого порога, успев позвонить — известить о своем приходе.

Теряя сознание, он слышал крик матери, потом голос отца. Потом они оба, отец и мать, подняли его и понесли, и положили, — это было последнее, что он тогда сознавал. Очнулся в больнице…

Сейчас он сидел желтый, нечесаный, плохо побритый, на его длинной шее выросли сзади две некрасивые косички. Стал нелюдим: другие выздоравливающие играли в домино, рассказывали анекдоты, гуляли по палатам, — он держался особняком. Миловидные сестры, нежно посматривающие на интересного больного, потеряли надежду привлечь его внимание; Зинаиде Ивановне нет смысла ревновать. Впервые в жизни ему хотелось быть одному для того, чтобы думать.

Если бы он умер — что мог бы перед смертью рассказать о своей жизни? Нечего рассказывать. Все ерунда какая-то. А в конце — три уродливых, страшных рыла и карлик-убийца под дождем… Бред. И в болезни ему виделись эти рыла и карлик с зонтиком, похожий на черный гриб.

Они арестованы, говорит мать. Матери он сказал все. Она сказала отцу. Отец ничего не говорит; поседел сильно; придет и сидит молча, и часто выходит покурить. И у матери показалась седина, в прошлую встречу Геннадий заметил и сказал ей. Она провела рукой по своим подстриженным волосам, заложила прядку за ухо и сказала: «Наплевать!» А у него сжалось сердце. Он взял ее маленькую крепкую руку, поцеловал и заплакал, — они были вдвоем.

— Ну, поплачь. Ну, поплачь. Слабенький стал… — шептала она, быстрыми движениями гладя и прижимая к груди его голову. И у самой лицо было залито слезами…

Она говорила с прокурором. Суд над Цыцаркиным, Изумрудовым и их сообщниками будет, вероятно, в январе. Прокурор сказал — Геннадия вызовут в качестве свидетеля… Но могут и посадить, если поверят Цыцаркину, Изумрудову и Малютке, что Геннадий участвовал в их преступ-

лениях. К этому Геннадий внутренне готов.

Он думает, думает… Передумывает все, что может быть, и все, что было. Знакомые лица вдруг по-необычному предстают перед ним, и он всматривается в них с удивлением…

Зина, например. С утра она появляется возле его койки вооруженная градусником, шприцем, мензуркой с лекарством, безответно выносящая его капризы и грубости, дрожащая за его жизнь, — похоже, ни дня не отдохнула Зина за эти два месяца, — что же такое Зина, что такое Зинина привязанность, какое он на эту привязанность имеет право?..

Юлька приходит, сестра. Ему по-прежнему не о чем говорить с нею, говорит она — о своих делах, об его здоровье, — и при этом на глазах у нее слезы, а в упрямой складке ее губ он читает: «Геня, мне тебя ужасно жалко, ужасно; но я все равно была права. Все равно тебя надо было выгнать. Если ты опять начнешь то же самое, я опять скажу, что тебя надо выгнать». И Геннадий больше не обижается, с угрюмой усмешкой он опускает голову перед Юлькиной непримиримостью…

Мать бывала у него каждый день; отец — всякий раз, как приезжал из рейса. И Андрей заходил вместе с Юлькой, и тетка Евфалия, и Марья Федо-

ровна Акиндинова заглянула однажды.

Наведывались приятели — он принимал их сухо, их неумные и несмешные остроты сердили его: острят, как нанятые; тут у человека жизнь зашла в тупик!..

Лариса и Саша не проведали его ни разу, не передали привета, ничего.

О Ларисе он не думал: нашла себе новое счастье — ну и слава богу… Но Сашу как-то увидел во сне. Содержание сна забыл, едва проснулся, но осталось впечатление, он взволновался и попросил Зину, чтобы Саша пришел. Саша не спешил откликнуться на приглашение, пришлось, должно быть, Зине поуговаривать и поплакать, а когда он появился, Геннадий испытал только неловкость — впечатление от сна уже сгладилось… В белом больничном халате, туго напяленном на плечи поверх пиджака, высокий, возмужавший, Саша показался Геннадию богатырем; и новое, затаенно-счастливое («с чего бы?..») выражение его лица было неуместно. Впрочем, это выражение исчезло, едва Саша увидел Геннадия.

— А, здорово, — пробормотал Геннадий.

— Здравствуйте, — явно через силу сказал Саша.

— Садись, — Геннадий кивнул на табуретку.

Саша неловко сел. Руку не протянул ни один.

— Как ты там? — спросил Геннадий после паузы.

— Да так. По-старому. А вы как?

— Да ничего.

— Поправляетесь?

— Угу.

— Хорошо, — неопределенно произнес Саша.

Еще помолчали. Саша спросил, томясь:

— Курить здесь нельзя?

— По коридору направо курилка.

— Вы не хотите курить?

— Мне нельзя.

— А!

В таком роде тянулся никому не нужный разговор. Саша достал папиросу, долго мял ее в пальцах, потом с силой дунул в мундштук, решительно вскочил, простился и ушел.

Внизу, в раздевалке, его окликнул женский голос:

— Саша!

Он узнал пожилую женщину, которая отворила ему дверь, когда год назад он приходил на Разъезжую; он догадался, что это мать Геннадия.

— Ты был у Гени? — спросила она обрадованно.

— Да, — ответил он и добавил: — Здравствуйте.

— Здравствуй, — сказала она и ласково, горячо сжала ему руку. — Наконец-то мы с тобой познакомились.

Седой, красивый человек в железнодорожной форме подошел и сказал Саше:

— Угости папироской.

Саша протянул ему коробку.

— Это Леонид Никитич, Генин папа, — сказала мать Геннадия.

— Где работаешь? — спросил Леонид Никитич. — Тяжело? Ничего?.. Ну и как материально? — Они поговорили о Сашиных заработках. — Это ты молодчина, что приобрел специальность. Великое дело. Какую шутку судьба с тобой ни пошути, а ты имеешь специальность, и ты себе хозяин. Меня сколько раз хотели выдвинуть по профсоюзной линии — не пошел, не хочу: мне лучше нет, как на паровозе.

— Саша, — сказала мать Геннадия, — ты приходи к нам.

— Да-да-да, — подтвердил Леонид Никитич, — имей в виду, как какая беда или нужда — валяй к нам без всяких.

— И без беды, и без нужды; просто приходи, мы рады будем, — сказала мать Геннадия вино-

ватым голосом и на прощанье еще раз крепко, нервно пожала Саше руку. Он поблагодарил с недоуменьем: зачем он к ним пойдет, что ему у них делать? У него своя жизнь…

В эту трудную зиму, когда чуть не каждый день приходилось из-за метелей прерывать работу, к Саше пришло самое первое, самое чистое, самое лучезарное счастье, какое бывает только в ранней молодости: Катя с ним ежедневно на его «верхотуре», он едет на постройку и знает, что там его встретят Катины глаза.

О, он не ждет, что она его немедленно полюбит: за что ей его любить, за какие-такие заслуги? Вот, если он когда-нибудь станет красивым, с высшим образованием…

Но она к нему чуткая: один раз Саша достал папиросу, и спички, по обыкновению, кончились. Она увидала, крикнула: «Ребята, спички бригадиру!»

Другой раз взяла коробок из Женькиных рук, сама зажгла спичку и подала огоньку, закрывая его ладонями от ветра. И при этом улыбнулась Саше.

Он видел ее сегодня и завтра увидит с утра…

Заботиться о себе ему приходилось самому: мать жила в больнице… По дороге домой Саша зашел в булочную, купил хлеба, на ходу отламывал

куски и ел… «Ребята, спички бригадиру!» — сказала она. «Ребята, спички бригадиру!» — сказала она…

Новость: Акиндинов покидает нас. Он был вызван в Москву и вернулся с новым назначением: далеко-далеко, в краю, где зреют цитрусы, ему поручено некое грандиозное предприятие. Оно еще не вступило в строй; все там нужно создавать с самого начала: и кадры, и культурные жилища, и бани с пальмами.

Задача по плечу Акиндинову: какие масштабы!.. Он торопит Марью Федоровну со сборами. Зачем тащить с собой столько барахла. Брось; раздай; едем.

Ему уже мерещится пуск нового завода, мерещится городок, который он там построит, — в восточном стиле городок, с висячими галереями и крытыми дворами; тысяча и одна ночь — водоемы, цитрусовые рощи… Всей душой он тянется туда, к задуманному, непочатому… В то же время — грустно. Расставаться грустно. Торжественный и растроганный, обходит он цеха. Эта прекрасная сила созидалась при нем, под ревнивым и требовательным его руководством. Из каждого уголка на Акиндинова глядят его счастливые и трудные годы. Свою страсть, свои усилия, востор-

ги, гнев, разочарования — громадный кусок себя он оставляет тут.

Аллея от заводоуправления к первому сборочному — как хороша она в инее, серебряные ветки сплетаются над головой, — а когда-то эти деревца доходили Акиндинову до плеча…

А Дворец культуры он так и не достроил, только правое крыло окончено… Разве достроит Косых с тем размахом?

Косых, бывший заместитель, остается во главе станкостроительного. Серенькая фигура: осторожен, точен, ко всем мнениям прислушивается… Как-то справитесь, товарищ Косых? В январе получите заказы для легкой промышленности, многое придется осваивать заново, уложитесь ли в сроки? Более восьмисот рационализаторских предложений на очереди — не утоните, товарищ Косых… Жили вы за Акиндиновым как за каменной стеной; по сути дела, вся ответственность лежала на плечах Акиндинова. Плохо, плохо будет вам без Акиндинова!

Чтобы подбодрить Косых, Акиндинов говорит ему:

— Вы, главное, смелее, смелее… Знания у вас есть, опыт есть. Главное — не робейте.

— Да я не робею, — говорит Косых.

— Да?.. — с недоверием спрашивает Акиндинов. — Это хорошо.

Косых стоит перед ним, спокойно улыбаясь, в старом костюме, который он носит чуть не с военных времен, и неожиданно говорит странные слова:

— Я робел только с вами, Георгий Алексеич. Очень уж тяжко давите вы на людей вашим авторитетом.

Пораженный Акиндинов взглядывает на него сверху вниз. Есть искушение оборвать резко: «А вы наживите собственный авторитет, вот и не почувствуете тяжести чужого». Но было бы недостойно ответить так на откровенность товарища… Что же? Стало быть, Косых радуется его отъезду? Он, стало быть, испытывает облегчение? Он, возможно, думает: «Теперь у меня будет мой авторитет и моя ответственность…»

— Вот как, — бросает Акиндинов и отходит, не требуя объяснений. Безусловно, ему случалось отменять распоряжения Косых, но ведь отменял он в интересах дела и для того, чтобы научить людей работать как следует, — неужели Косых ощущал это как тяжкий гнет?

Ну, а другие?.. Он заговаривает с рабочими, инженерами. Со стариками, которых он пред-

ставлял к орденам. С мальчишками, которым он дал квалификацию, образование, заработки!.. Все знают об его отъезде. Кое-кто высказывает вежливое сожаление. Старики спрашивают, а как там климат. Заместитель начальника механического цеха подходит с просьбой не забывать его: с Косых у него нелады. Но большинство говорит: «Ничего, новый директор тоже дельный; поддержит, справится!» Как будто совершенно все равно, кто будет директором, Акиндинов или другой человек, лишь бы нормально работал завод и выполнялась программа.

— Дворец уж без меня будете достраивать, — с улыбкой на губах и горечью в сердце обронил Акиндинов. Его заверили:

— Достроим, Георгий Алексеич!

Оскорбленный этим оптимизмом, он едет в город. Прощается с Ряженцевым; тот жмет руку, желает доброй работы на новом месте и обещает, что партийная организация Энска всячески поддержит Косых. Зато прощание с Дорофеей настоящее, душевное; они обнимаются со слезами на глазах, и обида отходит от акиндиновского сердца, когда Дорофея говорит: «Надо же, хоть бы поближе куда вас посылали, а то в этакую даль, я на аэродром приеду проводить». Но тут же она

добавляет:

— Это я как друг-товарищ, и как должностное лицо — знаешь, что скажу тебе, Георгий Алексеич? Нам, горсовету, с Косых легче будет; ты нам плохо помогал.

— Я — вам? Помилуй!

— Да, ты — нам. Вдвое и втрое мог больше для города сделать, мог, мог, мог, и не говори!

Она задорно хлопает по большому столу маленькой смуглой рукой.

— Если хочешь знать, — говорит она радостно и лукаво, — мы с Косых уже договорились: очередные дома станкостроительный ставит на Точильной. Приезжай посмотреть, как мы тут без тебя застроим наши окраины.

Она улыбается, и перед Акиндиновым встает прежняя молоденькая Дуся, увлеченная открытой перед нею деятельной жизнью. В темно-русых волосах блестит седина, но тронутая сединой прядь, заложенная за маленькое ухо, по-прежнему завивается колечком на конце. А морщины неприметны, и зубы чисты и блестящи, как в молодости. И непрерывно сменяются переживания, и движется жизнь в этом лице и в блестящих глазах…

Акиндинов возвращается домой. У подъезда его

окликает звучный голос: Бучко, бывший редактор областной газеты, взятый Акиндиновым в заводскую многотиражку, — Бучко, лихач-кудрявич с хорошим литературным слогом. Он спешит как на пожар, ноги его разъезжаются на обледенелом тротуаре, — спешит, чтобы пламенно, задыхаясь, пожать Акиндинову руку.

— Георгий Алексеич, какие события! — восклицает он. — Я только что из цеха, вы бы видели, как все расстроены разлукой с вами, тяжело смотреть!.. Такое уныние, такая растерянность…

— Уныние? — повторяет Акиндинов.

— Разумеется, еще бы, такая потеря!.. Говоря между нами, Косых… При всем моем уважении к этому товарищу… Это не та фигура, которая должна возглавлять наш завод! Георгий Алексеич, ведь все понимают: разве будет Косых так заботиться о людях? Разве он будет так печься о блеске и славе завода?! Ведь отражением этого блеска светит, так сказать, весь город, — благодаря кому — благодаря вам! Вы… вы… — Бучко совсем захлебнулся. — Ума не приложу, как же мы будем без вас!

Те самые слова, которых Акиндинов ждал от людей; но почему-то очень противно слышать эти слова от Бучко.

— Вы ошибаетесь, — говорит Акиндинов надменно. — Косых — чрезвычайно сильный работник, крупнейший инженер, организатор… («И завтра ты будешь точно так же юлить перед ним, холуй!») Всего лучшего! — Он с брезгливостью сует руку в подобострастно протянутые руки Бучко и входит в подъезд…

Они обедают с Марьей Федоровной на маленьком столе в пустой столовой — мебель уже упакована и вынесена на лестницу, упаковщики топают по квартире, пахнет рогожами, — все: завтра утром нас здесь не будет… Марья Федоровна заплакана — привязалась к месту, к людям, к своей работе в заводских яслях.

— Ну-ну, Маруся! Там будет неплохо.

— Я знаю. Это я так просто… немножко. Ешь еще. Завтракать будем совсем по-походному.

Акиндинов поднимается и целует жену в голову, на которой по-прежнему, как в юности, двумя венцами уложены косы. Они уже не отливают пшеничным золотом, посветлели от седины, стали тоньше и еще мягче, но для Акиндинова это прежние дорогие, золотые косы, которые Маруся лелеет и расчесывает подолгу, и укладывает венцы, чтобы он любовался ими.

Он целует ровный пробор между венцами,

взяв ее бережно за виски, а она берет и целует его громадную толстую руку. В жизни никто не целовал ему рук, кроме Маруси; но она целует, и он удивился бы, если бы ему сказали, что его руки некрасивы: очевидно, они прекрасны, если их целует Маруся…

А на другой день Акиндинов летит над облаками в край, где зреют цитрусы. Ломит в ушах от высоты. В окне самолета взлетает и падает большое зимнее солнце. И в прорывах туч открывается внизу белая Земля.

На Земле готовятся к встрече Нового года. Да, еще год прожили мы с вами, как время бежит.

По городу расставляют щиты с портретами рабочих, досрочно выполнивших годовой план. Детишки считают дни, оставшиеся до новогодних каникул. Опять выставлены в витринах блестящие шарики и целлофановые хлопушки. На площадях продают елки, пахнущие лесом и детством. В яслях станкостроительного завода достают из нафталина художественного деда-мороза, приобретенного Акиндиновым год назад: надо поправить деду помятую бороду и подновить позолоту; на нового деда экономный товарищ Косых денег не даст.

Скоро попируем. Кто и не пьет — в эту ночь

обязательно выпьет. Прозвонят кремлевские куранты — как не чокнуться? Чокнемся за счастье Саши и Юльки и их друзей, за свершение их надежд, за процветание города Энска! Пожелаем мужества Дорофее в предстоящих ей новых испытаниях. Пожелаем самых больших успехов товарищу Косых и всему станкостроительному заводу и всем людям, честно работающим для жизни — бесконечной, вечно молодой, вечно обновляемой жизни.

С Новым годом, товарищи!

1958 год